

РУКА,
ЧТО ВПЕРВЫЕ
ДЕРЖАЛА МОЮ

Vintage Glory

МЭГГИ
О'ФАРРЕЛЛ



Мэгги О'Фаррелл

Рука, что впервые держала мою

Посвящается:

IZ

SS

WD

И мы забываем, потому что так надо.

Мэтью Арнольд

Часть 1

* * *

Вслушайтесь. В этой истории колышутся деревья, шелестят листья. С моря налетает порывистый ветер, и деревья, будто предчувствуя близкие перемены, качают макушками так тревожно, так нетерпеливо.

В саду пусто, на террасе ни души, лишь герани и дельфиниумы в горшках подрагивают на ветру. На лужайке — скамья, чуть поодаль, скромно отвернувшись, стоят два стула. У стены дома — велосипед, педали и свежесмазанная цепь неподвижны. В коляске спит ребенок, укутанный в одеяльце, точно в тугой кокон, глаза послушно закрыты. В вышине застыла чайка, и даже она молчит, не раскрывает клюва, распростертые крылья ловят потоки воздуха.

Дом стоит на отшибе, за густой живой изгородью, на гребне утеса. Здесь пролегает граница между Девонем и Корнуоллом: два графства, точно притаившись в засаде, смотрят друг на друга. За этот клочок земли когда-то бились не на жизнь, а на смерть. Лучше не вглядываться в здешнюю почву, пропитанную кровью кельтов, англосаксов, римлян, усеянную обломками их костей.

Наша история, однако, начинается в довольно спокойное для Британии время: на исходе лета в середине пятидесятых. К дому ведет извилистая гравийная дорожка. На веревке колышутся от ветра нижние юбки и распашонки, носки и корсеты, пеленки и носовые платки. Где-то по соседству работает радио, глухо стучит топор.

Сад ждет. Деревья ждут. Чайка, зависшая в вышине, тоже ждет. И вдруг — точно это сцена и на нее из темноты зала смотрят притихшие зрители — раздаются голоса. Шум издалека. Крики, возгласы, что-то тяжелое падает на пол. Распахивается задняя дверь. «Не могу так больше! Не могу!» — слышен крик. Хлопает задняя дверь, и выходит девушка.

Ей двадцать один, без малого двадцать два. На ней синее хлопчатобумажное платье с красными пуговицами, волосы перехвачены желтым шарфом. Она шагает по террасе босиком, с книгой в руке. Сбегает по ступенькам на газон. Не замечая ни чайки, что смотрит с высоты, ни деревьев, что качают ветвями, словно возвещая ее приход, ни даже ребенка в коляске, она спешит к пню на краю сада.

Она садится на пень и, пытаясь не обращать внимания на распирающий

ее гнев, кладет на колени книгу и читает. «Смерть, не тщеславься, се людская ложь, что, мол, твоя неодолима сила». ^[1]

Читает она напряженно, низко склонившись над страницей, вздыхая и поводя плечами. И вдруг ни с того ни с сего, что-то сердито буркнув, отбрасывает книгу. Шелестя страницами, книга падает в траву с глухим стуком. Так она и лежит в траве.

Девушка встает — не встает, вскакивает, взлетает — и приземляется так резко, что, кажется, вот-вот уйдет под землю, как Гном-Тихогром из сказки.

Она вдруг видит, как фермер гонит по тропе стадо овец; в руке у него хлыст, рядом прыгает пес. Овцы воплощают все, что ей ненавистно в родных местах. Грязные облезлые крупы, тупая покорность, дурацкое бляение. Загнать бы их в молотилку или столкнуть со скалы — глаза б на них не смотрели.

Она отворачивается от овец, от дома. Теперь перед ней только море. В последнее время ее терзает смутный страх, что самое заветное желание — чтобы жизнь обрела смысл, из черно-белой, монотонной стала яркой, как цветное кино, — так и не сбудется. Что новая жизнь придет, а она не сумеет удержать ее.

Она прикрывает глаза, чтобы не видеть ни моря, ни брошенной книги, и вдруг слышит шорох травы, шаги и голос: «Сандра!»

Она вздрагивает как от удара током.

— Александра! — поправляет она. Имя, данное ей при рождении, вскоре разонравилось матери, и та сократила его до двух слогов.

— Александра, — послушно повторяет детский голос, — мама спрашивает, чем ты занята и когда придешь, и...

— Марш отсюда! — взвизгивает Александра. — Прочь! — И, раздосадованная, возвращается на пень, к своей книге и раздумьям о смерти и ее неодолимой силе.

В эту самую минуту в полумиле отсюда Иннес Кент — тридцатичетырехлетний продавец картин, журналист, критик и, по собственному признанию, гедонист, — стоя на коленях в пыли, заглядывает под машину. Сам не знает, какой в этом смысл, но заглянуть надо. Он всегда склонен верить в лучшее. Машина — серебристо-голубая «эм-джи», едва ли не самое дорогое, что есть у него на свете, — только что заглохла посреди проселочной дороги. Он поднимается с земли. И прибегает к испытанному средству успокоить нервы: закуривает. В сердцах пинает колесо и тут же ругает себя за это.

Иннес ездил в Сент-Айвз, к художнику, чьи работы надеялся купить.

Художника он застал изрядно пьяным, а картины — далекими от завершения. Поездка обернулась сущим бедствием. А тут еще и машина сломалась. Затапав окурок, Иннес пускается пешком. Впереди виднеется кучка домов и изгиб бухты. Кто-нибудь может сказать, где здесь автомастерская, есть в этом богом забытом месте хоть одна?

Александра не знает — ей неоткуда знать, — что Иннес Кент рядом. Не знает, что скоро он будет здесь, что он шагает сюда — в туфлях, сшитых на заказ, по дорогам, что разделяют их, что он ближе с каждой секундой, что расстояние между ними сокращается с каждым его шагом. Для нее начинается новая жизнь, но она с головой ушла в книгу, увлечена борьбой давно умершего поэта с брэнностью.

Когда Иннес Кент поворачивает к ее дому, Александра поднимает голову, опускает на траву книгу, на сей раз бережнее, потягивается. Теревит прядь волос, зажимает пальцами ног ромашку — она всегда была гибкой, как гимнастка, чем очень гордится. Срывает другую, третью — и вот меж ее пальцев глядят золотистыми глазками восемь ромашек.

Иннес останавливается возле просвета в густой живой изгороди, заглядывает во двор. Хорошенький домик, вокруг кусты, трава, цветы — словом, сад. И совсем близко, под деревом, женщина. Мимо женщины Иннес никогда не пройдет равнодушно.

Эта представительница прекрасного пола без туфель, на голове желтый шарф. Иннес поднимается на цыпочки, чтобы разглядеть ее хорошенько. Какая изящная шея! Для ее описания понадобились бы слова «горделивая» и даже «алебастровая» — подобными словами он не привык бросаться. Иннес — искусствовед, и по образованию, и по призванию. Искусство для него — больше, чем профессия. Искусством он живет и дышит; он видит не просто дерево, машину, улицу, а пейзаж, композицию, переливы красок, игру света и тени, видит, что предметы подобраны не случайно.

И, глядя на Александру в синем платье и желтом шарфе, он видит фреску, созерцает настоящую сельскую Мадонну — в профиль, в синем платье, великолепно подчеркивающим фигуру, с младенцем, спящим подле нее. Он щурит один глаз, потом другой. Прекрасная композиция: плоская поляна, а в противовес — высокое дерево и сидящая прямо женщина со стройной шеей. Просится на картину кого-нибудь из итальянских мастеров — Пьеро делла Франческа или Андреа дель Сарто.^[2] Она даже умеет собирать цветы ногами! Поразительное создание!

Иннес улыбается про себя, снова смотрит, на сей раз в оба глаза, и картина разлетается вдребезги — Мадонна громко, отчетливо произносит:

— Разве вы не знаете, что подглядывать неприлично?

От неожиданности Иннес на миг теряет дар речи (что с ним случается нечасто); он завороченно смотрит, как женщина встает с пня. Мадонна делла Франческа на его глазах превращается в подобие «Обнаженной, спускающейся по лестнице» Марселя Дюшана.^[3] Ну и зрелище! В том, как женщина сбегает по идущей под уклон лужайке, и впрямь есть что-то дюшановское. Воздух искрит от ее гнева!

С недавних пор Иннес увлекся дадаистами, настолько, что два дня назад он видел сон, будто попал в одну из их картин. «Мой любимый сон, не считая еще одного», — говорит Иннес. (О самом любимом вслух не расскажешь, он непристойен.)

— Вдобавок, — обрушивается на него Мадонна, подбоченясь, — и Иннес, надо признаться, рад, что их разделяет живая изгородь, — это еще и незаконно. Я имею полное право вызвать полицию.

— Простите, — выдавливают Иннес. — Моя машина... Она, похоже, сломалась. Я ищу автомастерскую.

— Здесь, что ли, автомастерская? — Против его ожиданий, она не картавит по-девовски, голос у нее звонкий, каждое слово отточено, как алмаз.

— Хм... Нет, конечно.

— Что ж, — она приближается к живой изгороди почти вплотную, — тогда до свидания.

И только сейчас Александре удается как следует разглядеть чужака. В первый раз она видит мужчину с такими длинными волосами. На нем рубашка с очень высоким воротом, цвета желтых нарциссов. Костюм светло-серый, шерстяной, в тонкий рубчик, пиджак без воротника; галстук цвета утиного яйца. Александра приближается еще на пару шагов. «Нарциссы, — вертится у нее в голове, — утиное яйцо».

— Я не подглядывал, — оправдывается незнакомец, — уверяю. Мне нужна помощь. Я, можно сказать, попал в переplet. У меня сломалась машина. Не подскажете, есть ли где поблизости автомастерская? Не хотелось бы отвлекать вас от вашего малыша, но мне нужно в Лондон, в спешном порядке, у меня номер горит. Час от часу не легче. Любая помощь от вас — и я у ваших ног.

Александра моргает. Что за диковинные речи! «Попал в переplet, в спешном порядке, номер горит, час от часу не легче, у ваших ног». Хочется попросить его повторить еще раз. Внезапно мозг ее цепляется за одну из фраз.

— Малыш не мой, — возмущенно говорит она, — а моей матери. Ко мне он не имеет отношения.

— А-а. — Незнакомец склоняет голову набок. — Все-таки имеет.

— Да неужели?

— Самое прямое. Признайте, что это ваш брат или сестра.

Молчание. Александра безуспешно пытается не пялиться на его рубашку, галстук. Нарциссы, утиное яйцо.

— Так вы из Лондона? — спрашивает она.

— Да.

Александра, втянув воздух, поправляет шарф на голове, разглядывает подбородок незнакомца; почему он не побрился? Внезапно ее смутное желание становится твердым решением.

— Я тоже собираюсь, — говорит она, — переехать в Лондон.

— Правда? — Незнакомец вдруг достает из кармана зеленый эмалевый портсигар, вынимает две сигареты и одну протягивает девушке.

Александра, перегнувшись через живую изгородь, принимает сигарету:

— Спасибо.

Одной спичкой он зажигает обе сигареты. От него пахнет маслом для волос, лосьоном после бритья и чем-то еще — он отступает на шаг, прежде чем она успеваеет разобрать.

— Спасибо, — повторяет она и затягивается.

— И что же, — незнакомец гасит спичку и швыряет в траву, — позвольте спросить, вас здесь держит?

Александра задумывается.

— Ничего, — смеется она. Так и есть, ничто ее здесь не держит. Она кивком указывает на дом: — Они пока не знают. И будут против. Но им меня не остановить.

— Вот это настрой. — Он выпускает изо рта струйку дыма. — Итак, сбегаеете в столицу?

— В столицу, — Александра выпрямляется, — но не сбегаю. О каком побеге речь, если живешь отдельно? Я давно уехала из дома, училась в университете. — Она затягивается, смотрит на дом, снова на незнакомца: — Вообще-то меня исключили.

— Из университета? — уточняет незнакомец, не донеся до рта сигарету.

— Да.

— Какие страсти! За какое же преступление?

— Ни за какое, — отвечает Александра слишком уж горячо, свежа еще боль от несправедливости. — Я возвращалась с экзамена и вышла из двери, которая только для мужчин. Чтобы получить диплом, я должна извиниться. Они, — Александра вновь кивком указывает на дом, — сначала не хотели,

чтобы я училась в университете, а теперь со мной не разговаривают, ждут, чтобы я вернулась и извинилась.

Незнакомец смотрит на нее, будто пытаюсь запечатлеть ее в памяти до последней черточки. Строчка на его рубашке — на воротнике и манжетах — голубая.

— Ну и как, будете извиняться?

Александра стряхивает пепел, качает головой:

— Не понимаю за что. Я даже не знала, что дверь только для мужчин. Никакого знака не было. Я спрашиваю: «А где дверь для женщин?» — а мне отвечают: нет такой. Та к за что мне извиняться?

— Не за что. Никогда не извиняйтесь, если не чувствуете себя виноватой. — С минуту они курят, не глядя друг на друга. — Итак, — спрашивает он наконец, — что вы собираетесь делать в Лондоне?

— Работать, конечно. Хотя не знаю, возьмут ли меня куда-нибудь. — Александра вдруг мрачнеет. — Говорят, чтобы устроиться секретаршей, надо печатать со скоростью шестьдесят слов в минуту, а у меня пока три слова в минуту.

Он улыбается:

— А где будете жить?

— Не слишком ли много вопросов?

— Привычка. — Он без тени смущения пожимает плечами. — Я, кроме всего прочего, журналист. Итак, квартира. Где будете снимать?

— Не знаю, стоит ли вам говорить.

— Почему бы и нет? Ни одной живой душе не проболтаюсь. Тайны я хранить умею.

Александра швыряет окурок в густую зелень живой изгороди.

— Подруга дала мне адрес пансиона для одиноких женщин в Кентиш-Тауне. Она сказала...

Он улыбается уголком рта:

— Пансион для одиноких женщин?

— Да. А что тут смешного?

— Ничего. Ровным счетом ничего. Звучит... — взмах руки, — чудесно. Кентиш-Таун. Мы с вами, считай, соседи. Я живу на Хэверсток-Хилл. Заходите в гости, если вас будут выпускать на волю.

Александра в притворной задумчивости поднимает брови. В глубине души она противится этому человеку. Что-то подсказывает ей, что он привык навязывать свою волю. Не мешало бы поставить его на место.

— Может быть, не знаю пока. Может...

К несчастью для всех, именно в эту минуту из дома выходит Дороти.

Материнское чувство подсказало ей, что к старшей дочери подкрался самец-хищник.

— Чем помочь? — спрашивает она крайне нелюбезно.

Александра, обернувшись, смотрит, как мать шествует по газону, бутылочка с соской в руке нацелена на гостя. Видит, как Дороти оглядывает гостя, от светло-серых туфель до пиджака без ворота. Судя по гримасе, зрелище ей не по вкусу.

Загорелое лицо незнакомца сияет белоснежной улыбкой.

— Благодарю вас, но эта леди, — он указывает на Александру, — мне помогает.

— Моя дочь, — отвечает Дороти с нажимом, — сегодня очень занята. Сандра, я думала, ты за ребенком приглядываешь. Ну так чем вам...

— Александра! — обрушивается девушка на мать. — Меня зовут Александра! — Она сознает, что ведет себя по-детски, но нельзя же допустить, чтобы этот человек думал, будто ее зовут Сандра.

Но у матери два таланта — не замечать вспышек гнева дочери и выведывать у людей все, что нужно. Выслушав рассказ о сломанной машине, Дороти тут же посылает гостя к механику, дальше по дороге. Он оборачивается, машет рукой.

Александра, в ярости, близкой к отчаянию, прислушивается к удаляющимся шагам. Сблизиться с таким человеком — чтобы его у тебя тут же похитили! Она пинает пень, колесо коляски. Это особая разновидность гнева, свойственная молодым, — тягостное, гнетущее чувство, когда взрослые берут над тобой верх.

— Какая муха тебя укусила? — шикает Дороти, покачивая коляску: проснулся малыш, завозился, запищал. — Прихожу, а ты строишь глазки через изгородь какому-то... бродяге. Среди бела дня! У всех на виду! Где твое чувство приличия? Какой пример ты подаешь братьям и сестрам?

— Кстати, о братьях и сестрах. — Александра многозначительно умолкает. — Обо всем твоим выводке, где твое чувство приличия? — Она устремляется в сад. Больше ей не выдержать ни минуты в обществе матери.

Дороти уже не качает коляску, а смотрит вслед дочери, разинув рот.

— Ты на что намекаешь? — кричит она, позабыв про соседей. — Да как ты смеешь? Как у тебя язык поворачивается? Я пожалуйюсь твоему отцу, как только он...

— Ну и жалуйся! Жалуйся на здоровье! — бросает через плечо Александра и несется в дом, напугав отцовского пациента, что ждет в коридоре.

В спальне, которую она вынуждена делить с тремя младшими сестрами, Александра все еще слышит крики матери из сада:

— Неужто я одна в этом доме чего-то требую? Куда ты собралась? Я сегодня жду от тебя помощи. Ты должна за ребенком смотреть. И серебро начистить, и фарфор. Кто за тебя все это будет делать? Волшебник?

* * *

Элина вздрагивает, просыпается. Почему так темно, отчего так бьется сердце? Кажется, она стоит спиной к стене, но стена почему-то мягкая. Ноги будто чужие. Во рту пересохло, язык прилип к небу. Как она здесь очутилась, почему стоит впотьмах у стены и дремлет? В голове пусто — чистый лист. Элина поворачивает голову, и вдруг все смещается, начинает кружиться — вот окно, вот Тед, лежит рядом. Значит, она не стоит, а лежит. Лицом кверху, руки на груди — точь-в-точь каменное изваяние на могиле.

Рядом слышно чье-то дыхание. Что-то лязгнуло в водопроводной трубе — и снова тихо. Шорох над головой, будто ходит по крыше птица, царапает коготками кровлю.

Должно быть, это малыш ее разбудил — очнулся, заворочался в животе, задрыгал ручками-ножками. В последнее время он стал беспокойный.

Элина оборачивается, вглядывается в полумрак. Мебель будто темные фигуры по углам, из-за шторы струится мутно-рыжий свет уличных фонарей. Рядом Тед, свернулся калачиком под пуховым одеялом. На столике Теда — стопка книг, мерцает зеленым огоньком мобильник. На ее столике — что-то похожее на стопку огромных носовых платков.

Вдруг над ухом раздается звук — побряхтыванье, будто кто-то откашливается.

Элина хочет повернуться на другой бок, лицом к Теду, но жгучая боль пронзает живот, точно к коже прижали факел и она вот-вот лопнет. Элина хватается за воздух, кладет на живот руку, чтобы ощутить под пальцами туго натянутую кожу, знакомую тяжесть ребенка — и успокоиться. Но ничего не чувствует. Руки хватают пустоту. Ни большого живота, ни ребенка. Элина стискивает живот — дряблый, будто сдувшийся воздушный шарик.

Она силится приподняться — снова жгучая боль — и, вскрикнув хрипло, не своим голосом, хватается Теда за плечо:

— Тед!

Тед кряхтит, зарывается лицом в подушку.

Элина расталкивает его:

— Тед! Тед, ребенка нет! Его нет!

Тед вскакивает и стоит посреди комнаты в одних трусах, волосы дыбом, лицо испуганное. И мгновенно поникает.

— Что ты выдумала? Вот же он.

— Где?

Тед показывает:

— Вот, взгляни.

Элина смотрит. И правда, что-то стоит на полу — в полутьме похожее на корзину для собаки, с ручками, — а внутри белеет какой-то сверток.

Элина со вздохом тянется к выключателю, и комната заливается желтым светом. Элина снова вздыхает, смотрит на свой сдутый живот, на ребенка и обращается к Теду, который плюхнулся на кровать и бормочет: «Ну ты меня и напугала...»

— Я родила?

Тед, который взбивал подушку, замирает. На лице — недоумение, испуг. Не пугайся, хочет сказать Элина, все хорошо. Но вместо этого повторяет: «Я родила?» У нее потребность спросить, высказаться, услышать ответ.

— Элина... ты шутишь. Или нет? — Тед смеется глухо, невесело. — Не надо, не смешно. Может, ты... Может, тебе что-то приснилось? Наверняка приснилось. Давай-ка...

Тед умолкает на полуслове, кладет руку на плечо Элины и растерянно молчит, смотрит на Элину, а та на него. Ей невольно думается: здесь, с нами в комнате, малыш. Хочется повернуться, еще раз посмотреть на него, но Тед сжимает ее плечо, откашливается.

— Ты родила, — говорит он с расстановкой. — Это было... в больнице. Помнишь?

— Когда? — спрашивает Элина. — Когда это было?

— Господи, Эл, ты... — Тед замолкает, проводит рукой по лицу и продолжает уже спокойнее: — Четыре дня назад. Ты три дня не могла разродиться и наконец... наконец родила. А вчера вечером вернулась, упростила отпустить домой.

Минутное молчание. Элина перебирает слова Теда, раскладывает по полочкам. Больница, ребенок, отпустили домой, три дня не могла разродиться. Три дня... Она вспоминает о боли в животе, но решает не заводить о ней разговор.

— Элина...

— Что?

Тед всматривается в ее лицо, откидывает ей волосы со лба, кладет руки

на плечи.

— Ты, наверное... ты, должно быть, безумно устала... Ложись-ка спать.

Элина молча отстраняется от Теда, перекачивается на другой край кровати, держась за живот, закусив от боли губу. Кажется, если его не придерживать, он лопнет. Элина склоняется над малышом, разглядывает его. «Он», — сказал Тед. Мальчик. Он не спит, глаза широко раскрытые, внимательные. Устремил на нее из плетеной колыбельки любопытный, вопрошающий взгляд. Он завернут, словно подарок, в одеяло, на руках — белые рукавички. Элина протягивает руку и снимает их — такие крохотные, невесомые, словно облачка. Детские кулачки сжимаются и разжимаются, хватая воздух.

— Ах, — произносит он очень по-взрослому, твердо, взвешенно.

Элина трогает теплый, влажный лоб, чувствует, как вздымается и опускается крохотная цыплячья грудь, гладит пухлую щеку, завиток уха. Малыш смотрит на ее пальцы, моргает, открывает и закрывает рот, будто хочет что-то сказать и не находит слов.

Элина, запустив ладони под спинку малыша, берет его на руки. Как-никак она мать, ей можно. Она прижимает малыша головой к плечу, ножки упираются в ее локоть. Да, знакомая тяжесть, знакомая поза. Малыш крутит головкой, задерживает взгляд на бретельке ее сорочки.

— Ну как, вспомнила? — раздается с кровати голос Теда.

Элина растягивает губы в улыбку:

— Конечно.

Когда она возвращается в постель, много позже — она долго смотрела на малыша, на его волосики под чепчиком, заглядывала в глаза, синие-синие, словно морская вода, вкладывала палец в его ладошку, а малыш сжимал его в ответ, — Тед уже спит, подложив руку под голову. Наверняка ей уже не уснуть: разве уснешь, когда так зябко, да еще эта боль, и она вроде бы родила? Она придвигается к Теду, но так, чтобы не разбудить его; от него исходит тепло. Элина с головой укрывается пуховым одеялом, под ним темно и душно. Теперь уже не уснуть.

Нет, все-таки уснула. Когда она приходит в себя, — кажется, что прошло лишь несколько минут, — спальня залита слепящим светом, Тед уже одет и говорит, что уходит, и целует ее на прощанье.

— Ты куда? — спрашивает Элина, приподнявшись на локте.

Лицо Теда омрачается.

— На работу, — отвечает он. — Ничего не поделаешь, прости. Фильм... Сорвали сроки. После съемок возьму отпуск — если получится.

Следует короткий спор: Тед хочет позвонить своей матери, пусть

приедет помочь; Элина слышит, как говорит «нет», чувствует, как качает головой. Тед возражает: нельзя ей быть одной, он позвонит ее подруге Сьюки, — но даже мысль о чужих в доме ей противна. О чем ей разговаривать с этими людьми, что им сказать?

— Нет, — повторяет она, нет и еще раз нет.

И похоже, берет в споре верх. Тед чешет в затылке, тербит сумку, целует Элину; звук его шагов на лестнице, хлопает входная дверь — и дом погружается в тишину.

Больше всего на свете хочется вновь провалиться в забытие, в сон, прижаться щекой к подушке, опустить веки, словно решетки крепостных ворот. Она почти засыпает, чувствует близость сна, его вкус. Но рядом кто-то возится, вздыхает, сопит, как зверек.

Элина заглядывает в кроватку — вот он, здесь. «*Hei*». ^[4] Элина сама не ожидала, что заговорит по-фински.

Малыш не отвечает, сражается с чем-то невидимым: машет ручками, тихонько ворчит. И вдруг, будто нажали невидимую кнопку, издает вопль — громкий, протяжный, отчаянный.

Элина отшатывается, как от удара. Делать нечего, надо вставать. Надо его успокоить. Если не она, то кто же? Малыш, вздохнув поглубже, кричит с новой силой. Элина, морщась, наклоняется, берет его на руки, прижимает к себе напряженное от гнева тельце. Чем он недоволен? Элина пытается припомнить советы из книг по уходу за ребенком, но ничего не приходит в голову. Она шагает по комнате, от кровати до окна. «Ну-ну, — приговаривает она, — не плачь».

Но малыш визжит, изогнувшись дугой, весь пунцовый от гнева, рот на пол-лица.

— Не плачь, — повторяет Элина и вдруг видит: он тянет шейку, широко разевает рот, как пловец, набирающий воздуху. Да он голоден! Еще бы, конечно, проголодался. Как она сразу не сообразила?

Элина садится в кресло — как раз вовремя, в ногах странная дрожь — и задирает кофточку, неуверенно, пытаюсь припомнить загадочные схемы грудного вскармливания: захват соска, поза при кормлении, основные трудности. Но зря она волновалась. Малыш четко знает, что делает. Он устремляется к груди, как щенок, которому кинули кость, и начинает сосать, сперва жадно, потом спокойнее, потом опять жадно. Элина смотрит на малыша, пораженная его деловитостью, уверенностью. Ей кажется, что проходит вечность. Нормально ли это — сидеть так полчаса, сорок пять минут, час с лишним? За окном в разгаре утро: прохожие спешат к Хэмпстед-Хит и в другую сторону, к автобусной остановке. Пятна света

подбираются к ногам Элины, а малыш сосет и сосет.

Должно быть, она задремала в кресле. Когда она открывает глаза, все залито светом, а малыш лежит у нее на коленях, как котенок, и разглядывает часы у нее на руке.

Элина проверяет себя, обращается мыслями назад. Вспомнила? Вернулось к ней во сне прошлое? «Роды, роды, роды, — твердит она про себя, — надо вспомнить, вспомянай». Но увы. Она помнит, как была беременна. Видит ребенка у себя на коленях. Но как он сюда попал — загадка.

Элина подносит руки к лицу, разминает виски, чтобы привести себя в чувство. «Ну вот, — говорит она в тишине, и голос слегка дрожит. Почему дом затих, будто ждет ответа? — Вот мы и проснулись. — Она почему-то снова перешла на финский. — Что будем делать?» — обращается она к малышу, будто к гостю, с которым едва знакома.

Она поднимается, медленно-медленно, и, крепко прижав к себе ребенка, пробирается ощупью вниз по лестнице, не спуская глаз с его личика. Это ее сын. Она его родила. Она знает, потому что Тед сказал, а еще потому, что он чем-то напоминает ее отца — тот же лоб, тот же завиток надо лбом. Элина проходит мимо ванной. Дверь открыта, на полу пеленальный коврик в красную полоску — она помнит, точно помнит, как покупала его. Помнит, как раздражали ее рисунки на детских вещах — слащавые мишки, похожие на людей рыбы с хищными ухмылками, утки с длинными, будто покрашенными, ресницами. Вокруг коврика подгузники, салфетки, тряпочный осьминог, флакон детского масла. Кто все это разложил? Неужели она? И когда?

У подножия лестницы стоит коляска — Элина помнит и ее. Коляску им подарил Симми, прикатил ее однажды вечером. Еще тогда. Когда она была беременна. Хитроумное устройство с серебристыми колесами, темно-синим складным верхом и блестящим тормозом. Внутри постелены простыни и одеяльце. Элина замирает на миг над коляской, потом укладывает малыша — просто так, ради интереса. Он лежит невозмутимо, будто давно привык к коляске. Сучит ножками, смотрит на синий верх, на заклепки с боков. Потом закрывает глаза и засыпает. Постояв немного, Элина идет на кухню.

И почему-то оказывается у дверей, ведущих в сад. Тяжелые двустворчатые двери из армированного стекла. Для безопасности, объяснил Тед, когда Элина спросила, зачем такое толстое стекло. В руках у нее почему-то кружка и свернутая газета. Элина нагибается, чтобы положить их на пол, и вдруг в животе будто что-то обрывается, дыхание

перехватывает от боли. Элина роняет газету и кружку, сама чуть не падает, хватается за дверь, упирается лбом в стекло, держится за живот, ругаясь на нескольких языках.

Когда она открывает глаза, вокруг все так же тихо. Позади — кухня. Впереди — сад. «Все проще простого, — уверяет она себя, — ты была беременна, потом родила». Но почему она не помнит, как рожала?

В глубине сада — домик. Это студия, ее построил для Элины Тед. Точнее, нанял двух поляков, а те построили. Из шлакоблоков, рубероида, стекловаты, нержавеющей стали — Элина спрашивала у строителей слова, те искали их в польско-английском словаре, а Элина мысленно переводила на финский. И все смеялись. Один спросил Элину, скучает ли она по Финляндии, она ответила: нет, — а потом поправилась: да, иногда. Но она давно уже там не живет. А вы скучаете по Польше? — спросила она. Оба молча кивнули. «Мы возвращаемся, — сказал один, — через два года».

Значит, они уже дома, в Польше. Элина смотрит сквозь ветки сада на студию, которую для нее построили: стены, облицованные шлакоблочными панелями, крытая рубероидом крыша. У нее в налоговых декларациях, в документах написано: художница. А что толку? Она не помнит, когда в последний раз заходила в студию, забыла, что значит быть художницей, чем занимается художник, как проводит время. Жизнь в маленькой студии, все часы, что провела она там, кажутся бесконечно далекими, как детский сад.

Можно заглянуть туда сегодня — почему бы и нет? Взять ключ, что висит рядом с холодильником, и пойти, ступая по мокрой траве, малыш в скрипучей коляске впереди, открыть дверь и зайти. Взглянуть на холсты, что висят на стенах или стоят на полу возле шкафов, ощутить хоть какую-то связь с прежней жизнью. Работать сегодня никто не заставляет. Можно просто посидеть в студии с книгой, посмотреть, как льется свет в окошко под самой крышей. Там, у окна, стоит кресло — Элина сама обила его зеленой шерстяной материей. Самое подходящее место, чтобы все вспомнить.

Элина раздумывает, кусая губы, и вдруг чувствует какой-то запах, — оказывается, он преследует ее все утро. Сладковатый, даже приторный. Будто пахнет ношеной одеждой. Или мокрой бумагой. Или молоком.

Элина оборачивается, принохивается. Воздух лишь слегка отдает хозяйственным мылом. Она нюхает пижаму, волосы, запястье, сгиб локтя, ладонь.

Запах ее собственный. Элина поражена. Новый запах. От нее пахнет не так, как пахло всю жизнь. Это ее запах.

Тед рывком отодвигает кресло и плюхается в него, швырнув сумку на диван позади себя. Включает все экраны и, пока они, моргая, оживают, едет в кресле через всю монтажную, к лотку для входящих документов. Телефонные сообщения, пара писем, просьба дать рекомендацию, кое-как нацарапанная записка от продюсера о копии фильма, что недавно смонтировал Тед. Пододвинув кресло ближе к телефону, Тед хочет снять трубку, но вдруг замирает.

Он вертит в пальцах ручку, снимает колпачок, снова надевает. Кладет руки на вогнутый край стола. Смотрит на экраны перед собой; на одном — сообщение об ошибке: файл не найден. Тед переводит взгляд на свои ботинки — на одном вот-вот развяжется шнурок, — на мигающий красный огонек телефона, на немые черные динамики, на диван с горой подарков. Корзины с фруктами, букеты в целлофане, детское одеяльце, перевязанное лентой, исполинская атласная собака с тупой улыбкой на морде. На рабочем столе, прямо под рукой у Теда, золотистый картонный пакет. Жесткий — такие выдают только в самых дорогих магазинах; наверху синяя веревочка. Пакет вручила Теду администратор монтажной, как только он вошел в дверь. «Поздравляем! — сказала она. — Мальчик!» И обняла его, и Тед почувствовал затылком холод ее металлических браслетов, а молния на ее джинсах больно врезалась ему в ногу.

«Спасибо, — ответил Тед, взяв пакет, кивая всем, кто собрался вокруг — секретарше, девушке на побегушках, смутно знакомой актрисе, другим монтажерам. — Очень приятно. Очень...» И осекся — скажи он еще хоть слово, он бы заплакал. Он ни разу не плакал с тех пор, как стал взрослым, ни разу, даже когда попал в аварию — свалился с мопеда в Греции. А теперь слезы душили его, будто подымались волной из груди. Боже, с чего это вдруг?

Тед вновь тянется к телефону, но отдергивает руку, потирает лоб. Ему невольно думается: что ты здесь торчишь? С ума сошел? Ты должен быть дома, с Элиной, с малышом, а не впопыхах заканчивать надоевшую работу. Подумаешь, одним боевиком больше, одним меньше. Что ты здесь делаешь?

Странное дело, удивляется Тед, окидывая взглядом свой стол, вокруг все по-прежнему. Ряд дисков на полке, ручки на подставке, экраны компьютеров, мышь с проводом, армированная подставка для руки (безуспешная попытка справиться с хроническим растяжением связок), репродукция Элининой картины на стене.

Тед смотрит на картину, где красная линия пересекает синий

треугольник, нависающий над черной фигурой в углу. Картина рождалась на его глазах. Он не должен был видеть — Элина никому не показывала неоконченных работ, — но он подглядывал в окно студии всякий раз, стоило ей отвернуться. Это был его способ заглянуть ей в душу. Он видел картину на стене галереи, видел, как зажегся рядом с ней красный огонек на закрытом вернисаже и как засветилось радостью лицо Элины. Теперь картина висит в доме музыкального продюсера, и Тед то и дело задумывается: любит ли тот картину, как она того заслуживает, часто ли смотрит на нее, удачно ли выбрал для нее место и освещение?

Четыре дня назад Элина чуть не умерла. От этой мысли ему делается дурно — кружится голова, к горлу подступает тошнота, как от качки или при взгляде вниз с высокого здания. Тед роняет голову на руки, делает вдох за вдохом и снова чувствует ком в горле.

Она чуть не умерла, прямо в палате, у всех на глазах. Тед чувствовал, что в палате витает смерть, висит темным облаком где-то под потолком, и было в ее присутствии что-то до странности знакомое, будто он этого ждал, знал с самого начала, чем все может кончиться. «Не смотрите, — велела ему медсестра, — не надо смотреть». И дернула его за рукав. Но как не смотреть? Как отвернуться, если рядом лежит Элина, и это он во всем виноват, он сделал ей ребенка, он шепнул ей тогда, в мадридском отеле: «Не волнуйся, все обойдется»? Сестра потянула его за руку. «Пойдемте, — сказала она твердо. — Вам нельзя смотреть».

Но как не смотреть? Он уцепился за металлический поручень каталки, оттолкнул сестру. Вокруг суетились, кричали, а посреди палаты лежала Элина, и ее верхняя половина выглядела такой безмятежной. Белое неподвижное лицо, глаза полузакрыты, руки на груди — средневековая святая с картины. А нижняя половина — никогда в жизни Тед не видел ничего подобного. И в этот миг будто все исчезло. Он больше ничего не видел вокруг. Лишь горизонт — как будто море, свинцовое море вздымается и опускается, бесконечное, однообразное. И от этой бесконечности, в которой отражалось хмурое небо, его затошнило. «Где она? — слышалось ему. — Где она?»

Тед отодвигает кресло от стола с такой силой, что оно ударяется спинкой о край кофейного столика. Он встает, шагает к двери, в которой проделано окошко, и обратно. Садится в кресло. Снова встает. Подходит к окну, со щелчком опускает штору. Водит мышкой. Снимает трубку, звонит в приемную и просит вызвать к себе режиссера боевика, как только тот появится.

У Элины то и дело случаются скачки во времени. Провалы, называет их она. Надо рассказать Теду. Будто скачет иголка на родительском проигрывателе. Элина с братом ставили старую пластинку «Битлз» и по очереди топали ногой. Игла перескакивала с песни на песню. И такая получалась веселая неразбериха! Слушаешь про Люси и небо в алмазах — и вот уже Джон распевает про шоу мистера Кайта, а потом про дождь.

Но, как видно, за порчу пластинок приходит расплата — теперь и жизнь Элины стала как испорченная пластинка. Может, «скачки во времени» — не совсем верно сказано. Скорее, черные дыры. Ведь только что было утро и она поняла, откуда новый запах, — и вдруг она лежит на полу в гостиной, а телефон звонит и звонит.

Элина не спеша поднимается с пола. Малыш лежит рядом на ковре, машет ручками, словно регулировщик на перекрестке. Волосы у Элины торчком — как в школе, когда она причесывалась «под панка». Секунду она косится на телефон, потом снимает трубку. Слабость такая, что пол под ногами будто качается. Элина опирается на подлокотник дивана, чтобы не упасть, и тут вспоминает, что совсем недавно точно так же снимала трубку, другой рукой держась за подлокотник, — кажется, говорила с мамой, а о чем, забыла. Может, опять мама звонит.

— Алло! — говорит Элина.

— Привет! — В трубке голос Теда. Слышен шум — возгласы, шаги, шорох, стук. Совсем не похоже на благоговейную тишину монтажной. Должно быть, он на съемках. — Как ты там? — пробивается сквозь шум его голос. — Все хорошо? Как дела?

Элина и не задумывалась, как у нее дела, все ли хорошо, но отвечает:

— Отлично.

— Чем занималась?

— Хм... — Элина оглядывает комнату: рядом корзина с мокрым бельем. — Стирала. С мамой говорила.

— Угу. А еще?

— Да ничего.

— А-а.

Наступает молчание. Рассказать Теду о провалах, о дырах во времени? С чего начать? С истории о пластинках? Или сказать: «Тед, у меня выпадают из памяти целые куски жизни, будто проваливаются в черную дыру. Я даже не помню, как родила».

— Я... э-э-э... — начинает она, но Тед не дослушивает.

— Поела?

Элина вспоминает. Поела? Кажется, да.

— Не помню.

— Не помнишь? — В голосе Теда слышится ужас.

Рядом что-то кричат про фургон с реквизитом. Элина приглаживает волосы, взгляд падает на желтую листовку возле телефона: «Жизнь после кровопотери». Элина подносит листовку к глазам, читает напечатанные слова.

— Элина? — Она вздрагивает, услышав голос Теда.

— Да. — Листовка выпадает из рук Элины, кружится в воздухе, залетает под стул. Потом достану, думает Элина.

— Тебе надо есть. Акушерка сказала. Ты поела? Вспомни, поела?

— Да, — отвечает Элина поспешно, с легким смешком. — Конечно. То есть... я не помню, что хотела поесть на завтрак.

Видно, совсем не этих слов ждал от нее Тед.

— На завтрак? — пугается он. — Эл, уже полчетвертого!

Элина искренне удивлена:

— Правда?

— Я тебя разбудил?

Элина снова обводит взглядом комнату, смотрит на ковер, на то место, где лежала, пока не позвонил Тед. На густом ворсе отпечатались контуры ее тела — точь-в-точь как на месте убийства.

— Кажется, да.

— Ты выпила обезболивающее?

— Хм... — Взгляд ее снова блуждает по комнате. Какого ответа ждет Тед? — Да.

— Мне пора. — Тед замолкает. — Я, пожалуй, пришлю к тебе маму.

— Нет, — поспешно возражает Элина, — все и так хорошо. Все хорошо, правда.

— Точно?

— Да.

— У тебя ведь есть ее телефон? На всякий случай. Я вернусь часов в шесть. Мы почти закончили. — В голосе Теда слышится тревога, мольба. — Приготовлю вкусный ужин. А пока поешь хоть чего-нибудь, ладно?

— Ладно.

— Обещаешь?

— Обещаю.

Элина сидит в кресле возле черного хода и опять смотрит в окно на свою студию, и вдруг в дверь звонят. Элина замирает, прижав ладонь к оконному стеклу, и ждет. Мать Теда? Все-таки вызвал? Не надо выходить

из кухни, кто бы это ни был. Решат, что дома никого нет, и уйдут. Элина продолжает смотреть в окно. И вновь звонок, долгий, пронзительный. Ну и пусть. Опять звонок, еще настойчивей.

Притаившись у окна, Элина думает: а вдруг мать позвонит Теду и скажет, что ей не открыли? А Тед забеспокоится, сорвется с работы. Элина встает с кресла, не спеша, осторожно, цепляясь за стену, ковыляет в прихожую. Малыш в коляске, спит.

Когда Элина открывает дверь, гостья — не мать Теда, а незнакомая женщина с копной желтых волос, грузная, синие брюки в обтяжку вот-вот лопнут — не ждет приглашения. Не ждет даже, когда Элина заговорит, а проходит мимо нее, ругая дождь, топает по коридору, плюхается на Элинин диван и перебирает какие-то бумаги, папки, ручки.

Потрясенная Элина застывает перед ней на ковре. Хочется спросить: кто вы? Что вам нужно? Кто вас сюда прислал? — но вид папок и бумаг повергает ее в молчание. Она ждет, что будет дальше.

— Итак... — Гостья вздыхает, ерзает на диване. — Вы Натали.

Это не вопрос, и Элина задумывается: разве я Натали? Кажется, нет.

— Нет.

Гостья хмурится, скребет в затылке ручкой.

— Не Натали?

Элина решительно трясет головой.

Женщина листает бумаги и, искоса глядя на Элину, вздыхает: «А-а». Это вздох усталости, разочарования, и Элину тянет извиниться за то, что она не Натали. Хочется даже ответить: так и быть, согласна, Натали так Натали.

— Вы Элина. — Гостья снова вздыхает.

— Да.

— Ну и как мы себя чувствуем, Элина?

Странно, что по-английски к человеку можно обратиться во множественном числе, «мы». Она одна, одна. При чем тут «мы»?

— Хорошо, — отвечает Элина в надежде, что женщина уйдет.

Но у той наготове целый список вопросов. Она желает знать, что Элина ест и сколько раз в день. Выходит ли на улицу, высыпается ли, записалась ли в группу поддержки, а раз нет, собирается ли; принимает ли лекарства, есть ли у нее помощники.

— Помощники? — переспрашивает Элина.

Женщина косится на нее из-под соломенной челки. Оглядывает комнату, Элинину пижаму.

— Вы живете одна?

— Нет. Я живу с другом, но...

— Но что?

— Он на работе. Он не хотел... То есть собирался взять отпуск. Они снимают фильм, выбились из графика и... ну...

Гостья долго царапает в блокноте. Бесконечные бумаги и вопросы утомляют Элину. Скорей бы эта женщина ушла — и растянуться бы на ковре, подложить руку под щеку и уснуть.

— А как у вас заживает? — спрашивает гостья, уставившись в бумаги.

— Заживает?

— Шов.

— Какой шов?

Гостья вновь бросает на Элину строгий взгляд.

— От кесарева. — По лицу ее пробегает тень сомнения. — Вам ведь делали кесарево сечение?

— Сечение? — Элина вертит слово в голове. «Сечение» означает разрез. Операция. Она прижимает к животу руку, вспоминает жгучую, как факел, боль. — Сечение... — бормочет она.

Гостья вновь заглядывает в записи, перебирает страницы.

— Здесь написано... давайте посмотрим... затяжные роды, осложнения и — вот — экстренная операция, кровотечение.

Элина смотрит на женщину в упор. Схватить бы ее сумку да в окно! Элина представляет звон стекла, дождь прозрачных осколков, глухой стук от удара сумочки об асфальт.

Гостья смотрит на нее из-под насупленных бровей, рот приоткрыт.

— Я вас попрошу, — Элина старательно выговаривает каждое слово, — уйти. Пожалуйста. Я очень занята. У меня... у меня... дела. Вы ведь не обидитесь? Заходите как-нибудь в другой раз. — Она тщательно подбирает слова, чтобы не оскорбить гостью. Неизвестно, откуда эта женщина взялась, но это не повод для грубости. Элина провожает ее до дверей. — Большое спасибо, — говорит она, закрывая дверь. — До свидания.

* * *

Александра на весь день запирается в комнате, подставив под ручку двери стул, чтобы не открыли братишки-сестренки. Те переговариваются и стенают за дверью, но Александра не сдаётся. Она изучает карту Лондона. Достает из платяного шкафа чемодан, выбивает пыль из малиновой атласной подкладки, перебирает одежду на вешалках, раздумывая, что взять с собой в новую жизнь, а что оставить. Младшие, захваченные драмой, подсовывают под дверь записки, печенье, даже ленту для волос.

— Поезжай в университет и извинись, — шепчет в замочную скважину кто-то из них. — Может, тебя примут обратно.

— Не за что мне извиняться! — огрызается Александра. — Не за что!

— А ты все равно извинись, — советует благоразумное дитя. — Ну и пусть не за что.

Но Александра блуждает из угла в угол, грызет печенье, читает главу-другую из книги, зачесывает наверх волосы, снова распускает, собирает в пучок на затылке. Садится писать дневник — получается сумбур, сплошные помарки. Делает перед зеркалом стойку на руках.

В сумерках, когда семья садится ужинать, добровольная узница Александра высовывается из окна как можно дальше, но так, чтобы не выпасть, ложится животом на подоконник, руки-ноги в воздухе, и пытается удержать равновесие.

Едва ей удастся найти точку опоры — почти, почти, ноги над полом, руки в стороны, парящий ангел, — снизу, с дороги, доносится тарахтение мотора. Александра поднимает голову, теряет равновесие, царапает живот о подоконник, ноги стучаются об пол. Она вглядывается в темноту.

Та к и есть! По дороге движется машина, светлая, с открытым верхом, летит со свистом, закладывая крутые виражи, звук мотора то громче, то глуше. Человек за рулем ссутулился, ветер ерошит его волосы, лица не разглядеть, но Александра уверена: это он. Поднявшись на цыпочки, она едва заметно машет рукой.

Слышен визг тормозов, машина круто разворачивается. Водитель — высокий, в светлом костюме, — не заглушая мотора, выпрыгивает из салона. В руке у него что-то белеет. Он чуть замешкался. Смотрит на дом? «Почему, — отчаянно ругает себя Александра, — я не включила свет?» Он увидел бы ее у окна, наверняка бы увидел. Она хочет подбежать к стене и зажечь лампу, но боится потерять его из виду.

Вот он спрятал в листву живой изгороди что-то белое. Да, спрятал. Еще миг — и он садится в машину и исчезает за поворотом.

Александра сбегает вниз по лестнице, проносится через кухню, где семья ужинает, и, сдернув с крючка фонарик, выскакивает во двор и бежит босиком по мокрой траве, мимо деревьев и кустов, темнеющих на фоне неба.

Надо спешить — если мать бросится за ней, все пропало. Впопыхах она едва не теряет из виду записку, но луч фонарика высвечивает ее среди листвы.

«Александра, — написано неровным почерком, — вот моя визитка. Разыщите меня, когда приедете в Лондон. Пообедаем вместе. Ваш Иннес

Кент».

И занятный постскрипtum: «Я тоже не любитель сокращать имена, но, должен сказать, имя Александра — не самое для Вас подходящее. Думаю, в Вашем имени должна быть изюминка. Мне Вы видите как Лекси. А на Ваш вкус?»

Она дважды перечитывает записку и трижды — постскрипtum. Свернув ее, прячет в карман синего платья и садится в темноте на пень. Она Лекси. Она едет в Лондон. И будет обедать с мужчинами в галстуках цвета утиного яйца.

* * *

— Ты помнишь, — спрашивает Элина, а Тед не сводит глаз с экрана — от слов «ты помнишь» ему всегда становится не по себе, — ту гостиницу, где вместо душа был... — Элину одолевает зевота, сводит челюсти, на глазах слезы, — был... — голос у нее слабый, сонный, будто в любую минуту готовый прерваться, — шланг?

— Шланг? — изумляется Тед.

— Ага. А еще была... эта, как ее... — Элина, повалившись на Теда, опять зевает, поджимает ноги, будто ножки шезлонга. — Как это будет?

— Э-э... понятия не имею.

— Мыльница, — бубнит Элина с закрытыми глазами. — Из консервной банки.

Тед роется в памяти. Не было нигде шланга вместо душа. Он перебирает в уме все места, куда они ездили вдвоем. Рим? Или в Риме он был с Иветт? Рим: с Элиной или с Иветт? Или еще до Иветт, с той блондинкой, как ее там? Вспомнил, с Иветт — она еще закатила скандал из-за солнцезащитного крема на Кампо-де-Фьори. Хорошо, что он не сказал «Рим», вовремя остановился. Была еще гостиница в Норфолке, на маяке, где они жили с Элиной, но там был вроде бы нормальный душ.

— ...А во дворе — коза, — бормочет Элина, — с детенышем — как повашему? — с козленком, белым-белым. Помнишь? Ты еще сказал, что кроме него мы там за все время не видели ничего чистого.

Да, теперь вспомнил. Картинка оживает перед глазами, точно вспыхнул экран компьютера. Крохотный тонконогий козленок, белоснежный, с ярко-розовыми, будто на помаженными, губами.

— В Индии?

— Угу. — Элина кивает: голова ее приподнимается и вновь опускается ему на колени.

— Керала. — Тед хлопает по подлокотнику, радуясь наплыву воспоминаний: Элина у дверей лавки, где торгуют пряностями; прогулка по эвкалиптовой роще; белоснежный козленок, которого они видели каждый день, его мать на привязи, ее дрожащее бляение; как они ехали ночным поездом и как ему не давали уснуть топот в коридоре и вспышки голубого света. — Керала, — повторяет Тед, — да. Где-то же есть фотографии? Я ведь снимал. Принести?

Не услышав ответа, он смотрит на Элину. Она спит, головой на его коленях, подложив руку под щеку, губы приоткрыты. Теда берет досада: у него пробудили воспоминания об Индии, а высказаться не дали. Нечасто его хватает на такие разговоры, и вот, раз в кои-то веки, он готов, а Элина возьми да и усни. Хочется погромче сказать «Керала» или шевельнуться, чтобы она проснулась и выслушала его воспоминания об Индии, — но тут же становится стыдно. Не надо ее будить. Что за мысли лезут в голову, что он за эгоист?

Он осторожно кладет руку ей на бок, на зеленый шерстяной жакет. Тянется за одеялом, что всегда лежит на диване, и укрывает ее. Смотрит, как еле заметно бьется жилка у нее на шее, и представляет глубоко под кожей вену, как она расширяется и сокращается, гонит к сердцу горячую, густую кровь, растягивается каждые три четверти секунды.

Он разглядывает переплетение вен на ее запястье, тонкие лиловые жилки на веках, голубоватую тень на щеке, сеть сосудов на подъеме стопы. И впервые задается вопросом: кровь скольких людей понадобилась, чтобы вернуть ее к жизни, — одного или многих? И осталась ли она собой, если даже кровь, что бежит по ее телу, и та чужая? Где грань, за которой перестаешь быть собой?

Если бы он мог забыть случившееся, как забывает многое другое! Стереть из памяти, отгородиться, не видеть при каждом взгляде на Элину, как тонка ее кожа, как невыносимо хрупки вены, не представлять, как легко проколоть их иглой. Лучше бы ничего этого не было. Лучше бы она была снова беременной — сидела бы рядом, малыш внутри нее, оба в безопасности, и она цела и невредима, и нет разреза, сквозь который едва не утекла ее жизнь.

Тед, сглотнув, гонит прочь эту мысль. Откашливается, поводит плечами, разминая затекшую шею. Перед ним снова маячит унылое, однообразное море, опять тошнит, как от качки. Взяв пульт, Тед переключает каналы — раз, другой, третий, четвертый. Телеигра, реклама, женщина в саду, человек с пистолетом, лев среди высокой травы. Тед отбрасывает пульт.

Память у него всегда была плохая, хуже некуда. Целые куски жизни теряются в тошнотворной дымке. Тед уверен, почти уверен, что помнит себя только с девяти лет, с того дня, как сорвался с дерева в саду у друга и сломал руку. Он помнит, как отец друга отвел его в приемный покой, помнит странную прохладу гипса, как медсестра учила его слову «гипсофила» и как ему было стыдно, когда мать неслась по коридору, пальто нараспашку, с криком: «Где мой сын?» Все остальное — смутно-приятный фон, как помехи в радиоприемнике.

Мама — большая любительница воспоминаний. «Помнишь тот пляж, где ты катался на ослике? — спросит она. — Там был еще хромой пес. И ты уронил мороженое на землю. Помнишь, как ты плакал и не мог успокоиться? И как я повела тебя в магазин за новой порцией? Помнишь?» Тед кивает, но его впечатления — не более чем ряд картинок, вроде фотографий, которые так примелькались, что стали заменой воспоминаний. У матери целое собрание историй о нем, Тед знает их наизусть: как ему на голову свалилась со шкафа коробка из-под шляпы и так расцарапала нос, что матери было стыдно выходить с ним на люди; как он выиграл на ярмарке золотую рыбку, но уронил на автостоянке, и мать прижимала к себе его лицо, пока рыбка не перестала биться в пыли; как он спросил у лысого дядьки, где его волосы; как он пел песенку двоюродной сестре, когда та упала и оцарапала ногу. Эти истории пересказаны столько раз, что Тед знает их наизусть. Но все они будто не про него.

И сейчас, сидя рядом с воскресшей подругой и маленьким сыном, Тед впервые догадывается почему. Наверное, дело в том, что ни одна из этих историй не вяжется с его собственными смутными впечатлениями из детства. Мамина версия — хоровод подарков, осликов, ярмарок, песенок, летних поездок — не сходится с его версией. Ему вспоминается их холодный дом, где отапливались только нижние этажи: в подвале была печь, разжечь которую было нелегко. Зимой по утрам на линялых желтых занавесках в детской намерзал лед. Вспоминается, как его надолго оставляли одного. Бесконечные воскресные дни, когда он, единственный ребенок в доме, полном взрослых, раз за разом съезжал по перилам. Длинные, скучные часы в палисаднике, когда он сманивал с забора соседскую кошку. Череда нянек-студенток, которые водили его в школу, в парк, ездили с ним на метро в Британский музей, кормили полдником после школы. Теду запомнилась одна, француженка, — имя вылетело из головы, — которая вместо дежурных бутербродов с вареньем испекла ему пирог-перевертыш, миниатюрный, на одну порцию. Он до сих пор помнит, как она перевернула форму и выложила пирог на тарелку, как крошилась

теплая рассыпчатая корочка, блестела засахаренная груша, клубился над пирогом сладкий пар. От неожиданности Тед расплакался, и француженка обняла его, а он уткнулся в ее пушистый свитер. Но продержалась она в доме недолго, ее сменила, кажется, датчанка, которая кормила его ржаными крекерами.

Рассказы Элины о детстве — как они ходили в лес с палаткой, плавали на лодках на дикие острова, катались в рождественскую ночь на коньках на архипелаге, лазили на крышу смотреть северное сияние — кажутся ему удивительными. Хочется попросить: еще, расскажи еще что-нибудь, — но Тед не просит, потому что самому нечем поделиться. Что он может рассказать в ответ на историю, как Элина с братом, когда ей было десять, а брату — восемь, сбежали из дома в лес, построили шалаш и жили там два дня, пока их не отыскала мама? О том, как няня водила его в обувной магазин? Или в ответ на рассказ, как Элина сложила костер вышиной до крыши сарая и спалила сарай? Или как она съезжала на санках с крутой-крутой горы, и скатилась на лед замерзшего озера, и сидела там, пока не окоченела от холода, — слушала, как лед по-особому окрашивает все звуки? Он мог бы рассказать, как отец водил его в зоопарк и все смотрел на часы и предлагал перекусить. Или как в детстве его не покидало чувство, что где-то кипит жизнь, а он пропускает самое интересное. Отец вечно на работе. Мать за столом разбирает письма: «Не сейчас, сынок, подожди минутку, мама занята»; няни-студентки бегают на уроки английского; женщина, что приходит чистить медные перила лестницы, без конца жалуется на боли «там, внизу».

Тед смотрит на спящую Элину, укутывает ее поплотней одеялом. Смотрит на кровать, где спит в пеленках его сын. Сын. К этому слову надо привыкнуть. Пусть мальчик катается на санках, пусть в его жизни будут и шалаша, и ярмарки, и костры, что иногда приводят к пожарам. Он, Тед, будет водить его в зоопарк и ни разу не взглянет на часы. Он научится печь пирог-перевертыш и будет печь его раз в неделю, а если надо, то и каждый день. Этого ребенка не будут загонять после обеда в спальню на тихий час. А пигалицы, которые едва знают английский, не будут водить его в обувной магазин или в музей смотреть на египетских мумий в стеклянных ящиках. Он не будет часами слоняться один по замерзшему саду. У него в детской будет центральное отопление. Его не будут водить раз в месяц в парикмахерскую. Ему разрешат играть босиком в песочнице. На Рождество он будет сам наряжать елку, какими захочет шариками.

Тед барабанит пальцами по ручке дивана. Хочется встать и записать эти мысли, склониться над спящим сыном и сказать все это, клятвенно

пообещать. Но нельзя тревожить Элину. Взяв пульт, он переключает каналы, пока не находит футбольный матч, о котором совсем забыл.

Во сне — в странном полузабытьи, когда видишь сон и знаешь, что это сон, — Элина держит в руках наволочку, набитую хрупкими вещами. Будильник, хрустальный бокал без ножки, пепельница, стеклянный шар с заснеженным лесом, девочкой и волком. Она стоит на холодном каменном полу, а наволочка того и гляди лопнет. Элина держит ее из последних сил, из наволочки все выскальзывает. Если хоть что-нибудь упадет на пол, то разобьется. Надо держать наволочку, чтобы ничего не упало.

Элину будит чей-то стон: «О-ох!» Знакомый голос. Тед. Элина открывает глаза. Будильник, бокал, стеклянный шар, каменный пол исчезают. Она лежит на самом краю дивана, прижатая к подлокотнику, головой на коленях Теда.

— Что ты охаешь? — спрашивает Элина, обращаясь к его затылку. Тед смотрит телевизор — судя по звуку, футбол: свистки и гул. Он давно не брился, шея и подбородок в темной щетине. Элина проводит по ней пальцем, туда-сюда.

— Ты меня стукнула, — отвечает Тед, уставившись в экран.

— Стукнула?

— Замахала во сне руками и...

Шум в телевизоре нарастает, слышен рев, и Тед вдруг раздражается страстной, сбивчивой тирадой. Слов не разобрать, Элине слышится «да», «боже» и ругань.

Тед сжимает кулаки, спорит с телевизором. Из другого конца комнаты, рядом с дверью на кухню, раздается еще звук. Будто пискнул птенец или котенок. Элина резко оборачивается. Малыш. И снова тоненький писк: пиип!

— Тед, — просит Элина, — потише, разбудишь ребенка.

Телевизор по-прежнему орет, но Тед, понизив голос, бормочет: «Во дает!» Элина прислушивается, но ни звука больше из плетеной кровати. Высовывается ручка, медленно сгибается в воздухе, будто малыш делает гимнастику. Потом он затихает.

— Как называется игрушка, шар, а внутри — вода и искусственный снег? — спрашивает Элина.

Тед застыл в напряженной позе, подавшись вперед.

— Что?

— Ну, знаешь, у детей. Потрясешь — и снег кружится.

— Не знаю... — начинает Тед, но тут в телевизоре что-то происходит,

и он шепчет: — Нет! — и валится на подушки в позе отчаяния.

Элина находит что-то на диване. Мастихин с упругим лезвием. Элина гнет его так и сяк, подносит к лицу, разглядывает, как археолог находку из прошлого. На стыке лезвия и рукоятки засохла краска — красная, зеленая, капелька желтой; на перламутровом пластике рукоятки — крохотная трещинка, на кончике — следы ржавчины. Хоть и похож на нож, думает Элина, да разве это нож? Таким ножом ничего не разрезать. Не разрубить, не распороть, не пронзить, не проткнуть, как обычным ножом, ведь настоящие ножи...

— Что ты там делаешь?

Элина оборачивается. Тед, к ее удивлению, смотрит прямо на нее.

— Ничего. — Элина кладет мастихин на колени.

— Что это? — спрашивает Тед с подозрением, будто готов услышать в ответ: «Пустяки, ручная граната, милый».

— Ничего, — повторяет Элина, а сама удивляется, откуда взялся мастихин, почему он здесь, а не в студии. Она здесь работала, мешала на кофейном столике гипс, чего обычно никогда не делала. В доме живут, в студии работают. Но жара стояла адская, и короткий путь через сад был ей не под силу.

Элина вдруг ловит на себе взгляд Теда, полный ужаса.

— Ты что? — спрашивает она.

Тед молчит. Он будто не слышит, глядит на нее испуганно и заворуженно.

— Что ты на меня так смотришь? — Взгляд Теда прикован к ее шее. Элина дотрагивается до нее рукой — от прикосновения подскакивает пульс. — Что с тобой?

— А? — откликается Тед, будто очнувшись от забытья. — Что ты говоришь?

— Я спрашиваю, что ты на меня так смотришь?

Тед отводит взгляд, вертит в руках пульт.

— Прости, — бормочет он и вдруг спрашивает, будто оправдываясь: — Как смотрю?

— Как на чокнутую.

Тед ерзает на диване.

— Да что ты! Ничего подобного. Нет, конечно.

Элина с трудом приподнимается. Шум телевизора становится невыносимым. Кажется, ей не встать с дивана — подогнутся ноги или лопнет живот. Но она вцепляется в подлокотник, Тед хватает ее за руку повыше кисти, помогает подняться, и Элина ковыляет по комнате,

согнувшись в три погибели.

Ей нестерпимо хочется посмотреть на ребенка. То и дело ее посещает это желание. Убедиться, что он здесь, что он ей не приснился, что он дышит, что он все так же прекрасен, так же совершенен. Она подходит к плетеной кровати, прихрамывая, — пора принять обезболивающее — и заглядывает внутрь. Малыш лежит укутанный в одеяльце, кулачки возле ушей, глаза крепко зажмурены, губки сурово сжаты: сон — дело серьезное. Элина кладет ладонь ему на грудь и — пусть это уже лишнее, пусть и без того понятно, что все хорошо, — чувствует великое облегчение. Дышит, говорит себе Элина, — значит, жив, жив.

Она пробирается на кухню, хватается за плиту, чтобы не упасть, и бранит себя. Откуда у нее страх, что он может умереть, покинуть ее, уйти из мира? Это же чистое безумие, уверяет она себя, ища взглядом на полках чайник, глупость, да и только.

На другое утро мастихин лежит на полу под диваном. Элина опускается на четвереньки, чтобы поднять его, и заодно заглядывает под диван. Сколько там всего: монеты, булавка, катушка с нитками, заколка — наверное, ее старая. Выудить бы их линейкой или деревянной ложкой — хорошая хозяйка на ее месте так и сделала бы. Но домашнее хозяйство — не ее страсть. Есть в жизни занятия поинтереснее. Если б только вспомнить какие.

Элина встает, и снова ее пронзает жгучая боль. Может, все-таки позвонить Теду и спросить: «Тед, откуда у меня шрам? Что со мной случилось? Расскажи, я не могу вспомнить?»

Но сейчас не время. Тед, наверное, в монтажной, в своем логове, как называет ее про себя Элина, — вырезает из фильмов лишнее, чтобы выходило гладко и безупречно, будто так и задумано. А вдруг она и сама вспомнит? В последнее время на него столько всего обрушилось — и съемки выбились из графика, и ребенок родился, — и лицо у него болезненное: бледное, изможденное. Нет, ни к чему его беспокоить.

И Элина идет не к телефону, а к окну. Дождь не утихает, льет без передышки уже несколько дней, небо мутное, нависшее, в саду сырость. Дом звенит в ритме дождя: капли барабанят по крыше, в канавах и водосточных трубах журчит вода.

Чуть раньше, когда она была еще беременна, дни стояли ясные, неделя за неделей. Элина пряталась от солнца у себя в студии, опустив ноги в ведро с холодной водой. По утрам занималась во дворе йогой на прохладной росистой траве. Ела грейпфруты, иной раз по три за день, рисовала муравьев, но лениво, бесцельно; смотрела, как кожа на животе

вздывается, идет волнами, словно море перед бурей. Читала книги о естественных родах. Царапала углем на стенах студии имени для малыша.

Элина стоит у окна и смотрит на дождь. По тротуару в сторону Хэмпстед-Хит идет человек, следом бежит пес. Для нее загадка, куда делась та Элина, что писала углем, рисовала муравьев, читала о естественных родах, прохлаждалась в тени с ведром воды. Как она стала нынешней Элиной — в грязной пижаме, в слезах, готовой выбежать на улицу с криком: «Кто-нибудь, помогите, пожалуйста!»

«Элина Вилкуна, — повторяет она про себя, — тебя зовут Элина Вилкуна. Вот кто ты». Надо сосредоточиться на самом простом, очевидном. Может, тогда все встанет на свои места. Есть она, есть малыш, есть Тед. Точнее, для всех он Тед — полное имя у него длинное, но никто его этим именем не зовет. О Теде она знает все. Спросите — и она перескажет его жизнь. Если бы она держала экзамен по Теду, то сдала бы на пять с плюсом. Он ее друг, спутник, возлюбленный, вторая половинка, любовник, товарищ. Когда он выходит из дома, он едет на работу. В Сохо. На метро, а иногда на велосипеде. Ему тридцать пять, он старше ее ровно на четыре года. Волосы у него каштановые, он носит десятый размер обуви, любит курицу с карри по-мадрасски. Большой палец на одной руке у него длиннее и уже, чем на другой, — говорит, из-за привычки сосать его в детстве. У него три пломбы, белый шрам на животе — удалили аппендикс — и лиловый след на левой лодыжке — много лет назад ужалила медуза в Индийском океане. Он терпеть не может джаз, многозальные кинотеатры, плавание, собак и машины — наотрез отказывается покупать автомобиль. У него аллергия на шерсть и на сушеное манго. Такова внешняя сторона.

И вот Элина сидит на лестнице, будто ждет кого-то или чего-то. Она потеряла счет времени. В глубине дома звонит телефон, шелкает автоответчик, говорит в пустоту ее подруга. Надо ей перезвонить. Попозже. Завтра. Когда-нибудь. А сейчас она сидит затылком к стене, с малышом на коленях, а подле нее на ступеньке — кусок голубой материи. Мягкой, пушистой, расшитой серебряными звездами.

При взгляде на звезды ее посещает странное чувство. Она видит их будто в первый раз, но притом представляет, как вышивала их, протягивала сквозь ткань серебряную нитку, стежок за стежком. Знает, каков на ощупь пушистый ворс, знает, что звездочка у кромки чуть кривовата, и все же, и все же видит это впервые. Или нет? Элина смотрит — и вспоминает: эти звезды она вышивала в больнице, между...

Элина окидывает взглядом коридор. Сквозь стекла входной двери

льется солнечный свет. Взяв ребенка и расшитое звездами одеяльце, — или пеленку, маловата она все-таки для одеяльца, — Элина встает и спускается по лестнице. Солнце слепит глаза, и сердце подпрыгивает от радости: дождь перестал!

Теперь можно выйти из дома. А что, неплохая мысль. На улицу, где на асфальте сверкают лужи и тротуар усыпан мокрыми листьями, где гудят машины, где собаки чешутся и обнюхивают фонарные столбы, где прохожие снуют, разговаривают, спешат по делам. Можно дойти до конца улицы. Купить газету, бутылку молока, плитку шоколада, апельсин, груши.

Она представляет все так живо, будто выходила из дома всего неделю-две назад. Сколько времени прошло? Сколько уже с тех пор, как?..

Да, только не забыть бы... надо подумать... кошелек, ключи. Что еще? Заметив на полу в прихожей ситцевую сумку, Элина складывает в нее голубое одеяльце со звездами, подгузники, салфетки. Пожалуй, все?

Нет, не все. Элину преследует неотвязная мысль: она что-то забыла. С минуту она стоит и думает. Ребенок, коляска, сумка. Элина окидывает взглядом лестницу, смотрит на входную дверь с сияющими, будто леденцовыми, стеклами, оглядывает себя. Ребенок на руках, сумка через плечо, поверх пижамы.

Одежда. Надо переодеться.

В спальне Элина смотрит на стул с грудой одежды. Свободной рукой снимает со стула вещи и роняет на пол. Джинсы для беременных, с широким поясом, комбинезон, серые спортивные брюки, футболка с гирляндами цветов. Вот что-то зеленое переплелось с красным, одной рукой не распутать; Элина встряхивает узел, и красный шарф взмывает в воздух. Элина смотрит, как он, описав плавную дугу, опускается на пол. Красный шарф на белом ковре. Вертя головой, Элина разглядывает его под разными углами. Переводит взгляд на малыша — он шевелит губками, будто рассказывает о чем-то. Элина уже не смотрит на шарф, но все равно думает о нем, вспоминает, как он взвился ввысь. Этот шарф ей что-то напоминает, что-то из недавнего прошлого. Вспомнила! Струйки крови. По-своему красивые — яркие, гранатовые, среди больничной чистоты и белизны. Как они брызнули с силой на врачей, на сестер. Как они всполошили всех, подняли на ноги.

Выронив зеленую блузу, Элина садится на стул. Она крепче прижимает к себе ребенка, сына, и смотрит на него, на него одного, а он шевелит губками, поверяет тайны, будто знает ответ на любой ее вопрос.

* * *

Лекси стоит у окна с сигаретой и смотрит на улицу. Старушка из квартиры снизу выходит на прогулку: в одной руке держит поводок, в другой — сумку, скрючилась вопросительным знаком, пробирается через дорогу, шагок за шагом, не глядя по сторонам.

— Кончится тем, что она попадет под машину, — бормочет Лекси.

— Кто? — переспрашивает из глубины комнаты Иннес, приподнявшись на кровати.

Лекси указывает сигаретой:

— Соседка. Горбунья. Под твою же машину и попадет.

Она уже не та Александра, что сидела на пне с книгой. Во-первых, на ней ничего нет, кроме белой полосатой рубашки Иннеса с расстегнутыми пуговицами. Во-вторых, волосы у нее подстрижены лесенкой, ниспадают на лицо шелковым занавесом.

Иннес зевает, потягивается, переворачивается на живот.

— С какой стати мне давить соседку? И если ты про старую каргу снизу, то никакая она не горбунья. У нее остеопороз грудного отдела позвоночника, на медицинском жаргоне — «вдовый горб». Его причины...

— Да хватит тебе, — перебивает Лекси. — Откуда такие познания?

Иннес приподнимается на локте.

— Загубленная юность, — отвечает он. — Корпел над книгами, вместо того чтобы охмурять таких, как ты.

Лекси с улыбкой выпускает струйку дыма, глядя, как старушка с собакой ступает на тротуар. Душный октябрьский день. Небо низкое, предгрозовое, а старушка в неизменном твидовом пальто.

— Что ж, — усмехается Лекси, — ты с лихвой наверстал упущенное.

— Кстати, — Иннес откидывает край стеганого покрывала, — иди-ка сюда. Дай мне свою сигарету и свое тело.

Лекси не двигается.

— Именно в этом порядке?

— В каком угодно. Ну же! — Он похлопывает по матрасу.

Лекси делает еще затяжку, скрещивает босые ноги, бросает прощальный взгляд в окно, на пустую улицу, — и пускается бегом. Посреди комнаты она взлетает в прыжке, словно балерина. Иннес ахает: «Боже!» Полосатая рубашка полощется, словно крылья, сигарета роняет белый пепел, и Лекси думает лишь об одном: что они окажутся сейчас в постели второй раз за день. Она не знает, что умрет молодой, что времени впереди не так много, как кажется. Сейчас она встретила свою самую большую любовь и далека от мыслей о смерти.

Лекси с грохотом приземляется на кровать. Подушки и покрывало

сползают на пол, Иннес хватает Лекси за руку, за локоть, за талию. «Это нам не понадобится», — приговаривает он, стаскивая с нее рубашку, бросая ее на пол, укладывая Лекси на кровать, устраиваясь между ее ног. Чуть помедлив, он берет у нее сигарету, затягивается и тушит ее в пепельнице на ночном столике.

— Вот и славно. — Иннес вновь поворачивается к Лекси.

Но это будет впереди. Перемотаем пленку чуть назад. Смотрите: Иннес затягивает в себя облачко дыма, достает из пепельницы окурок, накидывает на Лекси рубашку и толкает ее в воздух; подушки прыгают обратно на кровать, Лекси перелетает к окну. Вот они снова в постели, оба раздеты, и, верите ли, нет ли, секс всегда одинаков, даже при перемотке, только потом они бережно одевают друг друга, выбегают из дверей, несутся вниз по лестнице, Иннес достает из замка ключ. Все быстрее мелькают кадры. Вот они в машине Иннеса, катят задом наперед по дороге, голова Лекси повязана шарфом. Вот они в ресторане, отправляют вилками еду изо рта обратно в тарелки; вот они снова в постели, вот к ним летит одежда. Вот женщина в красной шляпке без полей пятится прочь от Лекси. И снова Лекси, смотрит на дом в Сохо, удаляется от него нелепой походкой. Поднимается спиной вперед по длинной, темной лестнице. Кадры мелькают еще быстрее. От большого дымного вокзала отходит поезд, мчится задом наперед через поля и деревни. Лекси выходит на маленькой станции, ставит на перрон чемодан. Конец фильма. Мы вернулись туда, где остановились.

Провожая Лекси в Лондон, мать дала ей два совета. 1) Устройся секретаршей в крупную, процветающую фирму, там легче найти достойного кандидата в мужа. 2) Никогда не оставайся в комнате наедине с мужчиной.

Отец предостерегал: больше не трать времени на учебу, от этого у женщин портится характер.

Братишки-сестренки просили: обязательно съезди посмотреть на королеву.

Ее тетка, в двадцатых годах жившая в Лондоне, наставляла: никогда не ездите на метро, там грязь и всякий сброд; не ходите по кофейням — нечего заразу собирать; не выходите из дому без корсета и зонтика, и в Сохо ни ногой.

Нечего и говорить, что Лекси на все советы махнула рукой.

Лекси стояла в дверях с чемоданом в руке. Ее комната оказалась под

самой крышей высокого, узкого дома в ряду домов, что лепились друг к другу. Потолок был скошен под пятью разными углами. Дверь, дверной косяк, плинтуса, заколоченный досками камин, шкафчик под окном — все было выкрашено в желтый. Не в ярко-желтый — цвет желтых нарциссов, если на то пошло, — а в тусклый, противный грязно-желтый. Как нечищенные зубы или потолок в пивной. Краска местами облупилась, под ней проступала унылая бурая. Лекси, как ни странно, приободрилась: выходит, ей достался не самый худший цвет.

Она зашла в комнату, поставила чемодан. Кровать была узкая, продавленная, с покосившимся изголовьем. На кровати — стеганое одеяло с выцветшими лиловыми завитушками. Лекси откинула одеяло — матрас серый, замызганный, бугристый. Лекси торопливо поправила одеяло. Сняла плащ, искала глазами, куда повесить. Ни вешалки, ни крючка. Лекси набросила плащ на стул, тоже выкрашенный бледно-желтой краской, чуть другого оттенка. Откуда у хозяйки такая страсть к желтому?

Хозяйка, миссис Коллинз, встретила ее в дверях. Сухошавая, в халате на молнии, веки подкрашены голубыми перламутровыми тенями; первый ее вопрос был:

— Вы случайно не итальянка?

Лекси, опешив, ответила:

— Нет. — И спросила миссис Коллинз, чем ей так не угодили итальянцы.

— Терпеть их не могу, — буркнула миссис Коллинз и исчезла за ближайшей дверью, а Лекси стояла в прихожей, разглядывая облезлые коричневые обои, телефон на стене, список правил, — грязные типы.

— Вот ключи, — вернувшись миссис Коллинз протянула два ключа. — От входной двери и от комнаты. Правила обычные. — Она указала на листок, припиленный к доске: — Мужчин не водить, животных не держать, окурки бросать в пепельницу, соблюдать чистоту, больше двух гостей сразу не приводить, вечером быть дома не позже одиннадцати — в одиннадцать дверь запирается на засов. — Миссис Коллинз наклонилась к Лекси, взгляделась в ее лицо. — С виду-то ты чистенькая, порядочная, но можешь плохо кончить. По тебе видно.

— Неужели? — Лекси спрятала ключи в сумочку, закрыла ее, нагнулась за чемоданом. — Наверху?

— На самом верху. — Миссис Коллинз кивнула. — Налево.

Лекси вытащила из замка ключи, положила на камин, а сама опустилась на кровать. И только теперь подумала: дело сделано, я здесь. Пригладила волосы, провела рукой по лиловым завитушкам на одеяле. И, забравшись с

ногами на кровать, облокотившись о подоконник, выглянула на улицу. Далеко внизу зеленел квадратик чахлой травы, обнесенный стеной, увитой плющом. Лекси окинула взглядом дворики. В одних цвели розы и жасмин, курчавились фасоль и салат; в других под газонами и альпийскими горками угадывались холмики бомбоубежищ, еще с войны. В одном из дворов, чуть поодаль, виднелись качели, на могучем каштане трепетали на ветру резные листья. А прямо напротив был почти такой же дом — одно из бесчисленных лондонских кирпичных строений, с зигзагами водосточных труб, окна кривые, все в доме сикось-накось, некоторые окна распахнуты настежь, одно забито фанерой. На плоской крыше загорали две женщины — должно быть, вылезли через окно, — сброшенные туфли валялись рядом, задранные юбки шевелились от ветра. Во дворе, вне поля их зрения, нарезал круги ребенок, размахивая красной лентой. Чуть поодаль женщина развешивала белье; в дверях, скрестив руки на груди, стоял мужчина.

На Лекси вдруг накатилась слабость, голова закружилась. Как же это странно — смотреть из мрака комнаты на мир за окном. И комната будто ненастоящая, и сама как неживая — словно заключена в стеклянный шар и смотришь из него на мир, где люди говорят и смеются, живут и умирают, влюбляются, работают, едят, встречаются и расстаются, а она сидит, немая, неподвижная, и наблюдает.

Лекси дотянулась до шпингалета и открыла окно. Ну вот, совсем другое дело. Завеса, отделявшая ее от мира, поднята. Лекси высунулась в окно, потрянула головой, распустила волосы. Легкий ветерок трепал их, мальчик внизу бегал кругами и гудел, как самолет, долетала болтовня загорающих женщин, локти упирались в шершавый подоконник — и было хорошо, очень хорошо.

Лекси отошла от окна, пододвинула стул к подоконнику, а кровать — поближе к стене. Поправила зеркало. Бегом, стуча каблуками, спустилась по лестнице, попросила у изумленной миссис Коллинз ведро, швабру, соду с уксусом, веник и совок. Вымела сор, вытерла пыль, вымыла пол, стены, буфет и плиту. Выбила одеяло и матрас, постелила чистые простыни, что тайком прихватила дома.

Простыни пахли лавандой, стиральным порошком, крахмалом — этот запах всегда будет напоминать ей о матери. Лекси надела на подушку наволочку. Вчера за ужином она объявила, что утром уезжает в Лондон. Все решено. Комнату она уже подыскала, в понедельник утром ее ждут на бирже труда, она сняла со счета все свои сбережения, чтобы продержаться, пока не начнет зарабатывать. Ее уже не остановить.

Разразился ожидаемый скандал. Отец стучал кулаком по столу, мать сперва раскричалась, потом ударилась в слезы. Старшая сестра, взяв на руки малыша, стала утешать мать и сказала, поджав губы, будто завязав в узелок: ты ведешь себя, как всегда, безответственно. Двое младших братьев с гиканьем носились вокруг стола, а еще один братец, чувствуя неладное, поднял ор в своем высоком стульчике.

Лекси швырнула на кровать подушку, сняла с веревки за окном одеяло. Уже стемнело; окна дома напротив сияли в чернильной тьме желтыми квадратами. В одном женщина расчесывала волосы; в другом человек, надвинув на нос очки, читал газету. В третьем задергивали шторы; из четвертого высунулась девушка, глядя во тьму, подставив волосы легкому ветерку, совсем как Лекси.

Лекси разделась и легла на чистые простыни, стараясь не замечать их запаха. Прислушалась к звукам в доме. Шаги на лестнице, хлопанье дверей, женский смех, шиканье. Голос миссис Коллинз, сердитый, недовольный. Внизу, в палисаднике, громко мяукнула кошка. Что-то лязгнуло в трубе. Кто-то звякал кастрюлями. Ниже этажом кто-то зашел в туалет, с шумом спустил воду, зажурчала струйка, наполняя бачок. Лекси ворочалась на крахмальных простынях, разглядывала трещинки на потолке и улыбалась.

На другой день она познакомилась с Ханной, соседкой с первого этажа. Та рассказала, что за углом есть лавка старьевщика, и Лекси собралась туда за тарелками, чашками и кастрюлями. «Не плати сколько запросят, — наставляла Ханна. — Надо торговаться». Лекси приволокла оттуда столешницу, и вдвоем с Ханной они дотащили ее по лестнице до квартиры. На площадке четвертого этажа остановились отдышаться и подтянуть чулки.

— Зачем она тебе? — выдохнула Ханна.

Лекси пристроила столешницу между кроватью и краем раковины, разложила на ней несколько книг, привезенных из дома, авторучку, флакон чернил.

— Что ты будешь на ней делать? — спросила Ханна, полулежа на кровати и неумело пуская колечки дыма.

— Не знаю, — отвечала Лекси, глядя на столешницу. — Мне нужна пишущая машинка... учиться печатать... и все такое. — Она не могла сказать вслух, что хочет создать для себя новую жизнь, лучше нынешней, но пока не знает как и для начала решила обзавестись письменным столом. Лекси провела рукой вдоль края столешницы. — Захотелось, и все.

— Если хочешь знать мое мнение, — Ханна затушила сигарету о

подоконник, — в кастрюлях и сковородках больше проку.

Лекси улыбнулась, встала на цыпочки и задернула шторы.

— Может быть.

* * *

И снова провал. Элина опять внизу, на кухне, шагает взад-вперед с малышом на руках; на ней мешковатая цветастая футболка поверх пижамы, и вся кухня звенит от крика. Он беспрестанный, настойчивый, и задача Элины — прекратить его. Этот звук ей хорошо знаком. Она стала специалистом по плачу — знает его диапазон, вариации, знает, как он меняется. Вначале идет «кхе-кхе», несколько раз. Пять, шесть, семь — до десяти. За «кхе-кхе» следует «аанг»: аанг-аанг-аанг. На этом может все и кончиться, если Элина правильно поймет, сделает то, чего от нее ждут, — но поскольку она не всегда знает, что от нее требуется, крик может перерасти в истошное «уааа!»: уааа-уааа-уааа-уааа! Четыре «уааа», глоток воздуха, следом еще четыре «уааа».

Ей помог бы сон, всего лишь сон. Часа три-четыре, не больше. Усталость такая, что даже голова поворачивается с хрустом, будто кто-то над ухом шуршит бумагой. Но Элина все время в движении. Ходит кругами по кухне — мимо плиты, мимо чайника, мимо автоответчика, на котором целых тринадцать сообщений, мимо холодильника и обратно, в висках стучит от боли. На каждое «уааа» — пара секунд, то есть восемь секунд на каждые четыре «уааа», да еще две секунды на передышку — на все про все десять секунд. Итого двадцать четыре «уааа» в минуту. И сколько уже это длится? Тридцать пять минут — сколько всего получается «уааа»? Столь сложные расчеты Элине сейчас не под силу.

Позже, в тишине, всегда такой напряженной, хрупкой, Элина, оставив малыша, поднимается по лестнице. На площадке она медлит. Перед ней три двери: одна ведет в их с Тедом комнату, другая — в ванную, третья — над ее головой, в потолке, — в мансарду.

Элина выдвигает скрипучую серебристую лестницу, карабкается по ступенькам и выглядывает из люка, словно всплывает из моря. Сквозь щели в шторах в мансарду врываются узкие полоски света, озаряя пыльные пузырьки лака для ногтей на камине, книги на полках — ряд немых корешков, вазу, в которой щетинятся кисти. Элина ступает босыми ногами, шурша по ковру. Достает из ящика стола у окна ежедневник, листает. «Ужин, — читает она, — кино, переговоры, открытие выставки, стрижка, встреча в картинной галерее». Элина откладывает ежедневник. Здесь она жила, работала, — еще в те времена, когда снимала у Теда комнату. Давно.

Еще в той, другой жизни. В ящике стола Элина находит ожерелье, кисточку для ресниц, красную помаду, полупустой тюбик охры, открытку с видом хельсинкского порта. Дверца платяного шкафа сначала не поддается, но Элина что есть силы дергает ее пыльными пальцами, и та открывается.

Здесь, на дверце шкафа, единственное в доме большое зеркало. Дверца распаивается, зеркало отбрасывает на стены комнаты прямоугольники света, и Элина вдруг видит перед собой женщину в грязной футболке, с давно не крашенными волосами и бледным, восковым лицом.

Избегая своего взгляда в зеркале, Элина задирает футболку и придерживает ее подбородком. Оттягивает резинку пижамных брюк, всего на миг, чтобы увидеть неровный, бугристый шрам поперек живота, синеватые кровоподтеки, металлические скобы, удерживающие шов.

Элина одергивает футболку. Вспомнила... что?

Вспомнила, что не ощущала своего тела ниже подмышек, была точно мраморный бюст, — а голова и плечи словно парили в воздухе. Но это было странное онемение: боль исчезла, а все остальные чувства остались.

Она чувствовала, как те двое, врачи, шарят у нее внутри, будто в чемодане. Знала, что должно быть больно, адски больно, — но больно не было. Анестетик точно омывал ее прохладной волной до затылка. Поперек ее тела стояла ширма из зеленой материи. Элина слышала приглушенные голоса врачей, видела их макушки, чувствовала их руки у себя внутри. Тед сидел подле нее, слева, на краешке стула. И вдруг внутри что-то сдвинулось, приподнялось, и она чуть не вскрикнула: «Что вы делаете?» — но все поняла, когда гулкую тишину палаты прорезал громкий, сердитый плач и анестезиолог позади нее сказал: «Мальчик». Элина, глядя в выложенный плитками потолок, повторила: мальчик. Мальчик. И обратилась к Теду. «Возьми его, — велела она. — Возьми и иди», — потому что помнила истории, что рассказывали друг другу шепотом мать и тетки, — о том, как подменяли младенцев, как матерям приносили чужих детей, о детях без меток. Тед поднялся, зашагал по палате.

Она лежала на столе. Анестезиолог где-то сзади, поперек ее тела ширма, за ширмой — врачи. Скрещенные на груди руки были не в ее власти — не шевельнуть рукой, даже если захочется, да и не хотелось. За ширмой послышался гул, будто включили пылесос, но Элина не обратила внимания, она думала: мальчик — и прислушивалась к звукам из глубины палаты, где две медсестры что-то делали с ребенком, а Тед, стоя за их спинами, смотрел. И вдруг что-то случилось, что-то пошло не так. Но что? Элина помнит очень смутно. Врач-практикантка воскликнула: «Ой!» —

огорченно, с тревогой, таким голосом, будто вперед нее протиснулись в очереди. И тут же у Элины запершило в горле, из груди вырвался кашель.

Или все было не так? Или наоборот — она закашлялась, а потом врач сказала: «Ой»?

Впрочем, неважно — тут же хлынула кровь. Столько крови! Целое море. Кровь хлынула на врачей, на ширму, на сестер. Полилась на пол, брызнула веером на кафедру, заструилась ручейками по стыкам между плитками; Элина видела, как врачи оставляют вокруг стола красные следы, как наполняется кровавыми тампонами пакет на стене.

Сердце отозвалось мгновенно — забилося испуганно, будто взывая к кому-то, отстукивая сигнал тревоги. Впрочем, это было излишне. Палату наводнили люди. Практикантка звала на помощь, анестезиолог вскочил, хмуро глянул на экран, поправил прозрачный мешочек над головой Элины, и в тот же миг что-то потекло ей в вену. Она почти теряла сознание, перед глазами все плыло, потолок двигался конвейерной лентой, и вдруг подумалось: может, дело не в лекарстве, а в чем-то еще, и, что бы там ни было, нельзя отключаться, надо жить, нельзя умирать, и хоть бы кто-нибудь подошел, поговорил с ней, объяснил, что случилось, почему руки врачей где-то глубоко у нее внутри, почему кричат: «Быстрее, быстрее», и где ребенок, и где Тед, и почему практикантка говорит: «Нет, не могу, я не умею», а другой врач отвечает строго, и почему ее укладывают ближе к краю стола — еще чуть-чуть, и голова свесится.

Затылок упирался в край стола, практикантка звала на помощь, и Элина опять чуть не впала в забытие — будто ее качнуло в поезде, в голове все подернулось пеленой. Это же так просто, уснуть. Хотелось расслабиться, отдаться той тяжести, что навалилась на нее. Нет, нельзя. И она крепко зажмурилась и снова открыла глаза, больно ущипнула себя за палец. «Помогите, — сказала она анестезиологу, что стоял ближе всех, — прошу, помогите». Но голос прозвучал еле слышно, а анестезиолог разговаривал с человеком, который склонился над ней, а в руках у него — мешочки с чем-то красным.

Элина отворачивается от зеркала. Снизу снова доносится: «ааанг! ааанг!» Элина спускается, держась за перила, минует прихожую, где крик уже перерос в «уааа! уааа!» — и выходит на крыльцо.

Здесь, на крыльце, ее охватывает странное чувство, будто в ней два разных человека, две Элины. Одна застыла на пороге, легкая, как пух, готовая скинуть пижаму и взмыть в небеса, исчезнуть за облаками. А другая спокойно наблюдает за первой и думает: вот так сходят с ума. Она пускается по тропинке, открывает ворота и босиком выходит на тротуар.

Все, ухожу, меня нет. «Уходишь, — замечает вторая, спокойная, — вижу, уходишь». Другая Элина жадно вдыхает воздух, сердце трепещет и заходится.

На углу она вынуждена остановиться. Улица, тротуар, фонарные столбы — все плывет и кружится перед глазами. Больше не ступить ни шагу, будто она привязана к дому или к чему-то в доме. Элина вертит головой. Очень любопытно. Занятое чувство. С минуту она стоит покачиваясь — будто катер на привязи. Влага дождя проникает сквозь футболку, пижама липнет к телу.

Она поворачивается. Две Элины опять слились в одну. Цепляясь за стену, она идет по тротуару, шагает по тропинке, заходит в дом, оставляя на полу мокрые следы.

Малыш, лежа в кроватке, сражается с одеялом, вцепился в него, личико сморщилось от натуги и досады. Увидев Элину, он тут же забывает о схватке с одеялом, о голоде, обо всем, чего не может высказать. Пальчики раскрываются, словно лепестки цветка, и он изумленно смотрит на мать.

— Все хорошо, — говорит ему Элина и на сей раз верит своим словам. Она берет малыша на руки, тот вздрагивает, неожиданно оказавшись в воздухе. Элина прижимает его к себе, приговаривая: — Все хорошо.

Элина с малышом на руках подходит к окну. Они глядят друг на друга. Малыш жмурится от яркого света, но не сводит с нее глаз, для него она как живительная влага для цветка. Элина выглядывает из окна в сад. Поднимает малыша, трется щекой о его лоб, будто приветствует его, будто они в самом начале пути.

* * *

Лекси стоит на тротуаре у Мраморной арки. Поправляет туфлю, повязывает шарф. Теплая туманная погода, начало седьмого. Мужчины в костюмах, женщины в шляпках, ведущие за руку детей, проходят мимо, огибают ее, как река огибает утес.

Лекси отработала на новом месте два дня. Она лифтерша в крупном универмаге. Это место ей предложили на бирже труда после плачевных результатов теста на скорость машинописи, и теперь в ее обязанности входит говорить: «Какой этаж, мадам?»; «Вверх, сэр»; «Третий этаж, хозтовары, галантерея, головные уборы, спасибо». Она и не представляла, какая это скука. Как и не представляла, что способна удержать в памяти устройство целого семиэтажного универмага. Или что одному человеку может понадобиться сразу столько покупок: шляпы, ремни, обувь, чулки, пудра, сетки для волос, костюмы. Лекси видела списки, что сжимали руки

в перчатках, читала через плечо. Но она уверена — это всего лишь начало. Она здесь, в Лондоне, и жизнь ее вот-вот из черно-белой обратится в цветную, иначе быть не может.

Взгляните, вот она стоит на тротуаре. Она не похожа на Лекси в комнате Иннеса, в полосатой рубашке на голое тело. Не похожа и на Александру в синем платье и желтом шарфе, что сидела на пне в саду у родителей. Ей суждено немало перевоплощений. В ней живут бесчисленные Лекси и Александры, спрятанные друг в друге, словно матрешки.

Волосы ее забраны наверх. На ней красно-серая униформа лифтерши, на шее алый шарф; шапочку в рубчик она спрятала в карман. Вечер теплый, в плаще с поясом жарковато. Взгляните, как развернуты ее плечи, какая напряженная поза. Постоянная безупречная вежливость — тяжелый труд. Лекси снимает красный шарф и прячет в карман, разминает затекшие плечи. Улыбается, завидев в дверях двух других лифтерш. Смотрит, как они, взявшись за руки, пробираются сквозь толпу, чуть пошатываясь на высоких каблуках. Мимо громыкает трамвай, разносится в воздухе гулкое эхо звонка.

Вдох, выдох. Лекси чуть расслабляет плечи, смотрит на яркую полосу неба над крышами — универмаг и лифт с кнопками и дребезжащим звонком забыты до завтра. Она перебегает рельсы перед очередным трамваем, ей сигналиит машина, но Лекси уже на тротуаре; она уворачивается от тележки с цветами, и отчего-то хочется смеяться. Нет, не совсем так. А в чем же дело? Она сворачивает за угол, лучи заката омывают ее, длинные тени лежат на тротуарах. Подходит разносчик газет и выкрикивает нараспев: «Но-о-овости! Но-о-овости!» И Лекси понимает: радость. Безудержная, ничем не омраченная радость, вот что у нее на душе. Она спешит на встречу с университетской подругой, что живет здесь уже год, и они идут в кино. Она сама зарабатывает на жизнь, у нее есть крыша над головой, она в Лондоне, и на душе у нее радость.

«Но-о-овости!» — опять выкрикивает разносчик газет, уже за ее спиной. Лекси оглядывается, переходит через дорогу, а потом пускается бегом, на ходу расстегивая плащ, сумочка болтается. Что за пьянящее чувство, когда впервые сознаешь, что ты сама себе хозяйка и никто тебе не указ! Прохожие смотрят ей вслед, какая-то старушка шикает, а вдалеке протяжно, уныло завывает разносчик: «Но-о-овости!»

В Кентиш-Таун она возвращается поздно, но дверь, на ее счастье, не на засове. Повозившись с ключами, Лекси заходит в дом и осторожно закрывает за собой дверь. Но вместо тишины и полумрака ее встречают

яркий свет, галдеж и смех. На лестнице сидит компания, Лекси узнает соседок по пансиону.

Ничего не понимая, она направляется к ним. У кого-то праздник? Знает ли миссис Коллинз? Может, ушла куда-то?

— Ну вот, явилась! — кричит кто-то, завидев Лекси.

— А то мы уже волнуемся, — говорит, выглядывая из-за чьего-то плеча, Ханна. В руке у нее бокал, щеки слегка покраснелись.

Лекси, будто пригвожденная к месту, начинает расстегивать плащ.

— Все хорошо, — она оглядывает соседок, — я ходила в кино с подру...

— Она ходила в кино! — Лекси наконец замечает миссис Коллинз: та, сидя на краешке стула на лестничной площадке, обращается к кому-то наверху.

— Что здесь такое? — улыбается Лекси. — Праздник?

— Ну, — объясняет миссис Коллинз с намеком на всегдашнюю суровость, — кто-то же должен был развлекать твоего гостя.

Лекси поднимает взгляд.

— Гостя?

Миссис Коллинз хватается за руку и ведет сквозь густую толпу.

— Такой занятный молодой человек, — говорит она. — Обычно я, сама знаешь, не приглашаю джентльменов в дом, но он сказал, что у него назначена встреча с тобой, и мне стало за тебя неловко, что ты не пришла, и...

Лекси, миссис Коллинз и Ханна поднимаются на следующую площадку, а там, на четвертой ступеньке, сидит Иннес.

— И что он ответил, когда вы ему признались? — спрашивает он у невзрачной девушки с крупными зубами. — Надеюсь, рассыпался в извинениях.

— Мистер Кент играл с нами в игру. — Миссис Коллинз стискивает руку Лекси. — Каждая рассказывала о своем самом большом конфузе. А он выбирает победительницу — ту, что сильнее всех оконфузилась. — Она хрипло смеется, но тут же смущенно прикрывает рот ладонью.

— Вот как! — удивляется Лекси.

Иннес оборачивается, оглядывает ее с головы до ног, улыбается, взмахивает рукой с сигаретой — то ли в знак приветствия, то ли недоуменно.

— Наконец-то, — говорит он. — А мы гадаем, что с тобой стряслось. Опять зашла не в ту дверь? Ведущую в другой мир?

Лекси склоняет набок голову.

— На этот раз нет. Всего лишь в дверь, ведущую в кинотеатр.

— А-а, соблазны синематографа! Кто-то предположил, что тебя похитили, но я сказал, что ты отвадишь любого похитителя.

С минуту они разглядывают друг друга. Иннес щурится, берет в зубы сигарету.

В разговор вступает Ханна:

— Мистер Кент нам рассказывал, что знал тебя в университете.

Лекси вскидывает брови:

— Вот как?

— Так и есть, — спешит вмешаться Иннес, — и эти добрые люди сжалились надо мной, пригласили в дом. У кого-то нашелся бренди, а ваша любезная хозяйка даже накормила меня котлетами. Вот так-то. Вот и вся история.

Лекси не находит что ответить.

— Как котлеты? — только и может она сказать.

— Бесподобные. — Иннес встает, потягивается, тушит сигарету в пепельнице на нижней ступеньке. — Ну, мне пора. Да и вам надо выпасться. Дамы, спасибо за чудесный вечер. Надеюсь, не в последний раз. Миссис Коллинз, вам приз за самый большой конфуз. Лекси, проводишь меня? — Он протягивает руку.

Лекси смотрит на руку, на Иннеса. Вокруг галдят наперебой: «Как, вы уже уходите?»; «А что за приз?»; «А что за история у миссис Коллинз?» Лек-си под руку с Иннесом выходит в подъезд. Женщины, проводив их до нижней ступеньки, вежливо, но неохотно расходятся.

Лекси думает, что они попрощаются у дверей, но Иннес выводит ее на крыльцо. И тут же шепчет:

— Правду сказать, большей гадости в жизни не пробовал. Жесткие как подметка, а на вкус — опилки. Больше в рот не возьму ваших котлет, и не проси.

— Хорошо, — отвечает Лекси, но тут же поправляется: — Я и не просила.

Иннес будто не слышит.

— Да что котлеты, кому они нужны? Ты должна загладить вину.

Лекси высвобождает руку:

— То есть как — загладить вину? И вообще, как вас сюда занесло? Как вы меня нашли?

Иннес поворачивается к ней:

— Как думаешь, сколько в Кентиш-Тауне женских пансионатов?

— Откуда же мне зна...

— Два, — отвечает Иннес, — что упрощает дело. Метод исключения плюс немного удачи. Я был уверен, что надолго ты не удержишься, скоро придешь. Но не знал, когда именно. Да не в том дело, а главное, когда ты сможешь со мной пообедать?

— Не знаю. — Лекси вскидывает подбородок. — Я обычно занята.

Иннес с улыбкой подходит чуть ближе:

— Как насчет субботы?

Лекси смахивает с рукава невидимую пылинку.

— Не знаю, — повторяет она. — По субботам я работаю.

— Я тоже. Может, в час? Бывает же у тебя перерыв на обед. Где ты работаешь? Научилась печатать шестьдесят слов в минуту?

Лекси округляет глаза.

— Как вы запомнили про шестьдесят слов в минуту? — И, не выдержав, смеется. — Да еще и про пансион в Кентиш-Тауне?

Иннес пожимает плечами:

— Я все помню. То ли это болезнь, то ли признак гениальности. Одно из двух. Скажи мне что-нибудь — и оно уже здесь, — он стучит по макушке, — не сотрешь.

Лекси невольно смотрит на его голову, представив, что под густой шевелюрой так и кишат знания.

— Не знаю, во сколько освобожусь. Я и недели не проработала, и...

— Ладно, ладно. Вот что, приходи и разыщи меня. Я буду у себя в редакции, в Сохо. Весь день, а то и всю ночь. Приходи когда угодно. Как освободишься. Визитку я тебе давал. Она еще у тебя?

Лекси кивает.

— Вот и хорошо. Адрес там есть. Значит, до субботы?

— Да.

Иннес улыбается, медлит на пороге. Лекси думает: поцелует он меня? Но Иннес, не поцеловав ее, даже не помахав на прощанье, спускается с крыльца и устремляется через улицу.

На подходе к Сохо Лекси останавливается. Нашаривает в сумочке записку и визитку Иннеса Кента, что хранила там со дня их знакомства. Адрес она и так помнит, но все равно сверяется с карточкой. «Редактор, — гласит визитка. — Журнал „Где-то“, Бэйтон-стрит, Сохо, Лондон».

Миссис Коллинз ужаснулась, когда утром на лестнице Лекси обмолвилась, что едет в Сохо. Лекси спросила, что тут такого.

— Сохо? — повторила миссис Коллинз. — Там полно богемы и пьянчуг. — Она прищурилась: — Заладила, почему да почему. Любопытство кошку сгубило.

Лекси засмеялась.

— Но я-то не кошка, миссис Коллинз, — сказала она, сбегая вниз по ступенькам.

Лекси окидывает взглядом улицу, подписанную на карте «Мур-стрит». Тихая улочка, с виду не скажешь, что здесь полно пьяниц. На обочине — одинокая машина; у подъезда стоит человек, читает газету; над магазином — низкий навес; из окна четвертого этажа высовывается женщина, поливает цветы в ящике.

Лекси устремляется в Сохо — шаг, другой, третий. Ее охватывает странное чувство, будто движется не она, а тротуар, здания, дорожные знаки. Постукивают по асфальту ее каблуки. Человек с газетой поднимает взгляд. Женщина в окне застывает с лейкой в руке.

Лекси проходит мимо магазина с сырами в витрине, огромными, будто колеса. На крыльце стоит продавец в белом переднике и что-то кричит на

непонятном языке женщине с ребенком на другой стороне улицы. Он улыбается и кивает Лекси, та улыбается в ответ. За углом — кофейня, рядом на тротуаре собралась компания, что-то обсуждают, тоже на незнакомом языке. Они расступаются перед Лекси, один обращается к ней, но Лекси не оглядывается.

Дома из темного кирпича жмутся друг к другу, улочки узкие. В канавах журчит вода после недавнего дождя. Лекси огибает угол, другой, проходит мимо китайской овощной лавки, где продавщица складывает пирамидой желтые фрукты, из которых уже вынули косточки; мимо крыльца, где сидят на стульях двое чернокожих и смеются. Матросы в сине-белой форме шагают по проезжей части и вразнобой горланят песню; мальчишка-рассыльный на велосипеде, объезжая их, виляет рулем и что-то кричит через плечо. Пара матросов, оскорбившись, бросаются в погоню, но мальчишка жмет на педали — и дёру!

Лекси смотрит, запоминает. Все вокруг наполнено для нее смыслом: и развевающаяся ленточка на шапке одного из матросов, и окно, где умывается мармеладно-желтый кот, и облачко душистого пара у входа в пекарню, и слова, написанные мелом — по-итальянски? по-португальски? — на доске перед магазином, и раскаты музыки и смеха из-за решетчатой двери, и меховой воротник пальто и золотая застежка на сумочке у женщины, идущей по другой стороне улицы. Лекси впитывает каждую мелочь с ликованием и страхом: это прекрасно, прекрасно, ничего не прибавить, не отнять, — но что, если она не удержит в памяти всю эту красоту, упустит хоть что-то?

Нужный дом на Бэйтон-стрит возникает перед ней неожиданно. Он втиснут между двумя домами повыше, окна раздвижные, к подъезду ведут ступеньки. Подоконники и водосточные трубы облезлые. На третьем этаже выбито стекло.

В окнах первого этажа Лекси видит сразу много людей. Двое подставляют что-то к свету и внимательно разглядывают; женщина говорит по телефону, кивает, что-то записывает. Другая измеряет линейкой лист бумаги и разговаривает через плечо с мужчиной, сидящим позади нее за письменным столом. В углу столпились люди, смотрят на листки, припиленные к стене. А рядом с теми, что подставляют что-то к свету, стоит Иннес, без пиджака, в рубашке с засученными рукавами.

Иннес в этот миг захвачен журналом. У журнала будет новый облик, все изменится: внешний вид, содержание, направленность. На обложке нового выпуска будет скульптура художницы, которой Иннес прочит большое будущее: она оставит след в искусстве, ее будут помнить спустя

годы после того, как все эти люди исчезнут, обратятся в пыль.

А пыль как раз и занимает сегодня его мысли. Потому что художница работает с белой глиной, шлифует ее так гладко, что та становится как теплая детская плоть, а значит...

Плоть? Мысли Иннеса обрываются. Плоть — слово неудачное. Наводит на мысли о смерти? Необязательно, заключает Иннес, но даже намек достаточно, чтобы убрать его из абзаца, который он сочиняет про себя, а вслух говорит фотографу, что у того во время съемки, похоже, был запылен объектив — снимки не передают теплой, лучистой белизны, присущей работам художницы.

Мысли Иннеса идут сразу в нескольких направлениях. Будет ли название журнала на обложке хорошо смотреться под этим углом, оттенит ли он простоту нового шрифта? Шрифт должен быть простым — *Helvetica* или *Gill Sans*, но уж точно не *Times* и не *Palatino*, шрифт не должен отвлекать внимание от скульптуры. Та к как же написать, «теплая детская плоть»? Нет. Обойтись без слова «детская»? «Теплая кожа»? «Теплая плоть»? Навевает мысли о смерти? Поручить Дафне позвонить в типографию или лучше самому?

Когда Иннес подходит к окну и смотрит на улицу, он так поглощен журналом, статьей, выбором шрифта, что образ девушки за окном вплетается в его мысли, как шум из внешнего мира вплетается в сновидения. Иннес сразу же представляет эту девушку за соседним столом, за пишущей машинкой — стройные ноги скрещены, рука подпирает подбородок, задумчивый взгляд устремлен в окно.

Иннес застывает как вкопанный. Название журнала не должно быть под углом! Оно должно быть набрано прямо, в правом нижнем углу. Такого еще не было! Шрифт — *Gill Sans*, жирный, сорок восемь, нижний регистр, вот так:

ГДЕ-ТО

а скульптура — выше, будто название журнала — это постамент, отправная точка, основа работы. В некотором смысле, рассуждает про себя Иннес, так оно и есть!

— Стоп! — кричит Иннес оформителю. — Подожди. Поставь это здесь, внизу. Вот так. Нет, сюда. Гил Санс, жирный, сорок восемь. Да, Гил Санс. Нет. Отлично. Вот так.

Двое с обзорным листом, Дафна у телефона, гость-кинокритик, оформитель — все спокойно смотрят, как Иннес, глянув на обложку,

вылетает из дверей.

Иннес сбегает с крыльца.

— Это ты! — говорит он. — Долго же ты шла. Ну-ка, иди сюда! — Он широко расставляет руки.

Лекси щурится. В руке у нее по-прежнему карта и визитка. Она делает шаг навстречу Иннесу — как же иначе? — и он заключает ее в объятия. Прижавшись щекой к его костюму, Лекси чувствует что-то знакомое. Проводит пальцем по ворсу, отстраняется, смотрит.

— Войлок.

— Что ты сказала?

— Войлок. Костюм у тебя из войлока.

— Да. Ну и как, нравится?

— Даже не знаю. — Лекси отступает на шаг. — В первый раз вижу войлочный костюм.

— Понимаю. — Иннес ухмыляется. — В том-то и штука. Мой портной тоже сомневался, но в конце концов перешел на мою сторону. — Он тащит Лекси за руку по тротуару. — Так. Время обеда. Проголодалась? Надеюсь, ты не из тех девушек, что питаются одним воздухом. — Речь его так же тороплива, как и походка. — Посмотреть на тебя, так ты, наверное, ешь как птичка. Ну а я зверски голодный. Стадо баранов съел бы!

— По тебе тоже не скажешь, что ты обжора.

— Еще какой обжора! Внешность, как известно, обманчива. Сейчас сама убедишься.

Они идут скорым шагом вдоль улицы, вдоль переулка, сворачивают за угол, обгоняют мужчину, ведущего под руки двух женщин, — у обеих блестящие кожаные пояса, все трое смеются; проходят мимо киоска с иностранными газетами на вертящихся полках, мимо темнокожих девушек с увесистыми тюками. Иннес останавливается перед рестораном. На неоновой вывеске мигают голубые буквы: «АПОЛЛЮ». Иннес толкает дверь:

— Вот мы и пришли.

С залитой светом улицы они попадают в сумрак, спускаются по темной кривой лестнице в зал с низкими сводами. За столиками сидят люди, мерцают свечи в винных бутылках вместо подсвечников. В углу мужчина в женской шляпе с пером фальшиво играет на пианино. Двое других, пристроившись с ним на одном стуле, громко переговариваются поверх его головы. Будь снаружи хоть полдень, хоть полночь, думает Лекси, здесь не разберешь. Вокруг трех сдвинутых вместе столиков сидит компания. Иннеса встречают криками, поднимают бокалы, весело машут руками.

Кто-то спрашивает:

— Это новая? А что случилось с Дафной?

Иннес ведет Лекси под руку в глубь зала. Их провожают громким свистом. Они садятся за ширмой, друг против друга.

— Кто это? — интересуется Лекси.

Иннес оборачивается, смотрит на компанию — те швыряют свечными огарками в пианиста и требуют еще вина.

— Как их только не называют, — объясняет Иннес, вновь повернувшись к Лекси. — Они именуют себя художниками, но на мой взгляд, лишь один, от силы двое достойны этого звания. Все прочие — пьяницы и прихлебатели. Один — фотограф. Одна, — Иннес наклоняется к Лекси, — женщина, выдающая себя за мужчину. Но знаю об этом только я.

— Правда? — Лекси поражена.

— Ну, — Иннес пожимает плечами, — я да ее мать. И, надо думать, ее любовник. Или она и от него скрывает? Ну, что будем есть?

Лекси пытается смотреть в меню, но смотрит на Иннеса, на его синий войлочный костюм, сдвинутые брови, на художников-алкоголиков, у одного из которых на коленях официантка — дебелая бабища за пятьдесят; на ряды порожних винных бутылок вдоль полок, на узорную столешницу.

— Что с тобой? — Иннес касается ее рукава.

— Да так, не знаю, — вырывается у Лекси. — Хочу, чтобы... даже не знаю. Будь у меня красные туфли на шпильках и золотые кольца в ушах...

Иннес морщится:

— Не сидел бы я здесь с тобой.

— Почему? — Лекси смотрит, как Иннес достает пачку сигарет. — Угостишь?

Иннес, не сводя с Лекси глаз, держит в зубах две сигареты, зажигает их одной спичкой и протягивает одну девушке.

— Хочешь кольца в ушах? Нет, тебе только кажется.

Лекси берет сигарету.

— Откуда ты знаешь?

— Я знаю, что тебе нужно, — отвечает Иннес, понизив голос, по-прежнему глядя Лекси в глаза.

Лекси изумленно смотрит на него и вдруг ни с того ни с сего заливается смехом. Что он хочет сказать? Лекси уже не смеется — ее охватило странное, новое чувство, будто тело тоже отозвалось на его слова. Лекси снова смеется, смеется и Иннес, будто все понял.

Он тянется к ней, касается ее щеки, проводит большим пальцем вдоль подбородка.

Что-то странное творится с некоторых пор с Иннесом. Он и сам до конца не понимает, что с ним, но точно помнит, когда началось это легкое помешательство, одержимость. Чуть больше двух недель назад, когда он заглянул за живую изгородь и увидел сидящую на пне девушку. Он смотрит на стол, на пол, который будто движется, уходит из-под ног. На миг он чувствует, до чего огромен город, до чего полон жизни, и ему чудится, словно он и она, эта девушка, сидят вдвоем как посреди урагана. Он украдкой смотрит на Лекси, но видит только ее запястья, манжеты, сжатые руки, сумочку на скамье.

До чего же странно, что она здесь, с ним, — и в то же время будто так и надо. Его посещает смутная мысль: вот бы что-нибудь ей подарить — что угодно. Картину. Пальто. Перчатки. Хочется смотреть, как она разворачивает подарок, как ее пальцы развязывают ленту, разрывают обертку. Но Иннес гонит от себя эту мысль. Только бы все не испортить, только бы не упустить ее. Сам не зная почему, он чувствует: эта девушка особенная, она нужна ему. Уму непостижимо, но так.

Чтобы отвлечься, он говорит и говорит. Рассказывает, как недавно ездил в Париж, купил несколько картин и две скульптуры. Он торгует предметами искусства, чтобы подзаработать. Вынужден торговать, потому что журнал не приносит дохода. Скульптуры — работы неизвестных авторов, в этом-то и заключается изюминка. Работу знаменитого художника может купить всякий. Лекси перебивает: всякий, кому по карману, — и Иннес кивает: верно. А чтобы поставить на темную лошадку, нужно чутье и известная доля безрассудства. Словами не описать чувство, когдаходишь в студию художника и понимаешь: вот оно, настоящее! — говорит Иннес. И пространно описывает то, что якобы не описать словами.

А потом объясняет, как он велел упаковать скульптуры: слой опилок, слой газет и все это — в ящики. А когда распакует, возьмет мягкую кисточку из меха и смахнет опилки. Эту работу он не доверяет никому, хоть это и глупость. И вечерами торчит в подсобке у себя в редакции, с кисточкой в руке. Как художник, орудуешь кистью? — спрашивает Лекси, и Иннес смеется: пожалуй, так.

Вопросов она задает немного, зато слушает. Да как слушает! Как никто другой! Слушает так, будто для нее каждое его слово — глоток свежего воздуха. Слушает, распахнув глаза, подавшись ему навстречу. Слушает так самозабвенно, что хочется придвинуться к ней, уткнуться своим лбом в ее и шепнуть: что? что ты от меня хочешь услышать?

Отец его, рассказывает Иннес, был англичанин, а мать — метиска родом из Чили. Получилийка-полушотландка, отсюда его кельтское имя и

черные волосы. Глаза Лекси распахиваются еще шире. Она была родом из Вальпараисо — рассказывает Иннес и смотрит, как Лекси одними губами повторяет слово, будто вбирая его в себя. Отца послали туда наживать состояние. Он был второй сын в богатой семье. Возвратился он с деньгами и заморской женой. Он разбился на машине, когда Иннесу было два года. Ты его помнишь? — спрашивает Лекси, а Иннес отвечает: нет, совсем не помню. Мать говорила, что надо вернуться в Чили, но так и не вернулась. Да и не смогла бы вернуться. Почему? — спрашивает Лекси, желая во все вникнуть. Слишком многое там изменилось, объясняет Иннес, стало ей чужим. Теперь это другая страна.

* * *

Тед шагает, толкая перед собой коляску. В первый раз он гуляет по Хэмпстед-Хит в столь ранний час. Он проснулся в начале шестого: на плечо легла чья-то рука, и с минуту он не мог понять, что случилось, что за женщина нависает над ним в темноте, почему она плачет, чего хочет от него. И лишь потом сообразил: Элина, с малышом на руках, просит: возьми его, умоляю, возьми!

Тед разобрал не все слова — смесь ломаного английского с финским и, кажется, с немецким, что-то про сон, про плач, — но уловил их смысл, понял, что делать. Он забрал у Элины ребенка; Элина повалилась на кровать и в тот же миг уснула, даже не подложив как следует под голову подушку.

И вот Тед везет сына в коляске вверх по Парламентскому холму, медленно-медленно, спешить некуда, им все равно куда идти, они просто гуляют, он и сын. Взошло солнце, росинки на траве поблескивают, словно битое стекло, и Тед мечтает: будь малыш постарше, он бы показал ему это; скорей бы пришло время, когда они с сыном будут гулять и говорить обо всем: как сверкает на солнце утренняя роса, как много людей в такую рань бегают трусцой и гуляют с собаками, какие утренние приметы предвещают жаркий день. Острая радость овладевает Тедом при мысли, что все это будет, что этот ребенок, их сын, будет рядом. Тед до сих пор до конца не верит, до сих пор ждет, что кто-то подойдет, возьмется за ручку коляски и скажет: простите, вы же не надеялись оставить его у себя?

Мимо пробегает человек — постарше Теда, за сорок, очень загорелый, с кожей цвета мореного дуба — и на бегу сочувственно улыбается Теду. Наверное, тоже отец, и в его жизни было то же самое: утренняя смена, круг с коляской, пока жена спит после долгой ночи. Теду вдруг хочется догнать его, обратиться к нему, спросить, пройдет ли это, станет ли легче.

Но Тед смотрит на ребенка. Малыш в полосатом комбинезоне похож на сверток с подарком. Красные и оранжевые полосы, зеленые круги вдоль живота и ножек. Элина всегда удивляется, почему детей одевают только в белое и пастель. Она терпеть не может пастельные тона, называет их бледным подобием настоящих красок, говорит, что у нее зубы сводит от пастели. Тед помнит, как они покупали этот комбинезон. Они только что узнали, что Элина беременна, и никак не могли оправиться от потрясения, а на пути им попался магазин, где в витрине свисали с искусственных веток крохотные детские одежды. Это было где-то в Ист-Энде, по дороге на выставку в галерею Уайтчепел. Несколько минут они зачарованно разглядывали костюмчики, стоя рядом, но не говоря друг другу ни слова. Зеленый в оранжевую крапинку, розовый с голубыми зигзагами, лиловый, бирюзовый — не поймешь, то ли совсем крохотные, то ли, наоборот, непомерно большие. Потом Элина сказала: «Ладно». Закусила губу, скрестила руки. Тед видел, она собирается с духом, принимает решение; именно тогда он понял, что ребенок у них будет, что ему суждено родиться, а еще понял, что до той минуты не был уверен, хочет ли Элина ребенка, оставит ли. «Ладно», — повторила она, шагнула вперед и толкнула дверь магазина.

Тед стоял на тротуаре, не в силах сдержать улыбку. Они станут родителями, будут одевать ребенка в цветастые одежды. Он смотрел сквозь стекло, как Элина выбрала два костюмчика и снова застыла, скрестив на груди руки, закусив губу, как перед прыжком с вышки, — и понял, что она останется с ним, не улетит в Нью-Йорк, или в Гонконг, или куда-нибудь еще, как он иногда боялся. Глядя на Элину в магазине, он будто увидел ее насквозь, вместе с крохотным существом внутри.

Сейчас он вспоминает и улыбается, глядя на сына. Глаза их на миг встречаются, и взгляд малыша устремляется на что-то за спиной у Теда. Уму непостижимо, что значит видеть мир в первый раз. Впервые увидеть стену, бельевую веревку, дерево. Сердце вдруг сжимается от странной жалости к сыну: какая перед ним задача — все на свете постичь буквально с нуля!

Тед поднимается на вершину Парламентского холма. Десять минут седьмого. Он полной грудью вдыхает, смотрит на малыша — тот спит в коляске под одеялом, разметавшись во сне. К козырьку коляски изнутри пришпилены черно-белые наброски, геометрические фигуры, — наверное, Элина рисовала. Она как-то сказала, что младенцы не различают цвета, и сейчас Тед, садясь на скамью, удивляется про себя: откуда ученые знают?

Тед отступает назад, шага на три-четыре. Та м скамейка. Это он

вспомнит уже потом. А сейчас, хотя он прекрасно знает, кто он и что делает — он отец, гуляет с ребенком, — ему при этом чудится, будто он и сам ребенок, стоит у окна своей спальни с желтыми занавесками и удивленно слушает, как мать с кем-то спорит у дверей. Тед, вцепившись в занавеску, смотрит на улицу, а там, пятясь задом, отходит от дома человек — отступает на три-четыре шага, обводит взглядом окна, заслонясь от света, и, увидев Теда, машет рукой. Машет взволнованно, неистово, будто хочет сообщить важную новость, подзывает к себе.

Тед падает на скамью. Картина исчезла. Образ человека, выходящего из их дома, растаял. Тед смотрит на серебристую ручку коляски, где играет солнечный блик, на траву, еще не просохшую от росы, на пруд у подножия холма — и прямо перед глазами возникает пятно. Боковым зрением он видит все прекрасно, а прямо перед собой не различает ничего, будто смотрит в дырявую лупу или сквозь разбитое ветровое стекло. В детстве он страдал зрительными расстройствами, не иначе как снова приступ. Мать называла их «бзики». Такого с ним не случилось уже много лет, и чувство из детства почти вызывает у него смех. Перед глазами словно полыхает костер, рассыпаются искры, левая рука немеет. Тед не помнит, когда это с ним было в последний раз — лет в двенадцать-тринадцать? Ничего серьезного, пройдет — подумаешь, на минуту в глазах помутилось. Но все-таки Тед крепко держится за ручку коляски, чтобы не потерять равновесие. Та к и тянет позвонить матери и сказать: «Угадай, что случилось? У меня опять „бзик“!» Когда-то «бзики» объединяли их с матерью, делали сообщниками. Мать следила за ним зорко, точно орлица, и стоило Теду моргнуть, подлетала: «Что? Что с тобой? Опять?» Она водила Теда к врачам, оптикам, консультантам. С упорством ищейки обходила специалистов. Осмотры, исследования, снимки — вместо уроков, — а потом они с матерью шли в кафе пить чай. И вместо математики, химии или истории Тед сидел в «Кларидже» или «Савое», уплетал бутерброды и пирожные с кремом, а мать подливала ему молока. Врачи уверяли: ребенок здоров, пустяки, перерастет. А мать писала в школу записки, и Теда освобождали от физкультуры, от регби, от плавания. Тед как-то раз описал свои чувства отцу: это все равно что видеть ангелов или смотреть на солнечные блики на воде. Отец заерзал на стуле и предложил партию в крикет. Он был не любитель пустой болтовни.

Как Тед и ожидал, сияние перед глазами мало-помалу рассеивается, искры плывут в стороны и исчезают. И Тед приходит в себя, сидит на скамейке, держась за ручку коляски. Малыш ворочается, из-под одеяла высовывается кулачок, упирается в Элинины рисунки. Тед, словно в ответ

на безмолвную просьбу сына, встает и катит коляску вниз по склону, к дому.

Элина в саду. Полдень. Солнце в зените. Горшки с цветами, свернутый шланг, старое жестяное ведро — все вокруг отбрасывает тени, похожие на чернильные лужицы. Элина сидит по-турецки на коврике, а рядом на траве колышется ее собственная тень. Элина смотрит, как тень старается сохранить форму, сражаясь с мириадами травинок, растущих в разные стороны, под разными углами. Края у тени рваные, размытые, как будто смотришь на нее сквозь толщу воды.

Элина переводит взгляд на погремушку, которую держит в правой руке, — хитрое устройство из цветных палочек, бубенцов, резинок, шариков с бусинами. Погремушка застыла в воздухе над малышом. Он лежит на спине, взгляд прикован к Элине, в глазах столь неприкрытое изумление, что Элина вздрагивает.

Элина ведет погремушку из стороны в сторону, в прозрачных шариках скачут цветные бусины. Малыш отзывается мгновенно: замирает, широко раскрыв глаза, округлив губки. Можно подумать, он изучал справочник «Как быть человеком» и проштудировал главу «Как выразить удивление». Элина трясет погремушку, ручки-ножки малыша ходят как поршни, вверх-вниз, вправо-влево. «Так делают все мамы», — отмечает про себя Элина.

В доме что-то звякает. Элина оборачивается и видит в окне кухни, точно в рамке картины, как Тед снимает с плиты кастрюлю. Тед всю неделю дома, вспоминает Элина, взял отпуск.

Элина вновь смотрит на малыша, ерошит волосы на его висках — надо же, были темные, а сейчас светлеют! — гладит щечку, кладет руку ему на грудь, чувствует, как та вздымается и опускается.

Белка, взмахнув хвостом в серых пестринках, прыгает с цветочного горшка на стену студии, карабкается вверх по доскам, перескакивает на крышу и исчезает. В горшке подрагивают потревоженные цветы белокрыльника.

Наверное, Элина слишком резко выпрямилась — краски сада, вышитые бабочки, комбинезон малыша на миг вспыхивают ярче перед глазами. Из дома выходит Тед, и в слепящем солнечном свете его силуэт мерцает и двоится, будто кто-то маячит за его спиной. Тед шагает по траве, и двойник следом.

— Вот, — говорит Тед, — угощайся. Паста-аль-лимоне, со свежим... — Взгляд его падает на лицо Элины. — Что с тобой?

— Ничего. — Элина растягивает губы в улыбку. Теда нельзя

расстраивать. — Схожу-ка за темными очками.

После залитого светом сада дом кажется темным, сумрачным, почти чужим. Элина озирается: ваза, оранжевая миска, джутовая циновка — это ее вещи, но как будто и не ее; она проходит на цыпочках через кухню, поднимается по лестнице. На лестничной площадке думает: я в доме одна. И на миг замирает, положив руку на перила. Она чувствует себя легкой, бестелесной; руки свободны, их обдувает сквознячком.

Она пыталась поговорить с Тедом, думала, станет легче. На этой неделе он дома, и на будущей тоже. Они вместе, круглые сутки, — Тед, она и малыш. Элина часами сидит на диване и кормит ребенка. Тед стряпает, загружает стиральную машину, гуляет с коляской, чтобы Элина могла вздремнуть. Спит она урывками, где придется — на диване, в кресле, на кровати, — и сны видит путаные, сумбурные, во сне она потеряла малыша или не может до него дотянуться, а иногда видит во сне фонтаны. Яркие красные фонтаны. И вскакивает с бьющимся сердцем.

Итак, фильм уже отсняли, Тед был дома, и Элина пыталась вызвать его на разговор. Накануне вечером, когда они ели на ужин еду из ресторана. Тед держал на руках ребенка, тот схватил Теда за палец, а Элина сидела рядом, и ей нравилось, что Тед не отнимает руки. Она отложила вилку, коснулась его руки и спросила:

— Тед, ты не знаешь, сколько я потеряла?

— Сколько чего? — переспросил Тед, уставясь в тарелку.

— Ну... — Элина, помолчав, пояснила: — Крови.

Тед поднял голову. Элина ждала, но он молчал.

— При родах, — подсказала Элина. — Во время кесарева. Тебе сказали врачи, потому что...

— Два литра, — ответил Тед сухо.

Наступило молчание. Элина представила эти два литра рядом в молочных бутылках, рубиново-алую жидкость под прозрачным зеленоватым стеклом. На полке холодильника, на крыльце дома, в витрине магазина. Два литра. Элина, едва притронувшись к еде, украдкой взглянула на Теда. Он сидел потупившись и смотрел то ли на ребенка, то ли в тарелку — не разобрать, потому что волосы закрыли лицо.

— Мне тебя не было видно, — снова начала Элина. — Ты, наверное, был с малышом.

Тед что-то буркнул в знак согласия.

Элина взяла со стола коробочку, выстланную серебристой фольгой, и, увидев в ней мелко нарубленный лук, отставила в сторону.

— Тебе было хоть что-нибудь видно? — Элине хотелось знать, хотелось услышать это от него, вытянуть из него правду и вместе разобраться, растопить лед между ними. Тед все молчал, и Элина продолжала: — Тед, ты хоть что-нибудь видел?

Тед отложил вилку.

— Не хочу об этом говорить.

— Ну а я хочу, — настаивала Элина.

— Ну а я — нет.

— Но ведь это важно, Тед. Нельзя отмахиваться, будто ничего и не было. Я хочу разобраться — разве я не права? Я хочу знать причину и...

Тед отодвинул стул и вышел из-за стола. На пороге кухни он оглянулся, держа на руках малыша, такого крохотного. Лицо у него было потрясенное, неузнаваемое, и у Элины сжалось сердце от страха за него, за ребенка. Хотелось сказать: ладно, забудь, не будем больше об этом, просто сядь, посидим. А больше всего хотелось сказать: Тед, дай мне ребенка.

— Они не знают причину. — Тед почти срывался на крик. — Я... я... я их спрашивал на другой день, а они: неизвестно почему, чистая случайность.

— Ладно, — пыталась успокоить его Элина, — это не...

— А я им: замолчите, не смейте так говорить! Она чуть не умерла, а вы только и можете сказать: чистая случайность! Вы только через три дня поняли, что ребенок в неправильном положении, и дали тупой практикантке ее разрезать, и...

Тед осекся. Элина на минуту испугалась, что он вот-вот расплачется. Но он не заплакал, а отдал ребенка сидевшей за столом Элине и, даже не взглянув на нее, вышел из кухни, послышались его шаги на лестнице. Элина напряженно застыла на стуле. Застучали ящики комода, захлопали дверцы — Тед собирался на пробежку. Потом хлопнула дверь.

Элина находит на полочке в ванной солнечные очки, протягивает руку, и вдруг ноги сами несут ее к двери и вниз по лестнице. И лишь спустя пару секунд она догадывается почему. Это плачет малыш — тоненький, дрожащий писк просочился сквозь окно ванной. Просто удивительно: тело отозвалось раньше, чем она поняла умом.

В саду на коврике сидит Тед, бережно держа на руках малыша. Малыш похож на сердитого игрушечного робота — кричит, срываясь на визг, ручки-ножки, словно рычаги, рассекают воздух.

Элина ступает по траве, наклоняется к малышу — и вот он уже у нее на руках. Крохотное тельце напряжено, он буквально надрывается от крика.

«Как ты могла? — будто говорит он. — Как ты посмела меня бросить?» Элина, держа малыша столбиком, прижимает его к плечу и ходит с ним взад-вперед, до ограды сада и обратно, нашептывая: «Ш-ш, ш-ш, все хорошо, ш-ш, ш-ш...»

— Прости. — Тед встает. — Я не знал, что де... Я не знал, то ли он есть хочет, то ли...

— Ничего. — По пути к ограде Элина проходит мимо Теда и замечает его тревожный взгляд, прикованный к ней.

— Хочешь, я возьму его? — спрашивает Тед.

Малыш уже не кричит, а всхлипывает. Элина приподнимает его повыше.

— Не надо, — отвечает она. — Все хорошо.

— Он хочет есть?

— Вряд ли. Я его кормила совсем недавно... дайка вспомню... всего полчаса назад.

Они снова устраиваются на коврике, и взгляд Элины падает на миску макарон. Она совсем про них забыла. Элина, придерживая ребенка, надевает темные очки и свободной рукой берет вилку. Малыш цепляется за воротник ее блузки, тычется слюнявым ротиком ей в шею, горячо дышит в ухо.

— Просто удивительно, как тебе удастся, — говорит Тед.

— Что удастся?

— Вот это. — Он указывает вилкой в сторону малыша.

— Что — вот это?

— Он плачет, надрывается, а ты приходишь, берешь его на руки, и он затихает. Просто чудо. Волшебство. Только у тебя одной так получается. Я так не могу.

— Разве?

— Нет. У меня он так не успокаивается, это...

— Неправда. Я точно знаю, ты можешь...

— Нет, нет, — мотает головой Тед. — Между вами особая связь. У него внутри будто встроенный таймер, подсчитывает, сколько он пробыл без тебя, и может сработать без предупреждения, и тогда его больше ничем не утетишь. — Тед пожимает плечами. — На этой неделе я стал замечать.

Элина в раздумье. Малыш посасывает ее блузку и тоже как будто задумался.

— Вот, наверное, в чем секрет. — Элина указывает на свою грудь.

Тед снова качает головой, широко улыбается:

— Нет, хотя я бы его прекрасно понял. Но не в этом дело, поверь. А

похоже... похоже, ты ему нужна постоянно, в больших дозах. Нужно убедиться, что ты здесь, никуда не де... — Тед умолкает на полуслове. Элина поднимает на него взгляд. Тед застыл на коленях, не донеся до рта вилку с макаронами, лицо перекошено.

— Эй, — окликает Элина, — ты что?

Вилка звякает, выпав у Теда из рук.

— Все хорошо... Просто немного...

— Что?

— Немного... — Он прикрывает глаза руками. — У меня... бывает иногда...

Элина откладывает вилку:

— Что бывает?

— Что-то не то с глазами.

— С глазами?

— Да пустяки, — бормочет Тед. — Подумаешь. У меня... у меня это... всю жизнь.

— Всю жизнь? — переспрашивает Элина. — То есть как — всю жизнь? — Положив малыша на ковер, она подсаживается к Теду, проводит рукой по его спине. — И быстро это проходит? — спрашивает она, чуть выждав.

Тед так и сидит сгорбившись, прикрыв глаза от света.

— Быстро, — с трудом выговаривает он. — Раз — и проходит. Прости.

— Да глупости.

— Странно, такого со мной не случилось уже...

— Тсс, — шепчет Элина. — Не разговаривай. Принести тебе попить?

Когда Элина возвращается со стаканом, Тед уже выпрямился и смотрит на малыша, склонив набок голову, сдвинув брови. Элина протягивает ему стакан:

— Ну как? С глазами все в порядке?

Тед кивает.

— Что с тобой было? — Элина трогает его лоб. — Тед, ты весь холодный и... забыла слово... Вымок?

— Взмок, — бурчит Тед.

— Взмок, — повторяет Элина. — Надо бы тебе показаться врачу.

Тед, отпив глоток, хмыкает.

— Сходи к врачу.

— Глупости, я здоров.

— По тебе не скажешь.

— Здоров. — Тед, откинув с лица волосы, смотрит на Элину. — Я

здоров, — повторяет он. — Правда. — Он обнимает Элину, целует в шею. — Не пугайся ты так. Это пустяки, всего лишь...

— Вовсе не пустяки.

— Пустяки. Со мной так часто бывало в детстве. Потом прошло, а на днях опять...

— На днях опять? И ты ничего мне не сказал?

— Элина, — Тед берет ее за руки, — ничего страшного, клянусь.

— Тебе надо к врачу.

— У каких врачей я только не был! В детстве. У меня проверяли все, что можно, — глаза, мозг, все на свете. Спроси у матери.

— Но, Тед...

Малыш, лежа на коврикe, опять всхлипывает.

— Видишь, — говорит Тед, — встроенный будильник сработал.

И в тот же день — или уже на следующий? трудно сказать, ведь поспать так и не удалось — Элина сидит на диване, откинувшись на подушки, поставив ноги на ковер. В руке у нее тяжелое стеклянное пресс-папье.

Это почти правильный шар, с плоским основанием, чтобы не скатился со стола. Внутри сотни крохотных воздушных пузырьков. Элина подносит шар к глазам, вглядывается в зеленоватую глубину с пузырьками, похожими на слезы.

Ей нравится пресс-папье, нравится его прохладная, прозрачная тяжесть. Нравится, что в нем навеки заключен воздух того места, того дня, когда его сделали. Этим воздухом дышал сделавший его мастер. Шар ей как раз по руке, величиной он с голову нерожденного ребенка... месяцев в шесть?.. в пять?.. Надо бы его сфотографировать, крупным планом. Обязательно. Когда-нибудь. Где же фотоаппарат? В студии? Надо бы поискать, положить в надежное место. Хочется разгадать секрет неподвижного пространства внутри шара, проникнуть в него.

Элина берет пресс-папье в обе руки, блуждая взглядом по комнате.

— И я пыталась ей втолковать, — говорит мать Теда с другого дивана, круто развернувшись, обращаясь к Теду, который на кухне, — что не послала ей открытку, потому что вы до сих пор не выбрали имя. Но она и слушать не стала. Страх как разобиделась. — Мать Теда морщится, поправляет рукав блузки, и от Элины не укрывается ее досада. — Не придумали еще, как его назвать?

Тед мычит что-то невнятное из холодильника.

Элина щурится. На миг ей вспоминаются чьи-то руки у нее внутри, глубоко-глубоко. Она снова щурится, чтобы отогнать наваждение.

Мать Теда ерзает на диване. Когда Тед с Элиной купили этот диван, она все ворчала, что он неудобный — мол, нет подголовника. Наверное, ей и сейчас неудобно, думает Элина.

— Неслыханное дело, — продолжает мать Теда, — внуку уже месяц, а я не могу разослать открытки! Вся родня ждет не дождется!

— Так чего же ты ждешь, рассылай, — отвечает сквозь зубы из-за газеты отец Теда.

Элину удивил его приход — родители Теда редко приезжают вместе, у каждого свое расписание.

— Верно, — вставляет Тед, заходя в комнату с подносом. — На открытках ведь можно и не писать имя?

Мать вздыхает, будто услышав непристойное предложение.

— Не писать? Как же без имени?

Тед, пожав плечами, принимается разливать чай.

— Может, Руперт? — бойко предлагает мать. — Мне это имя всегда нравилось, и у нас в семье традиция называть мальчиков Рупертами.

— Напоминает... как его... — Отец Теда сворачивает газету и швыряет на пол.

— Что?

— Напоминает... — отец Теда потирает лоб, — заставку к фильму «Возвращение в Брайдсхед»... ну, это... дети его берут в кровать. М-м... плюшевого мишку! Точно! Имя для плюшевого мишки. — Он поднимает газету с пола. — Имя для плюшевого мишки, — говорит он, второй раз просматривая первую полосу.

— Что? — переспрашивает мать.

— Имя Руперт.

«Руперт, — повторяет про себя Элина, — круп... рупия...»

Тед, опять что-то буркнув, продолжает:

— Вот вам чай. Как у вас дела? Как прошла неделя?

— Или Ральф. Может, Ральф? Ему идет. У моего дедушки второе имя было Ральф. Красивое. И к фамилии подходит.

— Гм. — Тед бросает взгляд на Элину.

Она сидит с неподвижным лицом, поигрывая пресс-папье. Стеклянному шару передалось тепло ее рук. Она видит, Тед колеблется, заводить об этом речь или нет, и в конце концов решается.

— Если на то пошло, — он протягивает родителям чашки, — мы решили дать ему Элинину фамилию. Вилкуна.

Когда мать Теда навещала их в больнице, малышу было три часа от роду. Элине вспоминается ее приход. Свободной рукой Элина прижимала к

себе ребенка, а он спал, поджав ножки, прильнув к ее груди. Другая рука ее была перевязана и завернута в таинственный кокон. От кокона тянулись трубки. Над ее головой висели мешочки. Из-под одеяла змеились еще трубки. Элина не смела пока думать, откуда и куда они идут.

Со всех сторон ее окружали подушки. Отчего-то — наверное, от морфина — глаза поминутно закатывались. Комната кружилась и плыла, и стоило большого труда не отключиться, не впасть в забытие. Ее будто влекло упрямым морским течением.

Тед сидел на стуле в другом конце палаты и казался далеким-далеким. В руке он держал ручку, заполнял какие-то бланки. Она взглянула на него, он поднял голову, и у Элины перехватило дыхание, едва она увидела, какое у него лицо: серое, изможденное, неподвижное — не лицо, а маска. Элина не узнавала его, он был будто чужой. «Что с тобой? — хотелось спросить. — Почему ты на себя не похож?»

Дверь распахнулась, Элина повернула голову, в палату влетела мать Теда.

— Аааах! — взвизгнула она. — Аааах! Радость моя! — И понеслась по палате, и на секунду смущенной Элине подумалось, что мать Теда обращается к ней. Но мать Теда и не взглянула в ее сторону. Она схватила ребенка, прижала к себе. — Вы посмотрите! — продолжала она, и Элина не понимала, почему она так кричит. — Вы только посмотрите!

Мать Теда повернулась спиной к кровати, подошла к окну. На груди Элины, на том месте, где лежал ребенок, остался чуть влажный след, она до сих пор чувствовала тепло малыша. Вдруг ее рука, та, что в коконе, сама собой поднялась, будто она, Элина, собиралась что-то сказать. Но что сказать, она не знала, и Тед поднялся с кровати, и глаза у нее опять закатились, уставились в потолок, на мешочки с жидкостью, подвешенные над головой.

— ...Просто ужасно, — говорил Тед — с новым, серым лицом, и Элине пришлось напрячь слух, чтобы разобрать, — сердцебиение не прослушивалось... бросился в операционную... а потом вдруг... всюду, просто невероятно... Элина чуть не... — На последнем слове Тед запнулся.

С минуту все молчали. Слышалось дыхание малыша, частое, тихое, бесконечно нежное. Тишина в палате казалась хрупкой, звонкой, словно иной.

— М-м, боже мой, — сказала мать Теда. — Принеси-ка фотоаппарат. Он у меня в сумочке. — Она смотрела на ребенка. На лице читалась целая смесь чувств: напряжение, восторг, смятение. То ли страсть, то ли ненасытная жажда — и Элину при виде ее лица бросило в дрожь. И

малыш, будто почуяв неладное, тоненько пискнул.

Рука Элины вновь поднялась. На этот раз Тед заметил. Подошел, склонился над ней, взял ее ладонь.

— Что с тобой? — спросил он. — Все хорошо?

— Ребенок. — Элина удивилась, услышав свой хриплый голос. — Отдай мне ребенка.

И вот мать Теда сидит на диване, который сама же хаяла, и ждет, когда малыш проснется, чтобы «потискать его немножечко».

— Вилкуна? — повторяет она брезгливо, будто это ругательство. — Он будет Вилкуна? Ваш сын не будет носить фамилию отца, как положено?

Тед, взяв поудобнее кружку, изучает ковер у себя под ногами.

— Непонятно, с какой стати ребенок должен носить фамилию отца, а не...

— Непонятно? То есть как — непонятно? Еще как понятно! Все станут думать, что он... что он незаконный, что он...

— Он и есть незаконный, — вставляет Элина.

Мать Теда, будто забыв, что Элина в комнате, вздрагивает от звука ее голоса.

— В наше время, — начинает она с дрожью в голосе, — такие вещи не афишировали. В наше время...

— Времена теперь другие, мама. — Тед, взяв у нее кружку, встает. — Надо посмотреть правде в глаза. Еще чаю?

Когда родители Теда садятся в маленький опрятный серебристый автомобиль и уезжают домой, в Ислингтон, Тед возвращается в гостиную. Куда ни глянь, всюду мусор: на полу подгузники, на столах — чашки из-под кофе, на телевизоре — молокоотсос, открытки, что принесла мать, на книжной полке — полупустая тарелка печенья, на стуле — раскрытый справочник по уходу за ребенком.

Тед со вздохом опускается на диван. Кто бы мог подумать, что рождение ребенка означает нескончаемый поток гостей, звонков и электронных писем, бесконечные чашки чая, мытье посуды, что сам по себе акт деторождения вызывает у людей такой интерес — все кому не лень являются к тебе домой по несколько раз в неделю и сидят часами.

Тед уносит посуду. Пробирается через гостиную, где Элина одной рукой вытирает малыша, а другой мажет его кремом; перешагивает через игрушки, погремушки, подгузники, салфетки, платочки. Собирает чашки из-под кофе, тарелки из-под торта и уносит на кухню. Элина протягивает ему ребенка, а сама, опустившись на колени, соскребает с ковра пятно —

молоко? отрыжку? какашки?

Тед с малышом на руках ходит вокруг стола. Глаза малыша блуждают, он посасывает палец — вот-вот уснет. Тед шагает, покачиваясь, как корабль на волнах. Веки малыша смыкаются, он сосет медленнее, но едва он засыпает, как палец выпадает изо рта, и малыш, вздрогнув, просыпается, смотрит испуганно. Чмок-чмок, веки смыкаются, палец выпадает, глазки открываются и снова блуждают, смотрят на игрушки, на пеленальный коврик, на подгузники, на Элину, которая складывает салфетки. Тед берет малыша поудобнее, придерживает ручку, чтобы палец не выпал из рта, но, очутившись в новой позе, малыш будто вспоминает о чем-то — наверное, о еде: вздрагивает, напрягается, вертит головкой.

Тед пытается его убаюкать, но малыш теперь хочет только одного — есть: кричит, ерзает, рвется из рук — и Тед, не выдержав, трогает за плечо Элину. Не говоря ни слова, Элина смахивает с кресла на пол всякий хлам — салфетки, инструкции к стерилизаторам, детские носочки, нераспечатанные конверты, — садится и задирает блузку.

Просто удивительно, думает Тед, до чего ловко она это делает: одной рукой расстегивает лифчик, другой слегка поворачивает малыша. Тот, напоследок облегченно пискнув, затихает. Элина поглубже усаживается в кресло, откидывает голову. Тед вновь замечает ее бледность, темные круги под глазами, исхудалые руки. Он готов броситься к ней и попросить прощения — он и сам не знает за что. Сказать бы что-нибудь веселое, остроумное, чтобы разрядить обстановку, напомнить, что жизнь на самом деле совсем не такая. Но в голову ничего не приходит, а малыш выгибается, плачет, вертится, кулачки мелькают в воздухе, и Элина нехотя открывает глаза, выпрямляется, прижимает малыша к плечу, гладит по спинке, выпрастывает его ручки из своих волос, и Теду больно смотреть. Больно видеть, как она пересиливает себя, поднимает усталую голову, заставляет себя двигаться. Он хватает забытую тарелку из-под торта и спешит на кухню.

Малыш не берет грудь. Элина через силу поднимается. Иногда приходится кормить на ходу, больше ничего не помогает. На ходу он успокаивается — наверное, лучше усваивает пищу. Элина шагает не спеша, от стены до окна и обратно. Малыш возится, крутит головкой и наконец прикивает к соску. Элина не спеша переводит дух. Тед на кухне, моет посуду.

— Тед, — говорит Элина, разворачиваясь у телевизора; надо ему что-то сказать, напомнить, что их связывает не только общий ребенок.

— А? — Тед держит в руках чашку, с нее капает вода.

Но вот беда, сказать нечего.

— Как дела? — говорит она первое, что приходит на ум.

Тед удивленно смотрит на нее:

— Все хорошо. А у тебя?

— Тоже.

— Вот и славно. Устала?

— Еще бы. А ты?

— Тоже. — Тед достает из мыльной воды тарелку и ставит сверху на чашку. — Ты бы поспала, когда он поест.

— Хорошо бы, — отвечает Элина. — Может, он и уснет. Тогда все вместе вздремнем.

Тед кивает:

— Хорошо бы.

Слушать больно, думает Элина. Почему они так разговаривают друг с другом? Что с ними? Она силится придумать хоть какую-нибудь интересную тему для разговора, но в голове ни единой мысли. Она шагает с малышом на руках — как получилось, что она произвела на свет ребенка, который ест только на ходу? — мимо дивана, мимо стола, на кухню, к окну.

Раньше у них было все по-другому. Надо разобраться, ведь не всегда они были такими.

Элина прижимает малыша к плечу, он уткнулся ей в воротник, тепло дышит в шею. С Тедом она познакомилась, потому что искала квартиру; квартиру она искала, потому что решила расстаться с Оскаром; с Оскаром решила расстаться, потому что он вечно таскал у нее кисти и краски, вместо того чтобы покупать свои, и не умел готовить ничего сложнее жареного бекона, и вдобавок переспал с официанткой — по его признанию, от неуверенности в себе после прошедшей Элининой выставки, которая имела огромный успех. И все вместе — цепная реакция на бекон, похищенные кисти и измены с официантками — заставило ее позвонить по объявлению «Сдается комната в Госпел-Оук». Там было сказано: «Рядом с парком Хэмпстед-Хит» — это и определило ее выбор. А в доме близ Хэмпстед-Хит была мансарда с чудесным лондонским светом, ровным, чистым. Хозяин, Тед, помог Элине занести наверх коробки с инструментами, краски, свернутые холсты. За домом был сад, в доме — кухня с голубыми стенами, а иногда бывала подруга Теда, Иветт, стройная, поджарая, с загадочными кошачьими глазами. Элина работала и спала в мансарде, бросила курить, не отвечала на звонки Оскара, у нее была еще выставка, крупная, персональная; Элина снова начала курить, Тед приходил и уходил, Иветт тоже. Если Элина слышала их внизу, в спальне, то надевала наушники и прибавляла громкость. А однажды Иветт исчезла, сбежала с актером. Тед поднялся к Элине и рассказал об этом. Элина ответила: актеры — народ ненадежный. Повела Теда на закрытый просмотр фотографий трансвеститов, а потом — в бар. Тед напился и упал. Элина вызвала такси, дотацила его до дома. На другой день они нашли того актера в Интернете. Элина сказала: красавчик, но такие быстро стареют, да и штаны ему коротки. Тед стал заходить к ней в мансарду. Ложился на ее кровать и рассказывал о фильме, над которым работал, об эпизодах, которые монтировал. Работать при нем не получалось — Элина не могла писать, если кто-нибудь рядом, — но всегда находилось дело: помыть кисти, растянуть холст, привести в порядок рабочее место.

Иногда они гуляли по вечернему парку Хэмпстед-Хит. Или ходили в кино, обсуждали фильмы. Тед давал ей книги. Говорили о книгах. Тед готовил для нее, если она была дома; если она уходила, оставлял записку: «Ужин в холодильнике». Элина подбирала туфли, забытые им в гостиной, и составляла парами на полочке для обуви. Вешала на крючок его ключи. По утрам, когда он выходил из душа, любила рисовать пальцем на запотевшем зеркале — абстрактные наброски, сходящиеся линии. Любила спускаться утром на кухню и находить чайник еще не остывшим. Как-то под вечер она замерзла, надела первое, что подвернулось под руку, —

свитер Теда, брошенный на ступеньках, — и опять за работу. Но не могла сосредоточиться, мазки не ложились как надо — будто она и не художник вовсе, будто не картину пишет, а просто мажет кистью. Она отшвырнула кисть, подкралась к косому окну и поймала себя на том, что уткнулась в рукав свитера и вдыхает, вдыхает. Его запах окутывал ее, наполнял все кругом. Элина в ужасе стянула свитер и швырнула через люк на лестницу. Неделью она избегала Теда, уходила надолго, вечерами пропадала в барах, кафе, галереях. Приготовленные им ужины съедала среди ночи, спала до полудня, после обеда работала. Собирала его записки — рецепты, просьбу оставить денег на газ, напоминание о пропущенных звонках — и хранила в книгах между страниц. Начала серию небольших картин, в красно-черных тонах. А потом — еще записка, на этот раз длиннее: Тед писал, что собирается в Берлин, на кинофестиваль, у него два билета, поедет ли она? И Элина поехала. В Берлине было холодно, с неба сыпала крупа, трамваи ползли сквозь кучи грязного снега. Они ели яблочные штрудели, смотрели фильмы, ходили к руинам Берлинской стены. В гостиничном номере было две кровати, тонированные стекла красили небо в чайный цвет. Нейлоновые покрывала по ночам сползали на пол. Элина прислушивалась к сонному дыханию Теда. Когда он мылся в душе, украдкой посмотрела на фотографию в его паспорте. Разглядывала его одежду, небрежно брошенную на стул. Они ходили в картинную галерею, и снова в кино, и на вечеринки, где все пили ледяную водку, от которой у Теда сводило зубы; Тед при Элине болтал с канадкой-продюсером по имени Синди, и они обменялись электронными адресами. Элина напилась, упала. Тед отвел ее в номер, уложил, укрыл одеялом. Утром принес ей воды. Они пошли искать Потсдамскую площадь, а нашли торговый центр. Ели жирные тортильи, писали открытки. Элина спросила, кому он пишет, Тед рассказал; про ее открытки он не спросил. И снова фильм, снова яблочный штрудель, вечеринка. Ночью она слушала его дыхание. Покрывала сползли, упали на пол. Элина проснулась рано утром, когда небо в окне было цвета крепкого чая, и увидела покрывала между кроватями. Они вернулись домой. Черно-красные картины Элина повернула к стене. Смешала краски, но оставила сохнуть на палитре. Записки Теда вытряхнула из книг в мусорное ведро. Легла на кровать, свесив голову, и дымила сигаретой, глядя в окно на небо. Когда Тед вернулся, она курила в саду. Щелкнул замок, застучали по дому шаги, зажегся свет, хлопнула дверца холодильника. Тед позвал ее: «Элина?» — тихонько, чуть вопросительно. Но она не обернулась. «Наверное, никого нет», — сказал Тед. И пошел по газону, неслышно ступая босиком по траве, и взялся за кончик ее пояса — длинного,

матерчатого, который обвивался вокруг талии много-много раз, — и подтащил ее к себе за пояс, вернее, подтянулся к ней, будто вылезал из воды, цепляясь за канат.

Нет, не всегда они были такими, как сейчас, уверяет себя Элина, баюкая ребенка, глядя на Теда, сливающего мыльную воду, и на разгром в комнате.

* * *

Иннес, против ожиданий Лекси, долго не дает о себе знать. В тот день он проводил Лекси от ресторана до метро «Лестер-сквер» и всю дорогу говорил без умолку. О картине, что купил однажды в Риме, о квартире неподалеку, где он когда-то жил, о книге, на которую пишет сейчас отзыв и которую стоит прочесть. Он поцеловал Лекси в щеку — легкое касание губ, скорее намек на поцелуй, — поправил ей шарф, Лекси махнула на прощанье и спустилась в метро.

В понедельник и вторник Лекси работает: ездит то вверх, то вниз, и так без конца. В среду она принимает приглашение на обед от бухгалтера универмага. Он признается, что переходит на другую работу, в компанию, которая скупает разрушенные бомбежками здания. Они идут в кафе — итальянское, Лекси, глядя в меню, думает о миссис Коллинз — и едят котлеты с подливкой. Коллега Лекси, капая подливкой на костюм, перечисляет виды бомб времен Второй мировой и описывает производимые ими разрушения. Лекси с притворным интересом кивает, а сама вспоминает развалины, что видела в Лондоне, — черные воронки, заросшие крапивой, террасы с зияющими провалами, здания без окон, мертвые, незрячие — и думает, что и близко к ним не подойдет.

Лекси снова работает, доставляет людей из обувного отдела в отдел электроприборов, из шляпного в бельевой, из галантереи в кафе на последнем этаже. В четверг достает из сумочки визитку Иннеса, разглядывает. Прячет визитку в карман формы и то и дело нашупывает в свободные минуты. В конце рабочего дня перекладывает ее обратно в сумочку. В пятницу тот же бухгалтер приглашает ее погулять в Гайд-парк, но Лекси отказывает.

В выходные Лекси отправляется в галерею Тейт, гуляет по набережной. Идет с Ханной в кино в Хэмпстеде. Затекает очередную перестановку мебели, чистит обувь, составляет список покупок. Погода портится, пахнет дождем, и Лекси, повесив чулки сушиться на подоконник, сидит у раскрытого окна, смотрит в хмурое небо и удивляется: небо везде одно и то же — что в Лондоне, что дома.

В понедельник вечером, в пять минут седьмого, Лекси выходит из дверей универмага с бухгалтером, а рядом, у тротуара, стоит серебристо-голубой «эм-джи». Хозяин машины, облокотившись на капот, читает газету, за ним тянется шлейф сигаретного дыма. На нем бирюзовая рубашка и диковинные остроносые ботинки с резиновыми вставками.

Лекси застывает как вкопанная. Молодой бухгалтер, держа ее под локоть, умоляет пойти с ним в паб у Мраморной арки. Иннес поднимает голову, переводит взгляд с Лекси на бухгалтера, по лицу пробегает тень. Отшвырнув окурок и на ходу сворачивая газету, он идет по тротуару им навстречу.

— Дорогая, — Иннес обнимает Лекси за талию, целует в губы, — я на машине. Поедем? — Он открывает заднюю дверь, и Лекси, ошарашенная поцелуем, стремительным ходом событий и его необыкновенной рубашкой, садится в машину. — До свидания! — Иннес, помахав бухгалтеру, садится за руль. — Рад был познакомиться!

Лекси решает как можно дольше с ним не разговаривать. Как он смеет запихивать ее в машину? Сначала пропал на неделю, а теперь лезет целоваться!

— Что это за чудище? — бормочет Иннес, когда они с шумом съезжают с бордюра.

— Чудище?

Иннес кивает в сторону тротуара:

— Твой дружок во фланелевом костюме.

— Он... Я... — Лекси подыскивает слова. — Никакое он не чудище, — наконец заявляет она с ноткой надменности. — На самом деле он очень интересный человек. Он скупает разрушенные здания...

— Ах вот как, бизнесмен! — Иннес громко, раскатисто хохочет. — Как я сразу не догадался! Типичная ошибка таких, как ты.

— Что это значит? — взвизгивает Лекси. — Какая еще ошибка? И что значит «таких, как я»?

— Молоденькая девушка приезжает в большой город, ослеплена блеском делового мира. — Иннес качает головой, они сворачивают на Черинг-Кросс-роуд. — Обычная история. Сама понимаешь, — он тянется к ее руке, — я имею полное право обижаться.

— На что?

— Стоит на пять минут отвернуться — ты уже вертишь хвостом перед спекулянтами! А как же наши с тобой...

— Пять минут? — Лекси отдергивает руку. Она опять сорвалась на крик. Рада бы остановиться, но поздно. — Прошло больше недели! И

вообще, кто ты такой, чтобы...

Но Иннес, усмехаясь, потирает подбородок:

— Ага, соскучилась?

— А вот и нет! Ни капельки! И если ты думаешь, что... — Лекси умолкает. Машина свернула в узкий переулок с темными окнами и тусклыми вывесками над дверями. — Куда мы едем?

— В джаз-клуб. Но это потом. Сначала заглянем ко мне на работу. — Впервые за все время лицо его слегка омрачается. — Ты не против? Видишь ли, не могу бросить своих ребят в день рассылки журнала. Посиди, почитай, если хочешь, пока я не освобожусь. Это ненадолго. Книг у нас полно — или у тебя с собой? Понимаю, предложение не слишком-то заманчивое, просто очень уж хотел тебя застать.

Лекси теревит палец перчатки, смотрит на мокрые улицы Сохо, на проносящиеся мимо огни, на велокурьера с корзиной газет на багажнике. Она не хочет признаваться, до чего ей не терпится побывать в редакции, снова увидеть ту комнату, где всегда кипит работа.

— Как угодно, — роняет она небрежно.

В редакции тишина. В первый миг комната кажется Лекси пустой. Но Иннес, лавируя между захламленными столами, обращается к кому-то: «Ну как?» — и Лекси, шагнув в комнату, видит: на полу, среди кип журналов и конвертов, сидят трое — мужчина и две женщины. Иннес опускается рядом на колени, берет журнал, кладет в конверт и кидает в стопку.

— Иннес, ради бога! — восклицает одна из женщин, хватаясь за голову; Лекси находит это чересчур театральным.

— Сюда, — подсказывает мужчина, постукивая пальцем по другой стопке. — Готовые сюда. Список у Дафны. У нее почерк лучше всех. Мы проверяли, самый разборчивый.

Иннес кладет в конверт еще один журнал и бросает женщине, которая сидит к Лекси спиной.

— Вам помочь? — предлагает Лекси.

Все оборачиваются. Дафна, та, что со списком, вынимает изо рта ручку.

— Все-все-все, это Лекси, — указывает на нее Иннес. — Лекси, это все-все-все.

Лекси приветственно поднимает руку:

— Всем здравствуйте!

Наступает молчание. Мужчина откашливается; вторая женщина смотрит на Дафну, потом отводит взгляд. Лекси поправляет форменный жакет, откидывает волосы со лба.

— Проходи, садись. — Иннес указывает на пол рядом с собой. —

Поможешь разложить журналы по конвертам, но только если ты не против. Лекси — звено работы универмага, — объясняет он остальным. — Не хотелось бы ее утомлять, но от помощи мы никогда не отказываемся, ведь так?

Лекси и Иннес раскладывают журналы по конвертам. Дафна, сверяясь со списком, пишет адреса. Мужчина, который представился Лоренсом, наклеивает марки. Вторая женщина, Амелия, приносит еще журналы и конверты, заваривает чай, а когда у Дафны кончаются чернила, приносит новый флакон. Иннес рассказывает, как вчера обедал с хозяином картинной галереи, который со дня их прошлой встречи успел перекрасить волосы. Лоренс спрашивает Лекси, где та работает, где живет. Иннес расписывает пансион Лекси — если ему верить, пансион будто сошел со страниц романов Колет.^[5] Лоренс и Амелия затевают спор о выставке в Париже. Дафна заявляет, что оба несут чушь. Говорит она очень мало, и Лекси, пользуясь случаем, украдкой приглядывается к Дафне: миниатюрная, каштановые волосы аккуратно уложены; на ней длинное платье с узким лифом и широкой юбкой. Дафна оборачивается, ловит взгляд Лекси.

Когда все адреса подписаны, а марки наклеены, Лоренс сваливает конверты в большой почтовый мешок, цепляет на брюки прищепки, какие носят велосипедисты, и машет на прощанье. За Амелией заходит друг. Дафна нарочито долго собирается, надевает плащ, проводит расческой по волосам. Лекси и Иннес молчат, Лекси разглядывает грязно-голубые цветы на ковре. Уже в дверях Дафна оборачивается.

— Кстати, Иннес, — говорит она с легкой улыбкой, — твоя жена звонила.

Если Иннес и смущен, то не подает виду. Он листает бумаги в папке.

— Спасибо, Дафна, — отвечает он, не поднимая глаз.

Дафна делает еще шаг к выходу.

— Я хотела тебе сказать, — она вскидывает подбородок, — да забыла. Она просила перезвонить.

— Ясно. — Иннес переворачивает страницу. — Ну, счастливо! Спасибо, как всегда, за хорошую работу.

Дафна уходит, полы плаща развеваются. Иннес возвращает папку на место, проводит пальцем по каминной полке, садится в кресло, снова встает. Лекси по-прежнему сидит в кресле, нога на ногу, руки на коленях, и смотрит на голубые цветы, которые будто живут своей жизнью, движутся, лепестки на сером фоне подрагивают, синие стебли колышутся.

Иннес устраивается напротив нее за письменным столом, Лекси

поднимает на него глаза.

— Итак, — начинает он вполголоса, — карты на стол — думаю, пора. — Взяв со стола стопку визиток, он тасует их, как колоду карт. Тасует он ловко, карты так и свистят в его руках.

Он выкладывает на стол одну, лицом вниз.

— Во-первых, — говорит он, — у меня есть жена. Я собирался тебе сказать, но Дафна, хитрюга, меня опередила. — Помолчав, он продолжает, взвешивая каждое слово: — Я женился на Глории еще юнцом, лет мне было, сколько тебе сейчас. Шла война, и казалось, так будет правильно. Она... как бы сказать, чтобы ее не оскорбить?.. кошмарней человека трудно вообразить. Вопросы есть?

Лекси мотает головой. Иннес кидает на стол еще карту.

— Во-вторых, — продолжает он, — ты должна знать, что у нас есть дочь. Моего у нее — только фамилия. — Он выкладывает третью. — Денег у меня негусто, времени на сон — тоже. — Ложится в ряд четвертая карта. — Работаю на износ. — Иннес кладет пятую, прямо возле руки Лекси. — Я без ума от тебя — с тех самых пор, как тебя увидел. Да ты и сама, наверное, заметила. Думаю, самое подходящее слово — «мания». Я лексиман.

Лекси смотрит на Иннеса — тот запустил руку в волосы, воротник рубашки съехал набок.

— Правда? — спрашивает она.

— Да. — Иннес прикладывает руку к сердцу. — Именно так.

— Скажи мне кое-что.

— Все что угодно.

— Ты спал с Дафной?

— Да, — не колеблясь отвечает Иннес. — Еще вопросы?

— Ты был в нее влюблен?

— Нет. Как и она в меня.

Лекси хмурится:

— На ее счет ты можешь ошибаться.

— Нет, — качает головой Иннес. — Дафна уже много лет любит Лоренса. Но у Лоренса другие вкусы. Он предпочитает мальчиков.

Лекси спрашивает:

— А с Амелией?

Иннес чуть заметно меняется в лице.

— Что с Амелией?

— Ты с ней спал?

Иннес, помрачнев, кивает.

— Давным-давно. — И лицо его светлеет от внезапной мысли: — И всего один раз.

Лекси сгребает карточки, разложенные на столе. Вертит их в руках, находит на обороте его имя, вспоминает густую живую изгородь за много миль отсюда. Раскладывает их в ряд сверху вниз, потом слева направо. Смотрит, как Иннес зажигает сигарету. Замечает, что руки у него слегка дрожат. И снова переводит взгляд на карточки.

Лекси кладет одну на стол, другую — поверх нее, под углом. В эту минуту она рада, что в прошлом году переспала с однокурсником. Девственность она всегда воспринимала как досадное неудобство, как нечто постыдное, от чего необходимо избавиться. Парня она выбрала, потому что он был чистенький, неглупый и забавный. Лекси выкладывает карты веером. Можно сказать, оба пошли на это из любопытства. Как Лекси помнит, все было кратко и без изысков, в высокой траве на мокром лугу. Помнит долгую борьбу с ляжками и застежками на белье, помнит, как ее волосы зацепились за пуговицу его рубашки, и, наконец, довольно приятное мерное скольжение. Но что-то подсказывает ей, что с Иннесом будет все по-другому. Лекси сдвигает карты в стопку.

— Вот что, — Иннес роняет на стол сигаретный пепел, — вечер я тебе устроил не ахти. Я, наверное, упал в твоих глазах? Веду тебя на свидание, а сам заставляю вкалывать у себя в редакции, а потом выкладываю свое грязное прошлое. Так не пойдет. Ты даже не поужинала. Ну что, едем в клуб? Там наверняка сможем что-нибудь перехватить. А если не там, так по пути. Что скажешь?

— Вот что я скажу... — Лекси поднимает взгляд на Иннеса. На него жалко смотреть: волосы дыбом, от сигареты остался окурочок, глаза с тревогой устремлены на нее.

— Боже, — вздыхает Иннес, — теперь ты меня, наверное, бросишь? Я все испортил, да? Привез тебя сюда и заставляю выслушивать этот бред. — Он размахивает руками. — Считаешь меня развратным придурком без стыда и совести? А сама еще ребенок, инженерю, и...

Лекси вспыхивает.

— Ничего подобного, — огрызается она. — Мне двадцать один, и никакая я не инженерю, я...

— Вы подумайте, двадцать один! — взывает Иннес к потолку. — Не слишком ли молода? Это не противозаконно?

Он наклоняется к ней через стол, близко-близко, так что Лекси улавливает его запах — масло для волос, мыло и свежий сигаретный дым. Волосы у него надо лбом растут ежиком. Лекси замечает щетину на

подбородке, видит, как расширяются и сужаются его зрачки.

— А мне тридцать четыре, — бормочет он. — Не староват ли для тебя? Могу ли я надеяться?

У Лекси больно колотится сердце. Он совсем близко, и вспоминается его поцелуй, хочется вновь ощутить прикосновение его губ, но дольше, сильнее.

— Да, — выговаривает она.

Иннес расплывается в улыбке.

— Вот и славно. — Он берет руку Лекси в свои. — Вот и славно.

— Вот что... — Лекси набирает побольше воздуха: в горле пересохло, слова не идут с языка. — Не надо в джаз-клуб. Лучше в постель.

Иннес стал действовать быстро, умело. Повел Лекси в заднюю комнату, убрал с дивана чашки из-под кофе, бумаги, ручки. Усадил ее, поцеловал нежно, но решительно. Лекси ожидала, что все начнется быстро. Как с тем пареньком на лугу — стоило ей предложить, он начал стаскивать ботинки. А Иннес никуда не спешил: касался ее волос, гладил ее шею, руки, плечи и говорил, как всегда, обо всем и ни о чем. И за разговором понемногу ее раздевал, снимал с нее форму лифтерши: жакет с медными пуговицами и названием магазина, вышитым золотыми буквами; красный шарф, блузку с колким воротом. Так не спеша и так естественно. Они еще поболтали — о журнале, о том, где она купила туфли, как добралась на работу (в метро в тот день была авария), о том, что у него в квартире течет труба, о книжном магазине, где он хочет хранить на складе «Где-то». Как будто так и должно быть. Разговор был совсем обычный, и, как ни удивительно, вовсе не казалось странным, что она голая, что он почти раздет, что он — боже! — совсем раздет, что он здесь, подле нее, рядом с ней, внутри нее. Он взял ее лицо в ладони. Говорил: дорогая моя, любимая.

И даже потом не переставал говорить. Иннес мог болтать часами. Он рассказывал, как у его матери был пекинес, которому разрешалось за обедом расхаживать по столу. Лекси встала с дивана и пошла на поиски одеяла — в комнате был сквозняк. Вернулась, укрыла обоих. Иннес снова обнял ее, спросил, удобно ли ей, и стал дальше рассказывать, как в гости к ним пришел русский и предложил застрелить пекинеса из игрушечного пистолета. Он зажег две сигареты, передал ей одну, и, взяв ее, Лекси вдруг осознала, что произошло. На глаза навернулись слезы. Что она здесь делает — лежит голая на диване с мужчиной? У которого есть жена и дочь. Она сглотнула, затянулась.

Иннес, видимо, почуял неладное — крепче обнял ее за талию, притянул к себе.

— Знаешь что? — Он поцеловал ее в волосы. — Думаю... — Он умолк, устроился поудобнее на диване. — Здесь чертовски неуютно. В следующий раз надо в настоящей постели. Придется у меня дома. Твоя хозяйка вряд ли такое позволяет. — Иннес замолчал, поцеловал ее в висок. — Переходи ко мне работать.

Лекси вскочила, роняя пепел на одеяло.

— Что?

Иннес улыбнулся, сделал длинную затяжку.

— Ты все слышала.

Он протянул руку, сдернул с плеч Лекси одеяло, радостно вздохнул.

— Знаешь, мне так не терпелось посмотреть, какая у тебя грудь, и, признаюсь, я нисколько не разочарован.

— Иннес...

— Не слишком большая, не слишком маленькая, прекрасной формы — ты знала? Так я и ожидал. Мне всегда нравилось, когда грудки смотрят вверх, в потолок, как у тебя. А «уши спаниеля» не в моем вкусе.

Лекси коснулась его руки:

— Послушай...

Иннес тут же накрыл ее ладонь своей.

— Ты должна работать у меня, — сказал он. — Что тебе мешает? Ты растрачиваешь себя на поставщиков дорогих тряпок. Это же очевидно. И мне не нравится, как на тебя смотрит твой коллега. — Он скорчил бульдожьей морду. — Сильно напрягаться не придется, особенно на первых порах. Вроде секретарши. Печатать, бегать с поручениями. Кстати, как твои печатные успехи?

— Уже лучше, — ответила Лекси. — Тренируюсь. Прохожу четвертую главу самоучителя. Учусь делать поля в списках.

— Отлично. Мы без тебя как без рук.

Лекси наклонилась к нему, Иннес впился в нее взглядом.

— Не отказывайся, — шепнул он. — Не терплю, когда мне отказывают, ты сама убедилась. Я от тебя не отстану. Буду стоять над душой, пока не согласишься. Давай с утра позвоним барахольщикам и скажем, что ты увольняешься.

— Гм... — Лекси выпрямилась. — Подумаю. — Она откинула с лица волосы. — По обстоятельствам.

— По каким обстоятельствам?

— По тому, сколько ты собираешься мне платить.

Впервые за все время лицо Иннеса омрачилось.

— Ах ты какая корыстная! Такое везение выпадает раз в жизни, я тебе

даю возможность вырваться, скажем так, с никчемнейшей из работ, а ты...

— Корыстью тут и не пахнет. Всего лишь практичность. Я не могу питаться воздухом. Мне надо платить за квартиру, надо есть, покупать билеты на метро, платить за...

— Довольно, довольно, — сказал с обидой Иннес, — избавь меня от подробностей. — Он поднес ко рту сигарету, затянулся. — Гм... — продолжал он, глядя в потолок, — она требует денег! — Он задумался. — Денег, конечно, нет вообще. Я мог бы продать одну из картин. Первое время будешь щеголять в нейлоновом белье, и...

— Я не ношу нейлоновое белье, — вставила Лекси.

— Вот как? Тем лучше. Меня от него воротит. — Он покосился на Лекси, потом снова уставился в потолок. — Итак, я продаю картину. Сможем платить тебе из этих денег, а потом что-нибудь придумаем. И конечно, ты переедешь ко мне.

— Что?

— Сэкономим на квартплате. Не буду брать с тебя за жилье.

— Иннес, я не могу...

— Всем нам приходится чем-то жертвовать. — Иннес широко улыбался, заложив руку за голову. — Я собираюсь продать свою литографию Барбары Хепворт^[6] с рассеченной сферой. А от тебя требуется лишь малость — пожить у меня.

— Но... но... — Лекси рванулась. Иннес, улучив миг, положил ей руку на грудь. — Хватит, — сказала Лекси, — у нас серьезный разговор. — Она оттолкнула прочь его руку. — А как же твоя жена? — спросила она наконец.

Рука вернулась на прежнее место.

— А при чем тут жена? Не ее дело, кого я беру на работу, — пробормотал Иннес, уткнувшись носом ей в грудь.

— Я имела в виду жить с тобой.

— А-а. — Иннес откинулся на диван, выпустил струйку дыма, посмотрел, как она вьется в воздухе, и потушил сигарету о блюдце. — Об этом не беспокойся. Мы с ней разъехались — уже давно. Не ее это дело.

Лекси стала молча заплетать в косичку бахрому одеяла.

— Не ее это дело, — повторил Иннес.

Лекси продолжала заплетать бахрому.

— И часто ты зовешь девушек к себе жить? — спросила она, не глядя на Иннеса. До других женщин ей дела не было, просто хотелось знать свое место в его жизни.

— В первый раз, — признался он. — Никому еще не предлагал. И

домой никого не приводил, даже на ночь. Не люблю захламлять пространство... — он взмахнул рукой, — людьми. — Оба помолчали, обдумывая сказанное, и вдруг Иннес соскочил с дивана. — Пойдем, — сказал он и стал одеваться.

— Куда? — непонимающе спросила Лекси. Она еще не привыкла к резким сменам настроения Иннеса.

— Заберем твои вещи. — Он схватил Лекси за руку и стащил с дивана.

— Какие вещи?

— Из пансиона. — Он протянул Лекси плащ, будто не замечая, что она голая. — Довольно тебе жить в этом храме невинности. Будешь жить у меня.

Квартира Иннеса — уже не квартира. Теперь, спустя полвека, ее не узнать. Однако дверные косяки все те же, и шпингалеты на окнах, и выключатели, и своды потолка. Под слоем жуткой лиловой краски едва различим рельеф обоев. На лестничной площадке до сих пор отстаёт половица — раньше все об нее спотыкались, теперь ее укрывает бежевый ковер, и никто из нынешних обитателей дома не знает, что под ней и сейчас спрятан запасной ключ от редакции «Где-то». Камин пережил многочисленные ремонты. Он все тот же, узкий, в ранне-викторианском стиле, с листьями и стеблями, вытисненными на железе. На левой стороне — след огня, это Лекси уронила свечу зимой пятьдесят девятого, когда у них кончилась мелочь и стало нечем платить за свет. На половице у двери, под ковром, — пятно, что появилось во время вечеринки в том же году. В комнатах чувствуется присутствие обоих — кажется, будто время вот-вот пойдет вспять и, если в нужную минуту оглянуться, можно мельком увидеть Иннеса, как он сидит на стуле, нога на ногу, с книгой на коленях, пуская к потолку сигаретный дым. Или стоит у окна, смотрит на улицу. Или за письменным столом, ругаясь, вставляет ленту в пишущую машинку.

Но нет уже ни Иннеса, ни Лекси. В комнатах живет девушка-чешка, слушает жесткую электронную музыку, пишет письма синей шариковой ручкой на листах в клетку. Она работает няней у хозяев дома — квартиру превратили в мансарду, Иннесу было бы любопытно узнать. Он всегда говорил: мы живем на этаже для слуг.

Дом стал другим. И все же остался прежним. Батареи, крашенные стены, ковры, шторы на окнах. Нет больше тесной кухоньки с газовой плитой, капризным водонагревателем и жестяной ванной — стены снесли, чтобы расширить лестничную площадку. Заднюю комнату, служившую столовой

и кабинетом Иннеса, превратили в санузел с огромной угловой ванной. Нет ни входной двери с замком и ржавой щеколдой, ни панелей, отделявших квартиру Иннеса от соседних, и хозяйские дети носятся вверх-вниз по лестнице. Няня иногда сидит на том месте, где у Иннеса лежал коврик, и плачется по мобильнику своему далекому другу.

Лекси в тот вечер не стала переезжать к Иннесу. Слишком уж привык он распоряжаться людьми, привык, что все пляшут под его дудку. Лекси заартачилась. Упрямством они были друг другу под стать. Иннес отвез Лекси обратно в пансион. Вспыхнула бурная ссора в машине, когда Лекси отказалась собирать чемодан. Спор продолжался и на крыльце, пока Лекси не кинулась в подъезд. На следующий вечер Иннес и его «эм-джи» снова ждали у входа в универмаг. Иннес и Лекси снова любили друг друга на диване в «Где-то» и на этот раз даже ухитрились поужинать. Лекси уволилась из универмага и перешла работать в «Где-то», но отказалась покидать пансион.

В «Где-то» она сначала отвечала на звонки и бегала с поручениями — в типографию, по книжным магазинам, галереям, театрам. А по пути прокручивала в голове услышанное в редакции, обрывки разговоров — все, в чем ей предстояло разобраться.

— Лид^[7] у тебя вышел паршивый, — бросила как-то Лоренсу Дафна.

— Где гранки? — спрашивал иногда Иннес, вставая с места.

— Нет кикера,^[8] — говорил Лоренс, тыча пальцем в верстку (теперь Лекси знала, как это называется).

«Шапка», «подвал», «полоса», «врезка», «рыба» — все эти слова в редакции «Где-то» имели свои, особые значения, их предстояло запомнить, усвоить. И Лекси ходила по ковру с голубыми цветами, держа в голове новые слова, и заваривала чай (неумело, зачастую с кислым молоком), а через несколько недель ей доверили набрать для журнала статью. Машинопись так и осталась ее слабым местом. Иннеса она доводила до бешенства.

— Что такое «друктурализм», Лекс? — орал он на всю крохотную редакцию. — Слышал кто-нибудь о друктурализме? А «пироговое»? Какое, к дьяволу, «пироговое значение»?

У Лоренса здорово получалось расшифровывать ее опечатки.

— Пороговое, Иннес, — отвечал он, не отрываясь от работы. — Пороговое значение.

И Лекси в благодарность, не дожидаясь его просьбы, наливала ему чашку чая, со свежим молоком.

Иннеса приводило в ярость, что Лекси отказывается к нему переезжать. Но Лекси не желала идти у него на поводу. «Ты мой начальник, — отвечала она, — чего тебе еще надо? Стать еще и моим квартирным хозяином?» «Любовником — да, — отвечал Иннес, — а квартирным хозяином — нет уж, увольте». Так и спорили Иннес и Лекси о том, где она живет и почему, сталкивались, как стальные шарики в игровом автомате — на диване на Бэйтон-стрит, в джаз-клубах, кафе, в квартире Иннеса, на вернисажах, в баре «У Джимми» на Фриз-стрит, на поэтических вечерах в прокуренном подвале, где тощие девицы в черных водолазках, с волосами на пробор, слетались, словно мотыльки, к бороатым поэтам с пивными кружками. Как-то раз в пабе «Карета и лошади» они увидели из окна ее бывшего коллегу под ручку с продавщицей из парфюмерного отдела. «На ее месте могла быть ты, — заметил Иннес и положил руку на колено Лекси под столом». Лекси наклонилась к Иннесу и выдернула у него изо рта сигарету.

Как путешественник, прилетевший из-за океана, переводит часы, сменила режим и Лекси. Вставала поздно, на работу являлась в разгар утра, а то и к обеду. Миссис Коллинз неизменно приходила в ужас, когда Лекси пробиралась в ванную в десять-одиннадцать утра. «Я так и знала! — набросилась она однажды на Лекси. — Знала, что ты плохо кончишь!» Лекси захлопнула дверь и открыла кран на всю катушку, усмехаясь про себя.

В «Где-то» работали до вечера, а потом отправлялись на улицы Сохо — то все вместе, то компаниями по трое-четверо — и не знали наперед, где окажутся под утро. Лоренс предпочитал клуб «Мандрагора» — там можно найти столик и послушать живую музыку, — но Дафна жаловалась, что Лоренс становится «жутким занудой», едва переступит порог «Мандрагоры»: он так зачарованно слушает, что из него слова не вытянешь. Она всегда зазывала их во «Французский паб»: ей по душе были теснота и духота, толпы матросов и шлюх, то, как хозяин при встрече целовал ей руку, и сооружение на стойке бара, где вода сочилась сквозь кусочек сахара в бокал абсента. Иннес любил бар «Колония». Выпить он был не любитель, но уверял, что в этих зеленых с золотом стенах хорошо вести переговоры. Лоренс, однако, не раз страдал от злой на язык хозяйки, которую Дафна называла не иначе как «эта Белчер, сучка двинутая». Сотрудников «Где-то» нередко можно было застать где-нибудь на углу в разгар спора, кто куда идет и где потом встретиться.

Они частенько засиживались до двух-трех ночи, и Лекси не раз нарушала «комендантский час» миссис Коллинз. После того как Лекси

неделю подряд не ночевала в пансионе, она собрала вещи, а Иннес, в темных очках и с сигаретой, поджидал ее на обочине в машине со включенным мотором. Миссис Коллинз от возмущения ни слова не сказала Лекси, даже не взглянула в ее сторону. «Иезавель!» — вскричала она, когда за Лекси захлопнулась дверь подъезда, рассмешив Иннеса до слез. Даже спустя годы он называл Лекси Иезавелью.

Квартира Иннеса потрясла Лекси. В жизни она не видела ничего подобного. Окна без занавесок, голый дощатый пол, беленые стены, мебели совсем немного, вся из светлого полированного дерева, с закругленными углами. «Скандинавская», — бросил через плечо Иннес, увидев, как Лекси проводит рукой по гладкой поверхности, будто ласкает собаку. Книжные полки у Иннеса тянулись по всей квартире, под самым потолком. «Ни один вор не достанет», — объяснил он Лекси, когда та спросила, почему так высоко. Стены были увешаны картинами. Джон Минтон — показывал Иннес, — Николсон, де Кунинг, Кляйн, несколько работ Бэкона, Люсьен Фрейд,^[9] Поллок. И взял ее за руку. «Хватит о них, — сказал он, — пойдем, покажу спальню, вон там».

Иннес повел ее в магазин в Челси, купил ей алый плащ с массивными, обтянутыми тканью пуговицами, зеленое платье из шерстяного крепа с рюшами на манжетах, ярко-синие чулки — «Ты синий чулок, — сказал он, — вот и носи», — свитер с воротником «хомут». Повел Лекси в парикмахерскую и встал возле кресла. «Вот так, — он провел пальцем вдоль ее подбородка, — и так».

Родители Лекси, узнав, что та живет с женщиной, сказали: ты для нас умерла, больше не приезжай, не пиши, не звони. Лекси так и поступила.

* * *

Элина не ожидала такой жары. Когда они собирались уходить, в доме было как обычно — прохладно, влажно, душновато. А на улице, в джинсах, красных босоножках и блузке с яблоками, Элина умирает от жары. Пот выступает на коже, струится вдоль спины. Джинсы, что на ней, из прошлого — без пояса, обычные, как у всех. Чуть узковаты в талии, но, главное, налезли. Наконец-то она одета по-человечески. Так у нее появляется хоть призрачная надежда когда-нибудь снова почувствовать себя нормальной, такой, как все.

Рядом шагает Тед, под мышкой у него карта города, в нее вложено письмо от доктора. Они идут к педиатру, в центр здоровья по ту сторону парка Хэмпстед-Хит. Тед предложил прогуляться пешком, а Элина не стала говорить, что два дня назад вышла с коляской, но добралась только

до угла: борта коляски закачались перед глазами, звезды на одеяльце заморгали, пустились в пляс. Пришлось сесть на бордюр, поставив ноги в водосточный желоб, уронив голову на колени, а потом возвращаться домой. А сейчас она просто сказала: «Поедем на такси».

Оба они плохо знают этот район — сетку улиц за шумным шоссе, ведущим на север. Это Дартмут-парк, объясняет Тед.

Таксист высадил их на шоссе, сказав, что здесь негде развернуться, и они шагают по улице, ища глазами медицинский центр. Тед уверен, что они на правильном пути. И вдруг он заявляет, что им в другую сторону. Приходится возвращаться. Передав ребенка Элине, Тед смотрит на карту.

«Сюда!» Он устремляется вперед. Элина плетется следом, беспокоясь, что малыш на солнцепеке, что одеяльце слишком теплое, что она упадет от жары в обморок, если Тед потащит ее далеко.

На углу Тед останавливается, осматривается. Карта подрагивает в руке. Элина ждет. Вдыхает поглубже, воздух обжигает ей легкие. Никаких обмороков. Все хорошо. Перед глазами ничего не плывет; звезды на одеяле — всего лишь вышивка, не более. Малыш спит, губки бантиком, ручку положил под щеку, будто прижал к уху невидимую телефонную трубку. При этой мысли Элина улыбается, но тут до нее долетают слова Теда:

— ...Не туда...

— Что?

Ни звука в ответ. Письмо выпадает из карты, летит на тротуар. Тед, вместо того чтобы наклониться, поднять, стоит спиной к Элине, руки по швам.

Элина хмурится. Опустившись на корточки, одной рукой бережно держа спящего ребенка, подбирает письмо.

— Тед, — Элина касается его рукава, — Тед, надо спешить, у нас две минуты. — Элина забирает у него карту, смотрит на нее, на письмо. — Нам вон туда, потом налево.

Тед поворачивает не в ту сторону и будто смотрит через дорогу, на забор.

— Тед! — Элина теряет терпение. — У нас ровно две минуты.

— Иди одна, — отвечает, не оборачиваясь, Тед.

— Что?

— Говорю, иди одна. А я здесь подожду.

— То есть... ты... не пойдешь к сыну на... — Голос Элины срывается от гнева. Больше ей не выдержать ни минуты рядом с Тедом.

Поправив ремешок сумки, она устремляется прочь с малышом на руках.

Красные босоножки жгут ноги, на талии джинсы насквозь мокрые от пота.

— «Я здесь подожду», — бормочет она под нос, толкая вращающуюся дверь. — Вы подумайте! «Я здесь подожду»! Что за свинство... — Элина не договаривает, потому что должна представиться на входе.

В коридоре прохлада и пахнет линолеумом. Элина садится на пластмассовый стул, по-прежнему кипя от гнева, но все-таки ожидая, что Тед появится. Смотрит на плакаты о грудном вскармливании, курении, менингите, прививках, про себя сочиняя гневную отповедь для Теда на случай, если он все-таки соизволит прийти. В голове всплывает фраза «уклонение от ответственности», но тут ее вызывают в кабинет.

— Имя? — спрашивает медсестра, уткнувшись в экран компьютера.

— Гм... — Элина теребит браслет, — мы еще не выбрали. Понимаю, странно, — у нее вырывается фальшивый смешок, — ребенку уже почти полтора месяца, а мы...

— Не ребенка, а ваше, — поправляет медсестра.

— А-а. — И снова натужный смешок. Да что это с ней? — Меня зовут... — Странное дело, она вновь заикается, как в юности. Ей с трудом давались слова на «Э», не шли с языка. Сглотнув, откашлявшись, она наконец выдавливает: — Элина Вилкуна.

— Вы шведка?

— Финка. — Элина, к своему облегчению, снова говорит обычным голосом. Заикание исчезло, будто спряталось в норку. — Но мама у меня шведка, — неизвестно зачем добавляет она.

— А-а. Продиктуйте, пожалуйста, по буквам.

Элина выполняет просьбу, дважды повторив, что «Вилкуна» пишется с одной «к».

— Вы так хорошо говорите по-английски, — замечает медсестра, забирая у нее ребенка.

Элина смотрит, как та сгибает ручки-ножки малыша, трогает родничок.

— Я здесь уже давно живу, и...

— В Лондоне?

— В основном — да. — Элине надоело вновь и вновь пересказывать свою историю, надоели бесконечные попытки выведать, откуда она родом. — Но не только, — отвечает она неопределенно. — В разных местах.

— Я вначале не поняла, что у вас за акцент. Думала, вы австралийка. — Медсестра заглядывает малышу в ушко. — Все хорошо, — говорит она. — Прекрасно. У вас здоровый, красивый малыш.

Из центра здоровья Элина летит как на крыльях; малыш у нее на руках,

прикрытый от солнца одеялом. Славная медсестра, такая славная! Слова «здоровый, красивый малыш» кружатся в голове, как бабочки. Хочется произнести их вслух; хочется вернуться и попросить медсестру повторить их.

Всю дорогу до шоссе Элина вполголоса проговаривает эти слова, и губы невольно растягиваются в улыбку; по телефону, думает она, всегда понятно, что твой собеседник улыбается, — дело в форме губ.

На углу, где они с Тедом расстались, Элина останавливается, смотрит по сторонам. «Здоровый, — звучит в голове, — красивый». Она смотрит налево, направо. Теда нет. Солнце жжет шею, плечи под блузкой. Элина хмурится. Где он? Она переходит через дорогу, и замешательство вновь уступает место гневу. Где его носит? И что нашло на него сегодня?

Элина сворачивает за угол — вот он, стоит на тротуаре, смотрит вверх, заслонившись рукой от солнца.

— Чем ты занят? — спрашивает Элина, поравнявшись с ним. — Я тебя везде искала.

Тед оборачивается, смотрит на нее и ребенка так, будто впервые их видит.

— Чем ты занят? — повторяет Элина. — Что с тобой?

Тед, щурясь, смотрит на дерево за спиной у Элины, на солнце.

— Знаешь песенку, — спрашивает он, — про трех воронят?

Элина удивленно смотрит на него:

— Что?

— Вот эту. — Тед тянет сдавленным голосом:

Три вороненка сидели на стене,
Сидели на стене, сидели на стене.
Три вороненка сидели на стене
Морозным зимним утром.

— Тед...

Тед опускается на низкую садовую ограду.

— Второй куплет:

Один вороненок кликал мать,
Кликал мать, кликал мать —

и все такое. А как дальше, я забыл.

Элина перекладывает малыша на другое плечо, поправляет одеяльце. Она невольно представляет на стене рядом с Тедом трех воронят: вот они, сидят рядком, черные перья отливают зеленью, клювы торчат, чешуйчатые

лапки вцепились в кирпичную ограду.

— Про второго вороненка... — Тед закрывает глаза, а открыв, заслоняет одной рукой, потом другой, будто проверяет зрение. И качает головой: — Забыл.

Элина подсаживается к нему, кладет ладонь ему на бедро, чувствует, как он дрожит.

— Тебе плохо?

— Мне плохо? — эхом отзывается Тед.

— Опять это, с глазами?

Тед морщит лоб, будто всерьез задумался.

— Как будто начиналось, — говорит он медленно. — Но, кажется, прошло.

— Вот и хорошо.

— Да?

Элину душат слезы. Она отворачивается, чтобы Тед не заметил. Что с ним? Может быть, мужчины иногда теряют голову, когда становятся отцами? — Элина не знает, и спросить не у кого. Становятся чуть рассеянными, уходят в себя, — может, ничего страшного? Ей кажется, будто оба тонут, и едва она всплывает, борясь с волнами и хватая воздух, как Теда тянет ко дну. Элина крепче держится за него, будто желая передать ему часть своих сил. «Прошу тебя, — хочется ей сказать, — умоляю, не надо так, мне одной не справиться». И при этом хочется закричать: «Ради бога, встань, отойди от стены, помоги поймать такси!» Но Элина заставляет себя говорить ровным голосом.

— Почему «кликал»? — спрашивает она. — Что значит «кликал»?

— Кликал — значит звал, — отвечает Тед, прикрывая ладонью то один, то другой глаз. — Это значит «звал маму».

— А-а. — Опустив взгляд, Элина вздрагивает от неожиданности: малыш проснулся, смотрит широко раскрытыми глазами.

— Это мне мама пела, — объясняет Тед, — когда я был маленький. Она знает, как дальше. Увижу ее — спрошу.

Элина кивает, проводит пальцем по щечке малыша, и Тед наклоняется к нему.

Тед думает о своем отпуске. Эти праздные, ленивые мысли одолевают его с тех пор, как он вышел из дома со списком покупок для малыша, что дала Элина. Для малыша? Не совсем так — скорее, для них самих. Салфетки, вата, защитный крем — и так далее и тому подобное. Кто бы мог подумать, что у столь крохотного существа такие огромные

потребности!

Теду пришло в голову, что его роль, роль отца в двухнедельном отпуске, сродни роли рабочего на съемочной площадке. Малыш, несомненно, звезда: любой его каприз тотчас исполняется, его требованиям и распорядку рабски следуют. Элина — режиссер: за все отвечает, за всем следит. А он, Тед, — рабочий. Подает, приносит, помогает режиссеру, подтирает лужи, заваривает чай.

Теду такое сравнение по душе. Он улыбается про себя, шагая по тротуару мимо платанов, обходя тут и там кучи собачьего дерьма, помахивая набитыми сумками.

Свернув во двор, Тед нащупывает ключи. Открывает дверь, вытирает ноги о половичок, кричит: «Привет! Это я. Все купил. Кроме биоразлагаемых салфеток. Пришлось взять обычные. Знаю, ты не одобришь, но я подумал, лучше уж такие, чем никаких». Тед умолкает, ждет ответа. Но в доме тихо. «Элина!» — зовет Тед. Но тут же одергивает себя: вдруг она спит? Оставив сумки на кухонном столе, он заглядывает в гостиную, но там пусто, никто не лежит на диване. Пустая коляска стоит в прихожей, простыни смяты, будто ребенка только что достали. Тед трогает вмятинку от головы малыша, она еще хранит тепло — или показалось?

Сверху доносится звук — то ли шаги, то ли щелчок, то ли что-то упало, — и Тед задирает голову. «Элина!» — повторяет он. И опять нет ответа.

Тед поднимается по лестнице, сначала медленно, потом — перепрыгивая через ступени. «Эл, — говорит он на лестничной площадке, — ты где?» Она где-то здесь, не могла она уйти.

Но спальня пуста, кровать аккуратно застелена пуховым одеялом, дверцы шкафов закрыты, зеркало над камином сверкает серебром и никого не отражает. В ванной открыто окно, занавеска колыхается на ветру струйкой дыма.

И снова Тед стоит на лестничной площадке, ничего не понимая. Где же она? Тед опять заходит в спальню, в гостиную, на кухню — вдруг она уснула где-нибудь? Даже под кровать заглядывает, на всякий случай (не позволяя себе задуматься, что за «всякий случай»). Но и там пусто. Ни Элины, ни ребенка.

В прихожей Тед нащупывает в заднем кармане телефон. Нажимает на кнопки, ища ее номер, и взгляд вновь падает на коляску. Куда она могла уйти, с ребенком, но без коляски? Откашлявшись, он подносит к уху телефон. Говорить надо спокойно, как обычно, чтобы не выдать испуга, ужаса.

В трубке слышен щелчок, затем — резкие гудки. И где-то рядом — звонок телефона. Тед опускает трубку, прислушивается. За стеной звонит и звонит мобильник. Тед закрывает крышку телефона, и звонки умолкают. Он опускается на ступеньки и замирает, уронив голову на руки. Где же она? Что теперь делать? Звонить в полицию? Но что сказать? «Спокойно, спокойно, — говорит он себе, — без паники, надо все обдумать», но в голове стучит: она взяла ребенка и ушла, пропала, и она так слаба, что не может даже до...

Тед вскакивает от резкого, неприятного звука. Откуда он, почему такой громкий? Ах да, дверной звонок, прямо над ухом! Это она! Вернулась! Сам не свой от облегчения, Тед рывком распахивает дверь.

— Боже, как ты меня напугала! Я...

Тед умолкает на полуслове. В дверях стоит мать.

— Сынок, — говорит она, — я просто мимо пробежала. Мы с Джоан — помнишь Джоан, из дома напротив, с кокер-спаниелем? — пили кофе в Саут-Энд-Грин. Там чудное новое кафе — ты там был? — Переступив порог, она прижимается щекой к щеке Теда, хватая его за плечи. — Словом, не могла пройти мимо, не заглянув к тебе и не потискав внука. Итак, — она воздевает руки к потолку, будто актриса на сцене, — я здесь!

— Гм... — Тед, придерживая дверь, проводит рукой по волосам. — Я только что вернулся, — мямлит он. — Я... э-э-э... — Перед тем как закрыть дверь, он выглядывает во двор, смотрит на подъездную дорожку, на тротуар, не пришла ли Элина. — Я не знаю, — начинает он неуверенно, закрыв дверь, — где Элина.

— Вот как. — Мать снимает шелковый шарф, расстегивает жакет. — Вышла на минутку?

— Наверное. — Прислонившись к двери, Тед смотрит на мать. Что-то в ней переменялось, но что? Он смотрит на ее волосы, щеки, нос, шею, на руки, которые вешают на крючок жакет, на ноги в лаковых туфлях. Странное дело, он ее будто не узнает, словно перед ним чужой человек, а не та, с кем он провел большую часть жизни. — Я не... м-м... я не... — Ты на себя не похожа, — вырывается у него. — Ты что-то с собой сделала?

Мать поворачивается к Теду, поправляя юбку:

— Что сделала?

— Не знаю. С волосами. Прическу сменила?

Мать смущенно подносит руку к шапке платиновых волос:

— Нет.

— Новая? — Тед указывает на ее блузку.

— Нет. — Она чуть касается лба — Теду знаком этот нетерпеливый жест. — Когда вернется Элина?

Тед по-прежнему не сводит с нее глаз. В чем же дело? Родинка на шее, подбородок, пальцы в кольцах — все кажется ему незнакомым.

— Малыша она взяла с собой? — спрашивает мать.

— Ага.

— Сынок, можешь ей позвонить и сказать, что я здесь? Я к шести должна быть дома. Отец просил, чтобы...

— Она забыла телефон. — Тед машет рукой в сторону гостиной. — Он там.

Еле слышный вздох досады:

— Ах, какая жалость! Я так хотела...

— Я не знаю, где она, мама.

Мать бросает на него быстрый взгляд — от нее не укрылась дрожь в его голосе.

— То есть как?

— Она ушла. А куда, не знаю.

— С ребенком?

— Да.

— Думаю, на прогулку. Скоро вернется. Попьем чаю в саду и...

— Мама, она даже по лестнице еле поднимается.

Мать хмурится:

— То есть как?

— После всего, что случилось. После родов. Сама понимаешь. Она очень... слаба. Очень больна. Она чуть не умерла, мама, вспомни. И вот прихожу я из магазина, а ее нет, и я не знаю, где она и как могла уйти, потому что... — Тед умолкает. — Не знаю, что делать.

Мать заглядывает в гостиную, на кухню.

— Она точно ушла?

Тед начинает злиться.

— Точно.

Мать подходит к раковине, открывает кран, наливает воду в чайник.

— Мама, ты что? — Тед потрясен. — Как можно ставить чай, когда... — Он снова умолкает: из задней двери торчит ключ. Он не на крючке, а в замке.

Тед бросается к двери, впускает в дом запах сада. Он выходит на террасу — в дверях студии тоже торчит ключ, и Тед с радостно бьющимся сердцем бежит по траве к окну студии.

Он заглядывает в окно и не верит глазам. Элина, в профиль, стоит возле раковины. На ней рабочий комбинезон, она смешивает краски или полощет кисть, отсюда не разобрать. Но движения ее быстры и умелы, а на лице вдохновенная сосредоточенность. Как раньше, думает Тед. Как в самом начале, когда он впервые увидел ее, — она приехала в обшарпанном наемном фургоне, одна, готовая тащить наверх, в мансарду, неподъемные ящики и инструменты. Увидев, как хрупкая, миниатюрная девушка согнулась под тяжестью огромного проектора, он вышел из дома и предложил помочь. Она как будто удивилась. «Я и сама справлюсь», — сказала она, и Теда разобрал смех: да уж, справится! Потом, неделю за неделей, он смотрел, как она ходит вверх и вниз по лестнице, спускается на кухню поесть когда придется, исчезает вечерами неизвестно куда. Слышал по ночам ее шаги наверху и пытался представить, чем она занята, радовался своей причастности к ее загадочной жизни. Нередко после бессонных ночей у нее бывало такое лицо — сосредоточенное, счастливое, будто у нее есть какая-то тайна, — и так и тянуло спросить, что у нее за секрет, чем занята она там, наверху.

Тед любил это выражение лица, его так не хватало в последнее время. Именно оно подсказало, к чему все идет, что надо сделать. Со временем он понял: Элина похожа на воздушный шарик — яркий, надутый гелием, он пляшет на ниточке, потягивает ее. Стоит отвлечься хоть на минуту —

улетит под облака, и поминай как звали. Тед знал, что Элина где только не жила, колесила по свету, нигде подолгу не задерживаясь. Тайная жизнь в мансарде, вдали от посторонних глаз, с красками, холстами и скипидаром — вот что ей нужно, а больше ничего — ни связей, ни пристанища. И она снова улетит, если ее не удержать, не привязать к себе. Тед так и сделал: уцепился за нее и держался изо всех сил — будто привязал шарик к руке за ниточку и ходит повсюду, а шарик парит над головой. Так он и держался с тех пор за Элину, не отпускал. Он не сразу привык просыпаться иногда среди ночи в пустой постели. Поначалу вскакивал как встрепанный и в испуге носился по дому. А потом узнал, что Элина иногда по ночам уходит тайком поработать, живет своей тайной жизнью. Он всякий раз проверял, светится ли окно студии, и возвращался в постель, один.

А сейчас у нее опять то же лицо! Тед смотрит на Элину в окно студии, готовый от радости захлопать в ладоши. Ничто — ни кошмар больницы, ни его шепот «все обойдется» — не сломило ее. Она становится прежней. У нее снова то же лицо, тот же разворот плеч, так же сомкнуты губы. Элина за работой. Она светится счастьем. Она работает.

Вдруг слева от Теда раздается: «Она здесь, да?» — и Тед, зачарованный зрелищем в окне, не успевает остановить мать — та, распахнув дверь, влетает в студию.

Дальше все происходит очень быстро. Расшатанная дверь студии с треском ударяется о стену. Элина, круто развернувшись, задевает фарфоровое блюдце, и оно разбивается вдребезги. Малыш — он тоже здесь, в студии, — вздрагивает, просыпается и громко пищит.

— Ох, — вскрикивает Элина, прижав к груди руку, всю в голубой краске, — что вы здесь делаете?

Тед бросается внутрь, стараясь перекрычать мать, объяснить, в чем дело, но Элина кидается к малышу и наступая босой ногой на разбитое блюдце, и Тед берет малыша на руки, но тот злится, что его разбудили, а Элина, сидя на стуле, вытаскивает из раны осколки и возмущается: «Зачем ты его разбудил, я его только что уложила», а из ноги течет кровь, и в голосе слезы. Она бормочет что-то по-фински — наверное, ругательство, — вытаскивая из ноги осколок.

— Иди работай, — нерешительно говорит Тед сквозь шум, стараясь не смотреть на кровь, — если хочешь. Мы возьмем малыша и...

Элина, ругаясь по-фински, швыряет осколок в ведро.

— Говоришь, иди работай? — кричит она, указывая на орущего младенца. — А кормить его кто будет — ты? Или твоя мать?

Тед укачивает ребенка.

— Мы не виноваты, — оправдывается он. — Мы не знали, где ты. Я вернулся, а тебя нет. Я уже места себе не находил. Я тебя искал везде...

— Везде? — переспрашивает Элина.

— Я думал... думал...

— Что думал? — Они смотрят друг на друга, потом оба опускают глаза. — Дай мне ребенка, — говорит Элина тихо и начинает расстегивать комбинезон.

— Элина, пойдем в дом. Надо заклеить пластырем ногу...

— Дай мне ребенка.

— Пойдем в дом, там покормишь. Пришла моя мама. Пойдем в дом, и...

— Никуда я не пойду! — Элина вновь срывается на крик. — Я остаюсь здесь. Дай мне ребенка!

Тед краем глаза смотрит на мать — та стоит в дверях, качая головой.

— Боже, — говорит она, — как у вас шумно!

Тед видит, как Элину передергивает от звука ее голоса, и чувствует укол совести: Элина не любит посторонних в студии, никого сюда не пускает — ни Теда, ни своего агента. Но мать Теда не интересуют ни наброски, ни натянутые холсты, ни фотографии, ни проектор, ни инструменты на стенах — она смотрит только на ребенка, как всегда, жадным, голодным взглядом.

— Что такое? — мурлычет она малышу. — Что ты, кроха? — Она забирает ребенка у Теда, царапнув крашеными ногтями его ладонь. — Не нравится, что мама с папой ссорятся? Да? Ну иди к бабушке, и все станет хорошо.

Она уносит малыша. Тед и Элина смотрят друг на друга из разных концов студии. Лицо у Элины белое как мел, рот приоткрыт, будто она собирается что-то сказать.

— Я за тебя волновался, — повторяет Тед, взяв туфлей по краю половика.

Элина, вскочив со стула, подходит к Теду вплотную.

— Знаешь что, Тед? — Она берет его за подбородок. — Я не пропаду, честное слово. Первое время было тяжело, а теперь полегчало. Это за тебя надо волноваться, а не за меня.

Тед, онемев, смотрит ей в глаза — такие знакомые, серо-голубые, левый чуть темнее правого, — видит в них свое крохотное отражение. Так они стоят долго-долго. Через открытую дверь слышно, как кричит малыш, заходится в плаче.

Тед высвобождается, опускает глаза и, по-прежнему чувствуя на себе взгляд Элины, выходит за порог.

— Малыш проголодался, — бормочет он на ходу. — Схожу принесу его.

* * *

Лекси работала в «Где-то» уже несколько месяцев и жила с Иннесом несколько недель. По утрам они вместе ездили на работу — с ревом проносились в «эм-джи» по Уорддор-стрит, сворачивали на Бэйтон-стрит; у Лекси эти утренние поездки всегда сопровождала приятная тяжесть внизу живота: Иннесу нравилось заниматься любовью по ночам и еще раз под утро. «Прочищает голову, — говорил он. — Иначе я весь день думал бы не о работе, а о сексе». Тем тяжелее, пояснял он, что Лекси, предмет его страсти, с ним работает. «Маячишь перед глазами, искушаешь меня, а под одеждой голая», — бурчал он.

— Поставь машину, Иннес, — отвечала Лекси, — и хватит ныть.

Однажды в редакции вместо обычного шума было тихо — Лоренс уехал в типографию, Дафна — на интервью, Амелия — к фотографу. Лекси и Иннес работали вдвоем. Они не разговаривали. Точнее, Лекси не разговаривала с Иннесом. Она сердито стучала по клавишам, не глядя в его сторону. Но, даже не глядя, знала: он сидит за столом с газетой и противно ухмыляется.

Лекси нажала на рычаг каретки и, подперев рукой подбородок, уставилась на складки своего зеленого шерстяного платья.

— Журналистами не рождаются, Лекс, — заметил из дальнего угла комнаты Иннес.

Лекси то ли с визгом, то ли с рыком вырвала из пишущей машинки лист, скомкала и запустила в Иннеса.

— Заткнись! — крикнула она. — Ненавижу тебя!

Бумажный снаряд, описав короткую дугу, упал жалким комочком на ковер, не достигнув цели. Иннес вычурным жестом перевернул страницу.

— А вот и неправда, любишь.

— Не люблю, не люблю! Видеть тебя не могу!

Иннес с улыбкой свернул газету, положил на стол.

— Знаешь что, если не научишься спокойно воспринимать критику — конструктивную критику редактора, — ничего из тебя не выйдет. Останешься на всю жизнь машинисткой с высшим образованием.

Лекси свирепо уставилась на него:

— Это, по-твоему, конструктивная критика? Наговорил гадостей...

— Я всего лишь назвал твою статью ученической...

— Замолчи! — Лекси заткнула уши. — Даже слушать не хочу! С меня хватит!

Иннес опять засмеялся, встал из-за стола и направился в заднюю комнату.

— Ладно, постараюсь держаться от тебя подальше. Если буду нужен, позови, но к обеду жду двести слов.

Лекси что-то буркнула ему вслед. И снова взглянула на рукопись, которую показала Иннесу накануне вечером. Иннес решил, что пора ей «попробовать перо», — отправил ее на небольшую выставку и велел написать отзыв на двести слов. Лекси приехала пораньше, обошла зал, изучила каждую картину, делая заметки в блокноте. Она услышала, как кто-то спросил про нее, кто «эта девушка», и, когда хозяин галереи ответил: «Новая девочка Кента», обернулась и обожгла его сердитым взглядом. Девочка, иначе и не скажешь. Она как ни в чем не бывало принялась писать в блокноте, испещрила каракулями страницы. Недельку корпела над статьей, а Иннес за пять минут прочел ее труд и исчеркал синей пастой.

Почему, почему «ученическая работа»? И чем плоха фраза «сочный колорит»? И почему он сказал: «Нужно более захватывающее начало»?

Лекси вздохнула, вставила в пишущую машинку новый лист. Ту т дверь редакции распахнулась и вошла женщина. Точнее сказать, дама. Красная шляпка без полей, вуаль на пол-лица, темно-синее пальто с узкой талией, туфли под цвет пальто. Руки в перчатках сжимают лакированную сумочку. На бледном лице слой пудры, накрашенные губы приоткрыты, будто хочет что-то сказать, но не находит слов.

— Доброе утро, — поздоровалась Лекси. Сейчас гостья, видимо, поймет, что попала не туда. — Чем могу помочь?

Дама, сощурившись, окинула ее быстрым взглядом:

— Вы Лекси?

— Да.

Дама, подбоченясь, оглядела Лекси с головы до ног, как разборчивый покупатель оглядывает манекен.

— Ну, — она рассмеялась нервно, раскатисто, — что я могу сказать? Каждая новая моложе предыдущей. Правда, моя хорошая? — Дама оглянулась, и Лекси застыла в изумлении: за ее спиной стояла девочка лет двенадцати-тринадцати. Личико бледное, волосы завиты в колечки — видно, всю ночь спала в папильотках, — рот раскрыт, будто у нее хронический насморк.

— Да, мама, — проямлила девочка.

Лекси выпрямилась во весь рост, с радостью отметив про себя, что она намного выше гостьи.

— Прошу прощения, но позвольте узнать, что вам здесь нужно?

— Честное слово, — дама вновь раскатисто засмеялась, — вы на голову выше остальных, не так ли? На сей раз ему повезло — такую отхватил, молодую да языкастую! «Что вам здесь нужно?» — передразнила она, взглянув на дочь, а та все смотрела на Лекси, разинув рот. — Где он вас подцепил? Не в какой-нибудь грязной забегаловке, как всех прочих, это уж точно. Вот, полюбуйся, моя хорошая, — вновь обратилась она к дочери, — на кого папа нас променял. — При этих словах ее безукоризненно накрашенное лицо скривилось.

Лекси в ужасе смотрела, как Глория — кто же еще? — выудила из сумочки платок и прижала к лицу.

Позади них хлопнула дверь, слышались шаги. Из задней комнаты вышел Иннес, на лице злая гримаса, устремился к ним.

Он встал рядом с Лекси, оглядел жену — шляпку, платок, слезы. Вынул изо рта сигарету.

— Что ты здесь делаешь, Глория? — процедил он.

— Не удержалась, пришла, — прошептала Глория, промокая платком глаза под вуалью. — Считаю меня дурой, но женщина должна знать такие вещи. Я должна была ее увидеть. И Марго тоже. — Она умоляюще заглянула в лицо Иннесу, но Иннес смотрел мимо нее, в пустоту.

Он кивнул девочке.

— Привет, Марго, — сказал он тихо. — Как дела?

— Хорошо, спасибо, отец.

Лицо Иннеса чуть дрогнуло, но он сделал шаг в сторону, чтобы лучше видеть дочь.

— Я слышал, ты перешла в другую школу. Ну и как?

Глория круто развернулась, задев темно-синей юбкой брюки Иннеса.

— Как будто тебе есть дело! — прошипела она и, не глядя на дочь, сказала: — Не отвечай ему, Марго. — Она и Иннес, очутившись лицом к лицу, сверлили друг друга злобными взглядами. — Ничего ему не рассказывай. Зачем, если он с нами так обращается?

— Глория... — начал Иннес.

— Спроси его, моя хорошая, — велела Глория и на глазах у потрясенной Лекси схватила дочь за руку и потянула вперед. — Спроси о том, ради чего мы пришли.

Марго, стыдясь поднять взгляд на отца, с каменным лицом уставилась в

пол.

— Спроси! — умоляла Глория. — Я не могу. — И снова слезы, прижатый к глазам платок.

Марго откашлялась.

— Папа, — начала она бесцветным голосом, — ты вернешься домой?

Рука Иннеса чуть дрогнула, будто он хотел поднести ко рту сигарету, но передумал. Он долго смотрел на девочку. Положил сигарету в пепельницу на столе Лекси, скрестил на груди руки.

— Глория, — начал он глухо, — твой спектакль совсем не к месту. И ни к чему впутывать Марго. Это никуда не...

— Спектакль? — взвизгнула Глория, вновь загородив собой дочь. — Что я, по-твоему, каменная? Думаешь, у меня нет сердца? На остальных — а их, признайся, было немало — я могла смотреть сквозь пальцы, но это! Это уже слишком. По всему городу сплетни ходят, знаешь ли.

Иннес вздохнул, сжал пальцами виски.

— О чем?

— О том, что ты с ней живешь! Что ты нас бросил и завел любовницу! Девчонку вдвое моложе тебя! И она живет в квартире, которая по праву принадлежит нам, нам с Марго. И когда ты должен быть с нами, с женой и ребенком...

— Во-первых, — невозмутимо начал Иннес, — ты прекрасно знаешь, тридцать четыре разделить на два — будет семнадцать. Она, по-твоему, выглядит на семнадцать? Во-вторых, ты прекрасно знаешь, я не уходил из семьи ради нее. Мы с тобой не живем вместе уже давно. Давай не будем делать вид, будто это не так. В-третьих, квартира не твоя. Тебе достался дом, дом моей матери, забыла? — а мне — квартира. Такой у нас был уговор. В-четвертых, Глория, какое тебе дело? Я не вмешиваюсь в твою жизнь. И ты, будь любезна, не вмешивайся в мою.

Во время этой тирады Лекси украдкой взглянула на Марго. Ее охватило странное чувство, будто они заодно — два свидетеля давнего спора. Когда их взгляды встретились, Марго не отвела глаз. Не дрогнула, не шелохнулась. Просто смотрела на Лекси не мигая, приоткрыв рот. Через секунду-другую Лекси не выдержала и перевела взгляд на Глорию — та, в съехавшей набок шляпке, выкрикивала что-то о нравственных устоях.

— Глория, — сказал Иннес ледяным тоном, не глядя на нее, — если бы не Марго, я нашел бы что ответить на твои упреки в непорядочности. И только ради нее, ради нее одной я сдерживаюсь.

Наступило недолгое молчание. Глория не открывала взгляда от мужа, слышалось ее дыхание. Странная картина, пришло в голову Лекси. Если бы

не речь, не слова, если бы не ребенок позади них, можно подумать, они пылают друг к другу не ненавистью, а страстью. Казалось, Иннес и Глория готовы заключить друг друга в жаркие объятия.

Первым не выдержал Иннес. В два прыжка подскочил к двери, рванул ее на себя.

— Думаю, тебе лучше уйти, — сказал он, глядя в пол.

Глория, прошелестев юбкой, обернулась, смерила Лекси прощальным взглядом, будто желая запечатлеть ее в памяти. Поправила прическу, шляпку, откашлялась и, схватив за руку дочь, бросилась вон из дверей, которые распахнул перед ней Иннес.

Он кивнул, почти поклонился девочке.

— Пока, Марго! Рад был тебя повидать.

Ответа не последовало. Марго Кент, потупившись, вышла следом за матерью.

Иннес захлопнул дверь, глубоко вздохнул, вернулся в комнату и с размаху пнул корзину для бумаг, вывалив содержимое на пол.

— Это, — сказал он будто бы про себя, — моя жена. Мое сокровище. Любо-дорого посмотреть, да? — Он налетел на стену, ударил по ней кулаком раз, другой. Лекси наблюдала в растерянности.

Иннес потряс рукой, подвигал пальцами.

— Ох, — удивленно простонал он, — черт!

Лекси подошла и принялась разминать его руку.

— Идиот, — сказала она.

Здоровой рукой Иннес притянул ее к себе.

— Почему идиот? Потому что по стене шарахнул? — прошептал он, уткнувшись ей в макушку. — Или потому что женился на этой фурии?

— И то и другое, — ответила Лекси. — Все сразу.

Иннес коротко обнял ее.

— Черт, — сказал он, — после такого тянет выпить. Что скажешь?

— Гм... — нахмурилась Лекси, — не рановато ли...

— Верно. Ну и к черту! Где-нибудь уже открыто?

— Нет, то есть...

— Который час? — Иннес глянул на часы, порылся в карманах. — «Карета и лошади»? Нет, в другой раз. Сунемся во «Французский паб». Согласна? К черту! — Он схватил Лекси за руку, распахнул дверь. — Пошли!

Они двинулись по Бэйтон-стрит, но в самом конце, на углу Дин-стрит, Иннес остановился, пошарил в карманах, ища сигарету.

— Пойдем к Мюриель, — буркнул он. — За ней должок.

— За что? — переспросила Лекси, но Иннес уже устремился вперед.

Минутой позже они уже сидели в уголке бара «Колония», Иннес допивал виски. Шторы были задернуты от дневного света, а на табурете у входа восседала Мюриель Белчер, обозревая свои владения. «Что сегодня с мисс Кент?» — встрепенулась она, когда в дверь влетел Иннес.

Лекси смотрела, как в аквариуме возле кассы кружатся разноцветные рыбки, и вновь и вновь выводила на липком столе свое имя, окуная соломинку в джин с тоником. У стойки сидел человек с широким, асимметричным лицом и на весь зал обменивался колкостями с другим, которого Иннес при встрече назвал Макбрайдом. В углу танцевал под граммофонную пластинку рослый красавец. За соседним столиком сидела старушка в потрепанном пальто, в окружении сумок, попивая виски, что купил ей Иннес.

— Ты ведь не приняла все всерьез? — спросил вдруг Иннес.

Соломинка замерла в руке у Лекси.

— Что?

— Ее актерство.

Лекси молча обмакнула в бокал соломинку.

Иннес потушил сигарету.

— Она на публику работает. Это же очевидно. Ее слезы и истерики — всего лишь игра. Она на все пойдет, лишь бы добиться своего. На меня ей плевать. Она просто не любит проигрывать. Не может смириться с тем, что я живу с тобой.

Лекси все молчала.

— На меня ей плевать, — повторил Иннес.

Лекси сделала глоток, джин обжег горло. Танцор сменил пластинку и, трясая головой, закружился под лихую мелодию.

— Не уверена.

— Ну а я уверен.

— А Марго?

Иннес, против обыкновения, молчал. Он схватил бокал перно и осушил залпом.

— Она не от меня, — сказал он наконец.

— Ты уверен?

— На все сто.

— Откуда ты знаешь?

Иннес встрепенулся. По губам скользнула улыбка, и он вновь опустил глаза, повертел в руке пустой бокал. Старушка, улучив миг, наклонилась через проход к их столику и потрясла перед носом у Иннеса жестяной

табакеркой.

— Простите за беспокойство, — произнесла она лукаво, свысока, — угостите стаканчиком?

Иннес со вздохом уронил в жестянку шиллинг.

— Пожалуйста, Нина. — И вновь обратился к Лекси: — Я не был дома два года, — объяснил он, — когда родилась Марго.

— Но она-то не знает, что ты ей не отец?

Иннес играл прядью волос Лекси — то заправлял ей за ухо, то высвобождал.

— Иннес, — допытывалась Лекси, отстраняясь, — зачем от нее скрывать?

— Она... — начал Иннес, но осекся. — Я всегда считал, что ей лучше не знать. Она ведь ни при чем. Если я от нее откажусь, она останется без отца. Даже плохой отец лучше, чем никакого, согласна?

— Не знаю. Честное слово, не знаю. Мне кажется, она должна знать правду.

— Ох... — Иннес, махнув рукой, встал и направился к стойке. — Вам, молодым, всегда правду подавай. Не так уж важна правда, как принято думать.

Брак Иннеса, по большому счету, так и остался для Лекси загадкой. Имя Глории он обходил молчанием, а если и упоминал, то с руганью и проклятиями, изобретая все более изощренные.

Лекси удалось выведать лишь голые факты. Что Иннесу было семнадцать, когда началась война, что его мать Фердинанда наотрез отказалась оставить дом на Мидлтон-сквер, хоть вокруг выли сирены воздушной тревоги. Иннес ходил в школу; Фердинанда оставалась дома с горничной Консуэлой. Чем они занимались? — спросила Лекси у Иннеса однажды вечером, когда приоткрылось окно в его прошлое. Вышивали узоры, ответил Иннес, и приукрашивали историю. В восемнадцать он уехал в Оксфорд, изучать историю искусств. В двадцать вернулся, его призвали в ВВС Великобритании.

Представьте двадцатилетнего Иннеса в синей саржевой форме на учениях в армейском лагере: он тренируется на аэродроме близ Лондона, вместо истории искусств — армейская муштра. Он источал несчастье, словно дурной запах. Он не был создан для ВВС, для войны.

Итак, вот голые факты. Но кроме них, есть всевозможные тонкости, целые пласты неизвестного. Лекси так и не узнала точно, как выглядел Иннес, когда впервые увидел Глорию, во что он был одет, сидел он, стоял

или шел.

Встретились они в галерее Тейт, проговорился однажды Иннес, во время его отпуска. Они смотрели картины прерафаэлитов, стояли напротив Беатриче с огненными волосами. Вообразите Глорию перед Беатриче. Одета она скромнее обычного (учтите, идет война): неброское пальтецо, на ногах — ботинки со шнуровкой, завитые волосы причесаны на косой пробор. На губах — алая помада. На шее, наверное, шарф. На плече крокодиловая сумочка.

Чувствовала ли она, что Иннес рядом? Видела ли, как он приближается украдкой? Отвернулась ли хоть на миг от картины, оглянулась ли? Наверняка Иннес сделал первый шаг. С чего он начал? С реплики о картине? Они разговорились, прошли в соседний зал; может быть, сверились с планом галереи. Может быть, выпили чаю с булочками в соседнем кафе. А потом, наверное, гуляли по набережной.

Спустя месяц они поженились. Иннес мялся и злился, если его спрашивали, почему, и любил ли он Глорию, и о чем думал тогда. Возможно, все мысли его занимала бойня в Европе, но Иннес не говорил. Он не любил признаваться в своих слабостях, выставлял себя бесстрашным, неуязвимым.

Фердинанда, мечтая в скором времени понянчить внуков, отдала молодым весь нижний этаж. Новоиспеченная невестка скрасит ее одиночество. Лекси не застала Фердинанду — та не дожила до старости, — но представим ее высокой дамой с тронутыми сединой волосами, собранными в пучок; вот она сидит наверху в доме на Мидлтон-сквер (комната роскошная, с окнами от пола до потолка, а из окон виден сквер, деревья, скамьи), кутаясь в шелковую шаль; Глория устроилась в кресле напротив, а Фердинанда просит верную Консуэлу налить чай.

Иннеса вскоре послали на аэродром в Норфолке. Спустя чуть больше недели его самолет сбили в Германии во время налета. Все погибли, кроме рядового Кента, двадцати одного года, — он раскрыл парашют, и его понесло пушинкой на вражескую территорию.

Впрочем, какая там пушинка! Полет был стремительный, страшный; холодный ночной воздух обжигал лицо; в раненой ноге застряли осколки фюзеляжа и черепа товарища, а Иннес, болтаясь на стропах, смотрел, как несутся навстречу верхушки деревьев.

Следующие два года, до конца войны, Иннес провел в лагере для военнопленных. Об этих годах он отказывался говорить, на какие бы уловки ни пускалась Лекси.

— Нечего тебе об этом слушать, — неизменно отвечал он.

— Но я хочу знать, — настаивала Лекси, однако Иннес не поддавался.

Известно лишь, что, когда Иннес вернулся на Мидлтон-сквер, Глория занимала весь дом. Фердинанда исчезла — ее поместили в дом престарелых при католической церкви. Консуэла затерялась в суете военного Лондона. Глория освободила дом от всего ненужного — одежду Фердинанды, фотографии, веера из страусовых перьев, шляпы, обувь спалила на заднем дворе. На траве так и осталось черное пятно. А еще в доме откуда-то взялись четырехмесячный ребенок и юрист по имени Чарльз. Когда Иннес открыл дверь своим ключом, на верхней площадке лестницы вырос Чарльз в халате отца Иннеса и строго спросил: вы кто такой?

Подробности разыгравшейся сцены остались тайной, но, как известно, на Иннеса в гнев находили приступы многословия. Наверняка последовали гневные речи Иннеса, рыдания и крики Глории, смущенные реплики Чарльза. В конце концов Глория согласилась жить отдельно, но развода не дала. Она оставила себе дом на Мидлтон-сквер и жила там с маленькой Марго. Откуда-то взялись деньги — сбережения Глории? — и Иннес поселился в квартире на Хэверсток-Хилл и взял к себе Фердинанду.

Настоящей жертвой этой истории была она. Когда Иннес ее разыскал, она его уже не узнавала. Глория сказала ей, что ее сын убит, погиб в ночном небе Германии. Здесь корень зла, корень ненависти Иннеса к жене. Что ею руководило? Лишь ей одной ведомо, да разве она скажет? Может быть, отчаялась дожидаться молодого мужа или влюбилась в этот просторный, роскошный дом. Может быть, Фердинанда докучала ей, была обузой. А может, Глория решила отделаться от нее, когда забеременела. Фердинанда вела календарь, вычеркивала дни разлуки с любимым сыном. Она ни за что не поверила бы в беременность длиной в полтора года. И от нее решено было избавиться.

Весть о смерти сына лишила Фердинанду рассудка. Иннес забрал ее из католического приюта и ухаживал за ней до самой ее смерти. Обращалась она с ним холодно, но неизменно учтиво. Называла его «молодой человек» и рассказывала о сыне, убитом на войне.

Присутствие Лекси в жизни Иннеса, видимо, мучило Глорию, — раньше, когда у Иннеса появлялись женщины, с ней не случалось ничего подобного. Она повадилась в редакцию — то рыдала, то требовала денег; звонила ему домой ни свет ни заря. Закатывала скандалы в подъездах, в ресторанах, в фойе театров, в барах, плакала и бранилась, а за ее спиной стояла бессловесная дочь. Все это происходило волнами: Глория то напоминала о себе дважды в неделю, то пропадала на несколько месяцев.

Потом появлялась снова, стуча каблучками по Бэйтон-стрит. Забрасывала Иннеса письмами, умоляя вспомнить о своих обязанностях. Иннес рвал письма в клочья и швырял в огонь. Одним летом, выходя по утрам из дома, Лекси то и дело встречала Марго — та сидела на заборе через дорогу. Марго никогда не подходила, не заговаривала с ней, а Лекси ничего не говорила Иннесу об их встречах. Однажды в метро, подняв взгляд от газеты, Лекси увидела Марго — та сидела напротив, держа на коленях школьный ранец, водянистые глаза в упор разглядывали Лекси.

Лекси встала, схватилась за поручень над головой.

— Чего ты добиваешься? — спросила она тихо. — Что тебе от меня нужно?

Девочка уже не смотрела в лицо Лекси, бледные щеки залились краской.

— Ничего ты не добьешься, Марго, — сказала Лекси. Поезд тряхнуло на повороте, и Лекси вцепилась в поручень, чтобы не упасть на Марго. — Моей вины здесь нет. Ты уж мне поверь.

Эти слова как будто задели Марго. Она снова посмотрела на Лекси, крепче прижала к себе ранец.

— Не верю, — ответила она. — Не верю я вам.

— Клянусь тебе, моей вины здесь нет.

Марго вскочила. Поезд подходил к станции «Юстон».

— Это все вы виноваты, — прошипела она. — Вы. Вы увели его от нас, и я вам отомщу. Отомщу, вот увидите.

Марго ушла, и они с Лекси долго не виделись.

* * *

Последние метров двести, свернув с шоссе, Тед бежит во весь дух. Ноги стучат по тротуару, локти ходят взад-вперед, взад-вперед, кровь пульсирует, легкие жадно хватают воздух. Он добегает до дома родителей, из-под ног летит гравий, с лица капает пот; перед тем как нажать кнопку звонка, он хватается за перила — вдох, еще вдох.

Мать долго не открывает дверь.

— Сынок, — она машинально подставляет щеку для поцелуя, но, заметив, что Тед в тренировочном костюме, тут же отступает, сморщив нос. — Может, сразу в душ?

— Нет, спасибо. — Тед встряхивается по-собачьи, откидывает волосы со лба. — Я на минутку. Зашел, потому что отец...

— Всю дорогу бегом? — спрашивает мать, ведя Теда на кухню.

— Ага.

— С работы?

— Угу.

— Не вредно ли?

— Почему вредно?

— Ну, из-за... — она пожимает плечами под кашемировым свитером, — из-за выхлопных газов. И для суставов нехорошо.

— При чем тут суставы?

— Говорят, бег трусцой — это удар по суставам.

Тед усаживается за стол.

— Мама, по всеобщему мнению, физкультура укрепляет здоровье.

— Гм, — сомневается мать, — не уверена. Может, все-таки в душ?

— Нет. Я ненадолго. Мне нужно домой.

— Полотенца у нас найдутся. Они лежат в...

— Знаю, мама, полотенца у вас найдутся, они замечательные, но мне нельзя задерживаться. Отец просил подписать какие-то документы — подпишу и пойду.

— Даже не поужинаешь с нами?

— Нет, не поужинаю.

— Ну хоть кофе-то попьешь. А бутерброд? С ветчиной и...

— Мама, я бы рад, но не могу.

— Заглянешь наверх, к бабушке? То-то обрадуется!

— Мама, — Тед потирает виски, — в другой раз, обещаю. А сейчас мне пора. Элина весь день одна...

— Бабушка тоже.

Тед тяжело вздыхает:

— Элина весь день одна с маленьким ребенком. Кормление не ладится, и...

— Вот как? — Мать отворачивается от кофемолки, лицо искажено тревогой. — Что стряслось? Что не так?

— Да пустяки. Он...

— Не ест? Теряет вес?

— Нет, здоров. Просто все время плачет, вот и все. Элина думает, это газы или колики.

— Колики? Это опасно?

— Нет, — заверяет Тед, — это у малышей сплошь и рядом. У меня, наверное, тоже в детстве были. Не помнишь?

Мать щелкает выключателем, и ее ответ тонет в шуме кофемолки.

— Что ты сказала? — Тед ерзает на стуле. — А вообще, знаешь что? Я просто воды глотну, очень пить хочется.

— Кофе не будешь?

— Нет, воды.

— С газом или без?

— Ты меня кормила грудью или?..

Мать открывает холодильник:

— Тебе с газом или без?

— Все равно. Без разницы. Хоть из-под крана. Не знаю, зачем вообще ты купаешь эту хрень в бутылках.

— Тед, не выражайся.

— Так ты меня кормила?

Мать, стоя к нему спиной, ищет стакан в шкафчике под потолком.

— Что?

— Ты меня кормила грудью?

— Тебе с лимоном?

— Да, пожалуйста.

— Со льдом?

— Можно со льдом. Все равно.

Мать, оставив стакан, шарит в морозильнике.

— Просила отца наполнить контейнеры для льда — наверняка забыл. — Она выуживает замороженную рыбину, а следом — прозрачную пластиковую коробку. — Вот один, — бормочет она, — ясное дело, пустой, но где же второй?

— Ладно, мама, не ищи. Я и так попью.

— Каждый раз его прошу, а он как будто не... Ага! — Мать победно поднимает контейнер со льдом. — Я клевету на бедного отца — а тут, нате вам, лед! — Она бросает в стакан Теда три кубика, те раскалываются от удара. Спрятав в морозильник рыбину, мать подает Теду стакан.

— Спасибо. — Тед жадно пьет. — Так ты меня кормила грудью?

Мать садится за стол напротив Теда, качает головой, недовольно морщится:

— Нет, не кормила. Все время были бутылочки. — Мать снова вскакивает. — Куда же я дела бумаги?

— Странно, — рассуждает Тед, пока мать ищет документы под стопкой газет на стуле, — сейчас говорят, грудное вскармливание укрепляет иммунитет. А Элина твердит, что никого здоровее меня не встречала. А если ты меня не кормила грудью, то и всей теории грош цена, ведь верно?

Мать заглядывает в буфет, хлопает дверцей.

— Они точно где-то здесь, сегодня их сюда положила, но куда... — И, рванувшись вперед, хватает стопку белых листов. — Вот! Я так и знала,

что они где-то здесь. — Она кладет стопку перед Тедом.

— Что это вообще такое?

— Отец что-то затеял.

— Да, а поточнее? — Тед, допив воду, берет из стопки верхний лист.

— И не спрашивай, сынок. Отец меня в эти дела не посвящает. Доверительный фонд какой-то. Для малыша. Какие-то деньги от государства или что-то в этом духе.

— Он хочет открыть для малыша доверительный фонд?

— Кажется, да. Знаешь ли, мы оба беспокоимся иногда. Особенно сейчас, когда у вас ребенок.

— О чем беспокоитесь?

— Видишь ли... Ваш с Элиной доход такой...

— Какой?

— Ненадежный.

— Ненадежный?

— Не совсем так. Непостоянный. То густо, то пусто. И мы решили отложить немного для малыша, на всякий случай.

— Ясно, — бормочет Тед, сдерживая улыбку. Так и подмывает спросить: что за «всякий случай»? — Спасибо вам большое. Есть у тебя ручка?

Мать протягивает авторучку. Тед расписывается в графе «Согласен».

Уже у дверей мать все твердит про душ, про полотенца, про бабушку.

— Прости, — Тед чмокает ее в щеку, — я побежал.

— Бегом до самого Госпел-Оук?

Тед, пятясь, машет рукой.

— Нет, на автобусе.

— На автобусе? Я тебя подвезу. Зачем на автобусе? Я тебя подброшу, а заодно взгляну на...

— Пойду на остановку. — Тед на ходу машет рукой. И вдруг замирает.

Мать, придерживая дверь, смотрит на него.

— Что с тобой?

— Помнишь... — начинает Тед, но умолкает, задумавшись. — К нам однажды заходил какой-то человек. А ты... прогнала его, если не ошибаюсь. Да, прогнала.

— Когда?

— Давным-давно. Когда я был маленький. Он был в коричневом пиджаке. Взъерошенные волосы. Я был наверху. Вы о чем-то спорили. Ты сказала — я помню, — сказала: «Нет, мы не можем вас принять, вам придется уйти». Помнишь?

Мать решительно трясет головой:

— Нет.

— Кто бы это мог быть? Он все оглядывался на дом. И махал мне. Забыла?

Мать, отвернувшись, проводит рукой вдоль двери, словно проверяет, не облупилась ли где краска.

— Совсем не помню, — отвечает она, не глядя на Теда.

— Он помахал мне, будто...

— Наверное, коммивояжер. От них тогда отбоя не было. Ну и бесцеремонный народ! — Мать поворачивается к Теду, обнажив зубы в улыбке. — Вот самое подходящее объяснение.

— Да.

— Пока, сынок! Увидимся! — Она захлопывает дверь, и Тед шагает прочь.

Элина не слышит, как щелкает в замке ключ Теда: малыш снова кричит, сунув в рот кулачок, уткнувшись ей в шею. Она нарезает круги по гостиной особой походкой — вприпрыжку, высоко поднимая ноги, точно бредет по сугробам или шагает по Луне. За последний час малыш прикладывался к груди дважды по полминуты — начинал жадно, но тут же с криком бросал грудь. Уж не заболел ли? Или что-то не то с молоком? Испортилось? Что-то не так с малышом? Или с ней?

Элина находит взглядом на диване справочник. Книгу она купила по совету продавщицы — та сказала: «Здесь все о детях». Элина уже прочла раздел про газы, про плач, про колики, про трудности грудного вскармливания, про настроение ребенка, но ничего полезного не нашла.

Она берет малыша поудобнее — теперь он лежит на ее руке, головку она придерживает ладонью, а свободной рукой поглаживает малыша по спинке. Малыш принимает новую позу серьезно, сосредоточенно морщит лобик, будто говорит: согласен, давай попробуем, вдруг поможет? «Лассе, — перебирает про себя Элина, глядя на пушистую головку, — Арто, Паарво, Нильс, Стефан». Как выбрать имя ребенку? На чем остановиться? Какое имя ему идет — Петер, Себастьян, Микаэл? А может, Сэм, Джереми, Дэвид? Держа малыша на руках, она чувствует кожей, как у него в животе что-то бурлит, сокращается, и так поглощена этим, что, подняв голову и увидев в темном окне двойной силуэт чьего-то лица, вскрикивает, крепче прижав к себе ребенка, чтобы не уронить.

Тед в спортивном костюме заходит в комнату, швыряет на диван ключи и криво усмехается:

— Нечего сказать, радостно ты меня встречаешь.

Малыш, испуганный криком Элины, опять плачет, но уже по-новому, с удвоенной силой.

— Ты меня напугал, — говорит Элина сквозь шум одними губами.

— Прости, — отзывается Тед, тоже одними губами. — Как у вас дела?

Элина пожимает плечами.

— Дашь его мне?

Элина, кивнув, протягивает ему ребенка. В онемевших руках странная легкость — как в той игре, когда долго-долго стоишь, прижав ладони к дверному косяку, а как шагнешь назад, руки сами взмывают в воздух.

Рухнув на диван, Элина закрывает глаза, роняет голову на низкие подушки. Две-три секунды забытья — и вот кто-то коснулся ее руки.

— По-моему, он хочет есть. — Тед протягивает ей ребенка. — Может, пора его покормить?

— Да черт возьми! — кричит Элина, задирая блузку и придерживая ее подбородком, возясь с застежкой бюстгалтера, поудобнее пристраивая малыша, который размахивает кулачком возле ее набухшей, горячей груди. — А чем я, по-твоему, занята уже час?

Тед смотрит на Элину, ошарашенный ее внезапной вспышкой. Он набирает побольше воздуха, прежде чем заговорить.

— Я же не знал, — отвечает он с расстановкой, извиняющимся тоном. — Я только что зашел.

Малыш чуть не выскальзывает из рук Элины, пыхтит и корчится от нетерпения и голода; Элина все бы на свете отдала, лишь бы прилечь, попросить у Теда прощения, освободиться от жгучего, будто раскаленного, молока и чтобы кто-то принес воды, ободрил ее, успокоил. Малыш неуверенно смотрит на грудь, захватывает сосок, и Элина корчится от боли. Чуть подумав, малыш начинает сосать, деловито, двигая зрачками, словно читая в воздухе невидимые строки.

Элина понемногу расслабляет плечи, взгляд устремлен вперед. Тед сидит напротив в кресле, положив ногу на ногу, хмурится. Элина нерешительно улыбается ему, но вдруг замечает, что смотрит он не на них, а куда-то вдаль, в одну точку, и опять у него тот же странный, рассеянный взгляд.

— Что с тобой?

Тед моргает, ищет ее глазами.

— А?

— Что — с — тобой?

Тед, встряхнувшись, отвечает:

— Все хорошо. А что?
— Да ничего. Просто проверяю.
— Лучше не надо.
— Что не надо?
— Без конца проверять. Спрашивать, что со мной.
— Почему?
— Надоело. Устал повторять, что все хорошо.
— Надоело? — переспрашивает Элина. — Забота моя надоела?
Тед решительно встает.
— Сбегаю в душ, — бормочет он уже на ходу.

Они лежат на кровати втроем, Элина глядит в потолок, малыш спит между отцом и матерью, разметавшись во сне.

— Интересно, — спрашивает Тед, — с какого возраста он начнет себя помнить?

Элина поворачивается к нему. Тед, приподнявшись на локте, глядит на малыша.

— Это у всех по-разному, — отвечает Элина. — Лет с трех-четырёх.

— С трех-четырёх? — Тед изумленно поднимает брови.

Элина улыбается:

— Про тебя я молчу, мистер Амнезия, речь о нормальных людях с нормальными мозгами.

— Что значит нормальный мозг, мисс Бессонница?

Элина будто не слышит:

— Я помню, как родился мой брат...

— Сколько тебе тогда было?

— Хм... — Надо подумать. — Два. Два года пять месяцев.

— Правда? — Тед искренне удивлен. — Ты помнишь себя с двух лет?

— Ага. Но это как-никак большое событие — рождение брата. Это всякий запомнит.

Тед берет в ладонь ножку малыша.

— Только не я.

— Я читала, у кого есть младшие братья и сестры, у тех и память лучше — более тренированная, что ли. Им легче припоминать события.

— Так вот, значит, в чем дело! — Тед улыбается и, выпустив ножку малыша, откидывается на кровати, руки за голову. — Прекрасное оправдание для моей дырявой памяти. Я же единственный ребенок.

Элина смотрит на Теда, видит линии загара на руках, белый след от часов, мускулы на ногах, темные волосы на груди, вокруг пупка. Ночь

жаркая, и Тед лег спать в одних трусах. Странное дело, он совсем не изменился, а ее не узнать.

Тед продолжает:

— С тех пор как он родился, я смотрю на вас и почти вспоминаю свое детство. Почти, но не совсем. Мне вспомнился один эпизод — не радуйся, совсем пустячный, — вспомнилось, как я шел по дороге и меня держал за руку кто-то высокий, в зеленых туфлях — знаешь, на каблуках, не на шпильках, а на толстой подошве.

— На платформе?

— Да. В зеленых, на деревянной платформе.

— Правда? А еще что?

— Все. Просто вспомнил, как рука была высоко-высоко над моей головой.

— Только не говори мне, — Элина переворачивается на другой бок, кладет ему руку на грудь; Тед тут же берет ее ладонь в свои, — что у тебя улучшается память. Может такое быть?

— Судя по всему, да. — Тед подносит к губам руку Элины и рассеянно целует. — Бывают чудеса на свете.

* * *

Однажды вечером Лекси осталась в редакции одна. Иннес куда-то исчез, бросив на ходу, что должен посмотреть в чьей-то студии новый триптих, а Лоренс ушел в «Мандрагору». Лекси твердо решила не уходить, пока не вычеркнет двести слов из довольно пространной статьи о Джордже Баркере.^[10] Зажав в зубах синий карандаш, она склонилась над машинописной страницей.

«Характерная особенность, самобытное звучание, индивидуальность поэзии Баркера...» — прочла она. К чему здесь «особенность» и «звучание»? А «индивидуальность»? Разве «самобытное звучание» и «индивидуальность» — не одно и то же? Лекси вздохнула, грызя карандаш, чувствуя привкус свинца и дерева. Она перечитывала статью столько раз, что фразы утратили смысл, знакомые слова уже ничего не значили. Лекси занесла карандаш над «индивидуальностью», потом над «самобытным звучанием», снова отложила и, вздохнув, наконец решила: вычеркну «индивидуальность», слово-урод, потому что оно...

Скрипнула дверь, и вошла Дафна, отряхивая мокрые от дождя волосы, плащ.

— Боже! — воскликнула она. — Ну и погодка! — Она огляделась. — В чем дело? Где все? Ты одна?

— Да, — кивнула Лекси. Она и Дафна смотрели друг на друга через стол. Лекси отложила синий карандаш, снова взяла. — Разделаюсь с работой и...

Дафна подошла, заглянула ей через плечо.

— Рецензия Венейблса? Рукописи у него — сам черт ногу сломит. Ума не приложу, почему Иннес с ним работает. Одно у него достоинство — дешевизна. Здесь нет подлежащего, — Дафна ткнула обкусанным ногтем во второй абзац, — а здесь слово «стансы» два раза в одном предложении. Халтурщик. Не знаю, проверяет ли он вообще свою писанину.

Дафна под села к Лекси, и та, краснея под чужим взглядом, стала править предложение без подлежащего.

— Но то, что тебе это поручили, говорит о многом, — заметила Дафна.

Лекси посмотрела на Дафну — накрашенные губы задумчиво поджаты, на большом пальце зеленое кольцо.

— Ты так думаешь?

Дафна грызла ногти.

— Гм, если он дает тебе править чушь Венейблса, значит, высоко ставит твои способности.

На Лекси вдруг накатила усталость, она зевнула.

— С чего бы? — вздохнула она. — Я уже не верю в свои способности.

Дафна выхватила у нее карандаш.

— Пойдем, — скомандовала она, — хватит. Не мешало бы пропустить по стаканчику, и тебе и мне.

— Я еще не все, — воспротивилась Лекси. Так оно и было, вдобавок она никогда еще не проводила вечера наедине с Дафной и не была уверена, хочет ли. — Мне еще сто тридцать слов осталось вычеркнуть. Я обещала Иннесу...

— Да наплюй ты на Иннеса! Сам-то он чем занят — наверняка виски хлещет с Кохун. Пошли отсюда.

Сунулись во «Французский паб» — любимое местечко Дафны, — но он был битком набит.

— Сто лет придется ждать свободного столика, — буркнула Дафна, глядя на столпотворение с другой стороны улицы.

Хотели податься в «Мандрагору», но передумали. У входа в бар «Колония» Мюриель Белчер пригвоздила их к месту сердитым взглядом.

— Извините, вход только для членов клуба, — проскрежетала она.

Дафна вынула изо рта сигарету:

— Да ладно, Мюриель, всего разок.

— Сдается мне, вы, дамочки, не члены клуба.

— Ну пожалуйста, — взмолилась Лекси, — уже поздно. Все забито. Мы ненадолго. Обещаем не скандалить. Угостим вас стаканчиком.

— А где мисс Кент пропадает?

— С Кохун, — ответила Дафна.

Мюриель подняла бровь, глянула на Лекси:

— Ясно. Ходит налево? Ах она такая-сякая!

— Э-э... — замялась Лекси, не уловив намека, — он...

Дафна поспешила на выручку.

— Скорее небо на землю упадет, — заметила она вскользь.

— Что ж, вам двоим виднее, — хихикнула Мюриель. — Вам лучше знать.

— Так можно войти? — сказала Дафна. — Ну пожалуйста! — И подтолкнула Лекси почти вплотную к Мюриель. Лекси подалась назад, чтобы не упасть на колени к хозяйке бара. — Она работает у члена клуба. — Дафна снова ткнула Лекси в бок; Лекси больно наступила Дафне на ногу. — Разве это не в счет?

Мюриель смерила обеих взглядом.

— Так уж и быть, в виде исключения. В другой раз не пушу без вашего пупсика.

— Без какого пупсика? — прошептала Лекси, пробираясь между столиками.

— Это она про Иннеса, — шепнула в ответ Дафна.

Слово это до того не вязалось с Иннесом, что Лекси не удержалась и прыснула.

— Почему «пупсик»? И почему она его зовет «мисс Кент»?

— Тсс, — Дафна схватила ее за руку, — решит еще, что ты над ней смеешься. И вышвырнет нас.

Лекси давилась от смеха.

— Правда вышвырнет?

— Ради бога, — простонала Дафна, — ты и выпить-то не успела. Она всех мужчин зовет «она». Заметила?

— Но почему?

— Кто ее знает, — нетерпеливо проговорила Дафна. — Ну, — сказала она уже у стойки, — что будем пить? Джин? У меня денег нет — а у тебя?

Они заняли столик возле стойки, втиснувшись между человеком в засаленном кожаном пиджаке, двумя парнями (у одного на плече была красивая лакированная сумка) и старушкой, частой гостьей бара.

Лекси пододвинула Дафне стакан с джином, помешала свой, звеня соломинкой, и со словами «До дна!» выпила залпом. В горле запершило, на глазах выступили слезы.

— Уфф, — выдохнула Лекси, — ох... Еще по одной?

Дафна смерила ее взглядом, отхлебнула.

— Ты ничего не делаешь вполсилы, да, Лекси Синклер?

Лекси вынула из бокала кубик льда, сунула в рот.

— То есть как?

Дафна дернула плечом:

— Ты во всякое дело бросаешься с головой.

— Правда?

— Еще бы. — Дафна задумчиво посасывала соломинку. — Ясно, почему вы с Иннесом... как бы это сказать... хорошая пара. Он сам такой.

Лекси захрустела кубиком льда, взглянула на Дафну, на ее руку с зеленым кольцом на большом пальце, гладкий лоб, пухлые губы, поднесенный ко рту бокал. На миг она вообразила Иннеса в постели с Дафной, представила, как его руки и губы ласкают ее кожу, волосы, увидела их губы в поцелуе. Лекси проглотила кусочки льда, глубоко вздохнула. Дальше нельзя тянуть; если они с Дафной будут и дальше общаться, надо высказаться.

— Прости, — начала она, — если я... ну... тебе помешала или... или... перешла дорогу. Вам с Иннесом... я никогда не...

— Да брось ты, — Дафна махнула рукой, будто отгоняя муху, — не за что извиняться. Иннес и я... нам вместе было удобно, только и всего. А у вас все по-другому. У вас все иначе, разве не так? С первого взгляда видно. — Дафна весело улыбнулась — сразу было заметно, что разговор ей по душе. — С тех пор как он тебя встретил, он стал другим человеком.

— И я стал другим человеком, — вставила Лекси. — То есть не стал, а стала. — И вновь на нее нашел безудержный приступ смеха. Вид бара «Колония» — и парень с лакированной сумкой, и старушка, позвякивающая мелочью в табакерке под носом у человека в кожаном пиджаке, и рыбки за мутным стеклом аквариума, и Мюриель, орущая на незадачливого посетителя «Раскошеливайся!», и смутно знакомый художник в обнимку с девицей в малиновом платье в обтяжку, — все это настолько не вязалось с ее воспитанием, что ее невольно разбирал смех.

— Смешинка в рот попала?

— Не знаю, — выдавила Лекси. — Не знаю. Иногда странно подумать, что совсем недавно я жила в Девоне.

— Что? — Дафна недоуменно уставилась на нее. — А Девон-то тут при

чем?

— Ни при чем! — Лекси перегнулась через стол. — Просто так!

Дафна взяла сигарету, зажгла, помахала в воздухе спичкой.

— Ну и чудачка ты, Лекси. — И хлопнула по столу: — Ну что, еще по одной? Дикин! — крикнула она через стол человеку в кожаном пиджаке. — Одолжи пару шиллингов, будь другом! Знаю, у тебя деньжата водятся.

Дикин нехотя повернулся, скривив рот.

— Да пошла ты, — процедил он. — Пей на свои.

Редакция «Где-то» ныне превращена в кафе. Или бар, называй как хочешь. Вывеска над входом гласит: «КАФЕБАР „ЛАГУНА“» — выбирай на вкус. Иннес придрался бы к безграмотной вывеске. Надо писать: «КАФЕ/БАР», настаивал бы он, или «КАФЕ, БАР», или уж хотя бы «КАФЕ-БАР».

Как бы то ни было, теперь там дощатый пол, низко висящие светильники, темно-синие обои, свечи на столиках, диваны в глубине зала. Всюду разбросаны книги и журналы, в их числе, по иронии судьбы, «Лондонские огни». Журнал «Где-то» переименовали в «Лондонские огни» — на редкость неудачно. Но тогдашним читателям, в начале шестидесятых, старое название казалось «заумным». Теперь журнал, разумеется, не узнать. Он вчетверо разбух, нашпигован рекламой, биржевыми сводками, скандальными интервью с телезвездами. На критику в чистом виде отведено крайне мало места. Не так давно с постановкой «Медеи» в Национальном театре разделались рецензией в сотню слов.

Есть в «кафе-баре» столик перед входом, а у окна — там же, где было рабочее место Лекси, — бывший кухонный стол в чернильных пятнах и следах от ножей. Дверь уже другая, но в сырую погоду тоже разбухает. Камин, который Иннес забил досками, — зимой из него страшно сквозило — хозяева кафе открыли, вычистили, отреставрировали. Как все меняется! Теперь это уже не камин, а скорее алтарь, туда ставят свечи. Алтарь неведомого божества. Часть полок — неумело повешенных Лоренсом и Лекси однажды в выходной, еще в шестидесятом, — как ни странно, дожила до наших дней. Там хранятся книги, а в глубине стоят вверх дном бокалы, только что из посудомойки. Бывший чулан Иннеса, где стоял диван, хранились картины и всякая всячина, служит теперь кухней. Здесь жарят на решетке панини,^[11] мешают хумус,^[12] раскладывают в вазочки оливки — кухня в «Лагуне» средиземноморская, а повара и официанты — боснийцы, поляки, австралийцы. Иннесу бы здесь понравилось.

Окно, возле которого стоит столик на месте бывшего стола Лекси, выходит на Бэйтон-стрит. День не по-июльски холодный; все затянуто серой пеленой косога дождя, капли стучат по асфальту, стекают по стеклам. Столики на тротуаре пусты, в одиноком забытом бумажном стаканчике из-под кофе вода. Официантка-австралийка — «бариста», как гласит ее нагрудный значок, — поставила старую пластинку Эдит Пиаф. Перевалило за полдень, только что схлынул обеденный поток посетителей. За столиком на месте письменного стола Лекси сидит Тед.

Здесь он, можно сказать, завсегда. Киностудия за углом, на Уорддор-стрит. Он обедает, ест панини с козьим сыром и красным перцем. Он слушает Эдит, тихонько отбивая такт, и деревянная столешница отзывается. Взгляд его будто прикован к месту, где когда-то висела пробковая доска Лекси — мешанина записок, черновиков, корректур, открыток, слайдов, лишь ей одной понятная. Нет, на самом деле Тед просто смотрит на дождь.

«Малыш ночью без конца просыпался», — рассказывает он, объясняя свой помятый вид. На нем свитер с потертыми манжетами, воротник рубашки съехал набок.

— Пора, черт возьми, дать ребенку имя, — горячится его спутник Симми. — До каких пор ему зваться «малышом» — до университета?

Тед улыбается, пожимает плечами, воротник еще сильнее съезжает набок.

— С чего ты взял, что он пойдет в университет? — Он откусывает большой кусок.

Симми хмурится:

— Ты меня прекрасно понял. Какого черта...

— К твоему сведению, — перебивает Тед, прожевав кусок, — мы вчера вечером выбрали имя.

— Да неужели? — Изумленный Симми отставляет стакан, чтобы не уронить. — Ну и какое?

Тед делает знак: рот занят.

— Нечто финское, язык сломаешь? — допытывается Симми. — Семь гласных друг за другом? Или длиннющее, Джеймс Джеймс Моррисон Моррисон Ктототам Джордж Такой-то? Или Тед? Тед Второй?

— Иона, — отвечает Тед.

Симми раздумывает.

— Как в Библии, с китом?

— Ага.

— Понимаешь, — говорит Симми, — что его будут всю жизнь

дразнить?

— Почему? Из-за кита?

— Ну да.

Тед вновь пожимает плечами:

— Ничего, привыкнет. Всякое имя с чем-нибудь да связано. Главное, ему идет. Да и мне нравится имя Иона...

— Еще бы, — перебивает Симми, — ты же сам выбрал.

— Вдобавок, — продолжает Тед, пропустив его слова мимо ушей, — хорошо звучит и по-английски, и по-фински. Иона по-фински произносится «Юона». Или «Юорна». Примерно так.

— Юорна?

— Что-то вроде.

— Не сказал бы, что хорошо звучит.

— Сим, — отвечает Тед добродушно, — тебя и не спрашивают.

Они продолжают есть молча. Тед опять барабанит по столу, и стаканы, ножи, чашки с блюдцами позвякивают в такт.

— Мне нравится, — бормочет с набитым ртом Симми. — Хорошее имя.

— Спасибо.

— Как там Элина?

Барабанная дробь стихает. Тед тербит салфетку, сворачивает и разворачивает.

— Ничего. — И, не договорив, хмурится. — Она... вымоталась.

Симми склоняет набок голову:

— Еще бы.

— Бросить бы к чертям этот фильм, взять еще отпуск, но...

— Неужто некому перепоручить часть работы?

Тед чешет в затылке, зевает.

— У меня контракт. Вдобавок клиент — большая шишка. Вряд ли ему понравится, если его работу сбудут с рук на руки. Мне не отвертеться. И малыш родился раньше срока, и все такое... я ей без конца советую связаться с группой.

— Что за группа?

— Как бы тебе объяснить... Группа поддержки, или как ее там... Школа молодых мам. При больнице. Встречаются раз в неделю, что ли. А Элина ни в какую.

— Почему?

— Не знаю. — Тед бросает на тарелку салфетку. — Говорит, ей тяжело в группах, и все такое.

— Может, и вправду тяжело. Не очень-то представляю Элину в группе — она, скорее, одиночка.

— И, говорит, Иону туда не взять — кричать будет без конца. — Тед снова хмурится. — У него колики, и кормить его она может только дома. Он визжит, брыкается, и ей остается только... сам понимаешь... ждать, пока успокоится, а он может и час кричать. — Тед переводит дух. Приятели смотрят друг на друга.

— Понял, — кивает Симми. — Может, зайду к вам. В выходные.

— Воспитанные люди, вообще-то, спрашивают разрешения: «Можно к вам?» А не как ты: «Я зайду».

— Я не спрашиваю твоего разрешения. Я не к тебе иду, а к Элине. И к недавно нареченному Ионе. А ты можешь катиться ко всем чертям.

Тед ухмыляется:

— Ясно. — И смотрит на часы: — Мне пора. — Он встает, бросает на стол какие-то листки. — Извини, Сим. Увидимся. — И уходит.

Идет он своей всегдашней быстрой походкой, чуть подпрыгивая, ноги отталкиваются от тротуара. На ходу достает телефон, звонит Элине. «Привет... Ага... Как ты? Как Иона? Поел?.. А-а. Вот как? Плохо. Прости. Ну, может... Ясно. Ладно... Только что виделся с Симми. Да. Сказал ему про имя. Он говорит... А-а. Ладно. Перезвоню чуть позже». Тед захлопывает крышку мобильного и заходит в студию. В лифте он смотрит, как меняются на табло номера этажей, а дойдя до своего кабинета, падает в кресло. Перебирает бумаги на столе, вставляет за ухо ручку и снова кладет на стол; прикладывается к бутылке воды, ставит поудобнее кресло, несколько раз встряхивает правой рукой. И наконец берется за работу.

Перед ним два экрана, на обоих — застывшая картинка: человек на самом краю крыши, вот-вот сорвется.

Тед двигает мышкой, нажимает на кнопки — рука слегка дрожит, — и фильм разворачивается, кадр за кадром, точно в замедленной съемке. Ноги человека отрываются от кромки крыши, он летит вниз головой, хрупким черепом навстречу земле, руки чертят в воздухе круги, одежда хлопает на ветру, лица не видно, но легко представить его выражение — немой крик ужаса, — и продолжается страшный полет, и нет парашюта, не дернет он за кольцо, не раскроется над ним спасительный шелковый купол; он летит вниз головой, размахивая руками, как ветряная мельница, навстречу беспощадной земле.

Тед снова двигает мышкой; щелчок — рука трижды дрогнула, — и падение остановлено, человек висит над самой дорогой. Теперь, под другим углом, можно разглядеть его лицо — свирепый оскал, глаза

закрыты, — и спас его Тед. Снова щелчок, перемотка назад, героя тащит в воздух, все выше, выше, выше, прочь от земли, и вот он снова на крыше, разговаривает с другим — громилой, что столкнул его, — опасное это дело, затевать разговоры на крышах небоскребов.

Тед перематывает вперед-назад, смотрит под разными углами. Человек то шагает к краю крыши, то отступает. Вперед, навстречу гибели. Назад, к верзиле. Вперед, назад. Упадет он или останется на крыше? Разобьется или нет? Если разобьется, то сегодня или завтра? Судьба его в руках Теда.

Но Тед сейчас не настроен вершить чью-то участь. Он зевает, трет глаза, откидывается в кресле. Снова щелкает мышью, и фильм прокручивается назад. Тед, глядя на экран, массирует левую руку, опять зевает, смотрит на стенные часы — скоро придет режиссер, просмотреть эпизод. Тед, хмурясь, выпрямляется в кресле. В верхней части экрана что-то мелькнуло на долю секунды. Тед водит мышкой, прокручивая сцену взад-вперед, кадр за кадром. Туда-сюда.

Есть! Поймал! Так он и знал! Черная точка в кадре. Часть техники, свисающий провод, чей-то палец — неважно что. Главное, Тед заметил и стер: пара щелчков — и готово.

Довольный собой, Тед откидывается в кресле. Он не терпит грязных кадров, ни одного старается не пропустить. Его снова одолевает зевота. Тед похлопывает себя по щекам, раз, другой, третий. Надо взбодриться до прихода режиссера, выпить кофе, перезвонить отцу — может, чуть позже, — надо...

Неизвестно почему вдруг вспоминается отец. Как он тащит его, маленького, по улице за руку. Тед еле перебирает ногами, подгибает их, как капризные дети, и вопит: «Не хочу-у-у-у!» Как капризные дети. А отец? Говорит: «Надо, пошли, не капризничай» — как обычно говорят отцы. Наверное, ведет Теда куда-то без мамы: Тед узнает чувство, давно забытое, беспредельную тоску по маме, настойчивую потребность увидеть ее, вернуться к ней, вцепиться в стальной поручень и плакать, пока она не услышит и не придет за ним.

Тед смотрит на экран, где темным ангелом парит киногерой. Потом — на репродукцию Элининой картины. Трясет онемевшей рукой, в нее будто впились тысячи игл — не пора ли опять к врачу? — и встает. Смотрит на свои руки, на большой палец со шрамом, на клавиатуру телефона. Снимает трубку. Надо перезвонить отцу. Или еще раз набрать номер Элины, узнать, все ли в порядке. Но Тед не набирает ничей номер. Он сидит за столом, прижав к уху трубку, и слушает гудки, монотонные, успокаивающие, как шелест листьев на ветру, как шорох волн по прибрежной гальке.

Звонок в дверь, еще звонок. Элина в гостевой комнате, складывает детскую одежду: кофточки, костюмчики, носочки — крохотные, будто игрушечные.

— Тед! — зовет она. — Тед!

Тед не откликается. В дверь звонят и звонят. Отбросив кофточку, Элина идет открывать.

За дверью стоит Симми.

— Малышка Мю, — говорит он, — я приехал вас похитить!

Элина смеется. Как тут не смеяться? Симми в соломенной шляпе и широченной рубашке, разрисованной цветными шезлонгами.

— Вид у тебя... даже не знаю... будто тебе сейчас на сцену, в мюзикле выступать, — замечает Элина.

Симми отвечает, широко раскинув руки:

— Вся моя жизнь — мюзикл. Ну же, едем!

— Куда?

— Далеко. Живей, живей. — Симми позвякивает ключами от машины. — Времени в обрез.

— Но... — Элина собирается с мыслями, — куда мы едем?

— Говорю же, далеко. Где твой муженек, дома?

— В саду с малышом.

— С Ионой, — строго поправляет Симми и, шагнув в прихожую, шарит среди одежды на вешалке. — Все «малыш» да «малыш», пора бросать эту привычку. Я же тебя не называю «женщина»! — Симми протягивает Элине жакет и панаму.

Элина нехотя берет их и опускается на нижнюю ступеньку крыльца.

— Что ты затеял, Сим?

— В этом доме сумки нормальной нет? — спрашивает Симми все так же строго, хватая зеленую кожаную сумочку со множеством молний и отбрасывает прочь. — Настоящей, вроде чемодана. Для вещей.

— Для каких вещей? — переспрашивает Элина, пока Симми обшаривает вешалку.

— Для детских. Для подгузников и всякой ерунды. Сама знаешь. Клетчатое уродство, которое берут в дорогу.

Элина указывает на парусиновую сумку у дверей.

— Вот эта? — Симми тычет в нее носком туфли. — Шутишь? В такой сумке моя мама хранит комбикорм. — Он открывает сумку. — Гм. Ну-ка, глянем. Подгузники, — перечисляет он, — раз. Вата — два. Салфетки — три. Маленькие белые штучки — четыре. Что еще нам нужно?

— Сим, я не могу просто так, ни с того ни с сего...

— Бутылочки. Как насчет бутылочек? Не нужны?

— Нет. — Элина указывает на свою грудь. — Я...

— А-а, — Симми морщит нос, — понял. Ты все сама. Тебе их и нести. Где Тед? Тед! — вопит он. — Ну же, поехали!

Поехали! — думает Элина, когда они мчатся с ветерком на машине Симми вдоль людных улиц, мимо ребятишек на велосипедах, мимо стаек подростков, мимо цветущих деревьев. Это ее любимое слово. Поехали! Будто зов из той, прошлой жизни, сплошь состоявшей из приездов и отъездов. Теперь она будто приросла к месту, как ракушка, — привязана к дому и окрестным улочкам. Поехали!

Она держит в ладони кулачок Ионы. Малыш сидит в автокресле, таращит глазки. Он, видимо, так же потрясен, как и Элина, столь неожиданным выходом в свет. Впереди сидят Тед и Симми, спорят, какой диск поставить. Соломенная шляпа теперь на затылке Теда, а Симми одной рукой держит руль, а другой зажимает щель проигрывателя, чтобы Тед не вставил свой диск. Оба смеются, а в открытые окна машины задувает теплый ветерок.

Они приезжают в Национальную портретную галерею. Симми несет в слинге Иону, Тед тащит парусиновую сумку с подгузниками, так что руки у Элины свободны. Тед предлагает зайти в кафе на верхнем этаже, но Симми возмущается: что за мещанство! Мы пришли посмотреть выставку Джона Дикина, говорит он, а не пить дорогущий капучино.

— Что за птица Джон Дикин? — бурчит Тед.

— Что скажешь, Малышка Мю? — обращается Симми к Элине.

— М-м... — Элина задумалась, — фотограф. Да, фотограф. Современник Фрэнсиса Бэкона?

— Десять баллов! — восклицает Симми. И берет обоих за руки. — Дети, — объявляет он громовым голосом, так что на них оборачиваются, — сейчас мы с вами перенесемся в развратный, богемный послевоенный Лондон. Ну что, готовы? — Он смотрит на Теда.

— Нет, мне бы чашечку ко...

— А ты готова? — спрашивает Симми у Элины.

— Да, — отвечает она сквозь смех.

Симми наклоняется к Ионе:

— А ты готов? Да ты, я вижу, спишь! Ну и ладно. Пошли. — И тащит их за руки в дверь.

В первый раз Элина увидела Симми одним утром в гостиной Теда. Она снимала у Теда комнату уже с месяц; как-то раз она собиралась на работу

(она преподавала в Ист-Энде), спустилась в гостиную — а на диване храпит рыжий громила в немислимых лохмотьях. Элина на цыпочках прокралась в кухню, поставила чайник, стараясь не шуметь.

— Спорим, — рыкнули с дивана, — вы ставите чай!

Элина обернулась. Незнакомец, высунувшись из-за спинки дивана, разглядывал ее.

— Вообще-то, кофе.

— Тем лучше. Вы просто ангел. Не угостите чашечкой?

Элина угостила. Принесла кофе ему на диван, а сама уселась с чашкой на ковер.

— Боже, — выдохнул незнакомец после первого глотка, — все горло сжег.

— Крепковат? — спросила Элина.

— Не то слово. — Он помассировал шею. — Так и голос потерять недолго. Так давайте же насладимся! — Он улыбнулся и сел рядом с ней на ковер. — Поведайте мне все ваши тайны, Квартирантка Теда.

Тем же вечером, увидев Теда, — он и его подружка Иветт вместе готовили ужин — Элина спросила, что за тип лежал на диване.

— Симми? — переспросил Тед, даже не повернув головы. — Джеймс Симпкин, вот его полное имя. Он здесь ночует иногда — у него свой ключ. Я его предупредил, что мансарда занята, вот он, наверное, и лег на диване. Молодец, что не забыл, — добавил Тед, — а то вломился бы к тебе среди ночи.

— Громко разговаривал? Нес всякий бред? — спросила ее Иветт, положив в рот оливку. — И был в разных ботинках?

— Нет, но был подпоясан зеленой бельевой веревкой.

— Ты не смотри, во что он одет, — сказала Иветт. — Его семье принадлежит пол-Дорсета.

— Ну и ну!

Тед повернулся, выбрал из ящика нож.

— В этой стране только верхушка может позволить себе рядиться в лохмотья. Не спрашивай почему.

На выставке Элина смотрит в темные полуприкрытые глаза знаменитого итальянского скульптора, в большие подведенные глаза актрисы пятидесятых, снискавшей дурную славу из-за пристрастия к наркотикам. Вот худое, красивое лицо Оливера Бернарда.^[13] А вот Фрэнсис Бэкон, крупным планом, будто готов поцеловать объектив. Вот трое на фоне стены, хмурые, кожа отликает металлом. Элина застаёт Теда перед портретом мужчины и женщины. Мужчина одной рукой приобнял

женщину за плечи, в другой держит сигарету. Женщина одета в черное, на голове шарф, конец его ниспадает на плечо. Мужчина косится на нее, а она смотрит прямо на зрителя смелым, оценивающим взглядом. Позади них на стене вывеска: «Где-т...» — последнюю букву заслоняет голова мужчины.

Элина на ходу трется щекой о рукав Теда и идет к другим фотографиям: вот человек в белой рубашке переходит улицу в Сохо, неся на плече мясную тушу; снова Бэкон — в студии, на тротуаре, рядом с человеком, который снят с женщиной на фоне вывески.

Подходит Симми:

— А с виду не скажешь, что он был алкаш, а?

— Не знаю, — рассеянно отвечает Элина, вновь глядя на человека с мясной тушей, — все фотографии какие-то печальные, пронзительные. С надрывом.

Симми хмыкает:

— Потому что они из прошлого. Все старые снимки кажутся грустными — на них запечатлено ушедшее.

Элина тянется к Ионе поправить чепчик.

— Хватит его тормошить, оставь ребенка в покое, — бурчит Симми. — И где же Тед? Купим ему наконец кофе.

Тед с Симми и Элиной сидят в кафе. Не в том, куда он хотел пойти, — под самой крышей, с видом на Трафальгарскую площадь, — а в полуподвале. И вдруг за чашкой кофе, посреди разговора с другом и любимой, в голове всплывает воспоминание. Будто он, еще ребенок, сидит на коленях женщины. Женщина в красном платье из скользкой материи, и Тед все время сползает с ее колен; он цепляется за ее руку, чтобы не упасть, и женщина смеется. Тед чувствует сквозь ткань ее платья, как она дрожит от смеха.

Такое с ним творится все чаще, с тех пор как родился Иона. Вспышки, проблески, будто издавека, как радиопомехи, прорывающиеся в эфир голоса с далекой станции, еле слышно, но настойчиво. Тени, мельканье, смутные образы — как рекламные щиты за окном набирающего скорость поезда.

Должно быть, думает Тед, с появлением ребенка заново переживаешь и собственное детство. Вдруг всплывают давно забытые воспоминания. Как то чувство, когда он пытался усидеть на коленях женщины. Тед не знает, кто она — мамина подруга, родственница, красивая коллега отца? — но живо, явственно помнит, как сползал с ее колен.

Сзади кто-то налетает на его стул. Тед ударяется грудью о край

столика. Он оборачивается — мимо проходит человек с рюкзаком, будто ничего и не заметив. Тед отодвигает стул подальше от толкотни, ближе к Элине. Отпивает глоток капучино. Образ женщины в красном платье растаял. Путешествие в детство окончено. Симми, набив рот тортом с грецкими орехами, о чем-то оживленно рассказывает. Элина слушает внимательно, подавшись вперед. Иона лежит у нее на коленях и, нетвердо держа головку, рассматривает что-то на столе; обе ручки уцепились за большой палец Элины — мол, никогда не отпущу. Тед вдруг чувствует глубокое родство с сыном — обоим одинаково нужна Элина. Охваченный тем же порывом, он мягко опускает руку на ее колено. Притянуть бы ее к себе, обнять за плечи, чтобы голова покоилась на его груди, чтобы она была близко-близко, и сказать: будь со мной, будь всегда со мной.

Элина встает. По-прежнему слушая Симми, она передает Теду Иону. Протянув руки, чтобы взять малыша, Тед видит, с каким трудом Элина высвобождает свой палец из маленьких цепких пальчиков.

— Ты куда? — спрашивает Тед.

— В туалет. — Элина вновь поворачивается к Симми. — Да, понимаю, — бросает она на ходу, протискиваясь между стульями.

Тед берет ее за руку, чуть выше кисти. Опять кружится голова, снова перед глазами безбрежная морская даль. На миг ему чудится, будто над ним склонилась женщина и вкладывает в его протянутые руки пластмассовый стаканчик, пряди ее длинных волос щекочут ему лицо. Вот он сидит на лестнице, застланной зеленым ковром, перебирая пальцами шерстяную бахрому, а снизу доносится голос отца — умоляющий, виноватый. Тед движением головы отгоняет прочь воспоминания. Иона, будто почуяв неладное, морщится, всхлипывает. Тед подыскивает слова.

— Где туалет? — только и может он сказать.

Элина смотрит на его пальцы, что сжимают ее запястье.

— Вон там. — Она с тревогой вглядывается в его лицо. — Я мигом. — И, высвободив руку, пускается прочь, а Тед провожает ее глазами и гонит от себя другую картину: Элина лежит в операционной, при бледном сиянии ламп, похожая на святую, и снова безликое, вздымающееся море.

— Тебе что, плохо? — спрашивает через стол Симми.

— Нет, — отвечает Тед, не глядя на него.

— Ты какой-то... потерянный.

— Все хорошо. — Тед встает с Ионой на руках. — Сбегаю в сувенирный магазин. — Он вдруг вспомнил, что хотел купить открытку с выставки.

* * *

В «Где-то» настала горячая пора — Лекси убедил Иннеса расширить журнал, привлечь рекламодателей. Увеличили объем журнала, отказались от дешевой газетной бумаги. Страницы стали глянцевые, чуть шероховатые на ощупь, фотографии — большего формата. Первыми из журналов об искусстве ввели раздел о рок-н-ролле. Иннес вначале колебался, но Лекси настояла и даже подыскала музыкального критика, студента гитарного отделения Королевского Музыкального колледжа. Журнал был по тем временам революционным. К сожалению, штат не расширили, все были перегружены работой, вечерами засиживались до десяти, а то и позже. В ту зиму все в редакции хворали, кто легче, кто тяжелей. Кто-то подхватил вирус и заразил остальных. Все кашляли, сморкались и чихали так, что стекла звенели.

Лекси в тот день собиралась поездом в Оксфорд, брать интервью у университетского преподавателя, написавшего на удивление скабрёзный роман о жизни в закрытых учебных заведениях — сплошь седые наставники и трепещущие юные студентки. Лекси суетилась, собирая нужное — ручку, блокнот, экземпляр романа, чтобы пролистать в поезде. Возле стола Иннеса она остановилась. Иннес склонился над гранками, заткнув уши (он всегда жаловался, что в шуме не может сосредоточиться).

— Пока! — Лекси поцеловала его руку.

Иннес выпрямился, удержал ее ладонь в своей.

— Ты куда?

— В Оксфорд. Забыл?

— Ах да, — протянул он, — к профессору-маньяку. Удачи! Держись от него подальше.

Лекси улыбнулась, снова поцеловала его, на этот раз в губы.

— Постараюсь. — И вдруг нахмурилась, потрогала его лоб, щеку. — Ты весь горишь. Температура? — Она вновь пощупала Иннесу лоб.

Иннес отмахнулся, закашлялся.

— Да успокойся, здоров я.

— Точно?

Иннес вновь уставился в корректуру.

— Поезжай в свой храм науки. Возвращайся целой и невредимой!

Лекси повернулась к Лоренсу и Дафне — те склонились над рукописью в другом конце комнаты.

— Вы уж присмотрите за ним, — попросила она. — Если совсем расклеится, отправьте домой.

Лоренс поднял голову и улыбнулся.

— Ладно, — пообещал он, и Лекси ушла успокоенная. Оглянувшись в дверях — Иннес закуривал, другой рукой что-то вычеркивая из корректуры.

Нет нужды описывать поездку Лекси в Оксфорд, надутого профессора, его неуклюжие приставания; как обратный поезд опоздал и Лекси представляла, как расскажет о приставаниях Иннесу, а он будет смаковать подробности и попросит повторить все сначала. Она представляла их в постели — в ту зиму это было единственное теплое место в доме; она напоит его горячим виски с медом, подоткнет одеяло — пусть отдыхает.

Лекси знала, что Иннес еще на работе, и, как только вернулась в Лондон, несмотря на поздний час, поспешила в редакцию. В ту ночь был густой туман. По пути от метро до Бэйтон-стрит Лекси несколько раз чуть не заблудилась, мокрые пряди волос падали на лицо. Дойдя до редакции, она подумала, что ошиблась. За столом никого. В окне один Лоренс. Лекси обрадовалась: Иннес все-таки ушел домой.

Но Лоренс, едва завидев ее, встал из-за стола, снял с гвоздя пиджак.

— Уф, ну и денек, — выдохнула Лекси. — Я...

Но Лоренс перебил ее:

— Лекси, Иннеса увезли в больницу.

Они наскоро сосчитали, сколько у них денег. В кошельке у Лекси ровно девять пенсов, у Лоренса и того меньше. Хватит на такси до больницы? Нет. Нашарили в столе у Иннеса коробку для мелочи, обрадовались звону монет, но нигде не могли найти ключ.

— Где он его прячет? — спросил Лоренс. — Соображай, ты его лучше всех знаешь.

Лекси задумалась.

— Где-нибудь в столе, — предположила она, — если с собой не увез.

Лекси открыла другой ящик, сдвинула в сторону скрепки, поломанные сигареты, клочки бумаги с каракулями Иннеса. Нашла полпенни, добавила в кучку. Сердце больно сжималось, а руки, шарившие в столе у Иннеса, — что ж он такой неряха, зачем ее любимому такая уйма скрепок, для чего столько бумажек? — дрожали. Иннес в больнице, сказал Лоренс, и Лекси перебирала в уме его остальные слова: стал задыхаться, потерял сознание, вызвали «скорую».

— Без толку, — сказала она наконец и принесла из подсобки отвертку.

Придерживая коробку для мелочи, вставила отвертку в щель. Замок скрипнул и сломался. Монеты рассыпались по столу, покатались на стул, на пол. Лекси и Лоренс опустили на четвереньки и кинулись их собирать,

набивая карманы пиджака Лоренса. И бегом на улицу, на стоянку такси.

И в больнице — снова бегом: вдоль извилистых коридоров, вверх по лестнице. В дверях палаты путь им преградила медсестра с блокнотом.

— Мы к Иннесу Кенту, — выдохнула Лекси. — Где он?

Медсестра глянула на часы на цепочке:

— Время посещения окончилось полчаса назад. Я уже три раза просила его сестру, — слово «сестру» она произнесла едко, насмешливо, — уйти, а она ни в какую — дожидается его жену. Так вы и есть его жена?

Лекси замаялась. Лоренс поспешил на выручку:

— Да, жена.

Медсестра смерила его взглядом:

— А вы тогда кто — его дедушка?

Лоренс — стройный, светлокожий, истинный англосакс — одарил ее чарующей улыбкой:

— Я его брат.

Медсестра, прищурясь, сверлила их взглядом.

— Десять минут, не больше. Моим больным нужен покой. Ходят тут всякие! — Она указала ручкой: — Четвертая койка слева, и не шуметь. — И отвернулась, бормоча: — Жена она — да черта с два!

Лекси скользнула за занавеску, что отгораживала кровать. Там, за занавеской, сидела на стуле Дафна, а на кровати лежал Иннес. Он был в маске, мокрые от пота волосы откинута со лба, лицо землистое.

— Лекси, — выговорил он и, даже под маской было видно, улыбнулся.

Лекси тут же вскарабкалась на кровать, обвила его руками, положила голову на подушку. Она заметила, что Дафна и Лоренс сразу ушли, услышала их удаляющиеся шаги.

— Слов нет, — зашептала она Иннесу в ухо. — Только я за порог — ты в больнице. Больше я в Оксфорд ни ногой.

Рука Иннеса обвила ее талию, другая потянулась к ее щеке, к волосам.

— Как профессор? — донеслось из-под маски.

— Да ну его, — ответила Лекси, — и помолчи, тебе нельзя разговаривать.

Иннес сдернул маску.

— Я здоров, — просипел он. — Такой шум подняли из-за пустяка.

— Тоже мне пустяк! Лоренс говорит, ты потерял сознание.

Иннес небрежно махнул:

— Мне стало слегка... нехорошо, да подумаешь, ерунда. Сказали, плеврит. Завтра снова буду на ногах.

Лекси обвилась вокруг него, прижалась к его груди, прислушалась к

стуку сердца.

— Проверяешь, бьется ли?

Это было слишком. Лекси крепче прижалась к Иннесу, глаза защипало от слез. «Иннес, Иннес, Иннес», — твердила она как заклинание.

— Тсс, — шепнул он и погладил ее по голове.

— Миссис Кент! — Рядом вдруг выросла медсестра. — Кровати только для больных! Это против правил. Слезайте сейчас же!

Иннес крепче прижал к себе Лекси.

— Да пусть лежит. Она же худенькая, много места не займет!

— Худенькая ли, толстая, дело десятое. Мистер Кент, вы очень больны, и вашу жену я попрошу уйти. А сами-то! — Медсестра бросила на Иннеса взгляд, полный ужаса. — Сняли кислородную маску! Плохо себя ведете, мистер Кент.

— Я это слышал уже не раз, — вздохнул Иннес.

Лекси нехотя слезла с кровати, но Иннес удерживал ее руку.

— Мне правда нужно уйти?

— Да, — твердо ответила сестра, поправляя постель и снова надевая на Иннеса маску. — Можете прийти завтра, после двух.

— А утром можно?

— Нет. Ваш муж болен, миссис Кент. Ему нужен покой.

Лекси нагнулась, поцеловала Иннеса в щеку.

— Пока, муженек, — шепнула она.

Иннес притянул ее к себе и, сняв маску, поцеловал в губы. Они разжали объятия, улыбнулись, расцеловались.

— Мистер Кент! — взвизгнула медсестра. — Прекратите! Прекратите сейчас же! Хотите и жену заразить? Наденьте маску!

— Вы такая солдафонка, — сказал Иннес, — командирша, говорили вам? В вас пропадает полководец!

— Моя работа — ухаживать за вами, чтобы вы поправились. — Медсестра задернула занавески.

Лекси пошла к выходу, махнула Иннесу от дверей. Иннес махнул в ответ, продолжая пререкаться с медсестрой.

На другой день, когда Лекси пришла, Иннес, уже без маски, сидел в подушках, с бумагами на коленях. Увидев Лекси, он сорвал очки и указал ей на место рядом с собой.

— Живо, — поторопил он. — Задерни занавески, пока Горгона тебя не застучала.

Лекси задернула занавески у кровати, под села к Иннесу. То т едва не задушил ее в объятиях.

— Подожди, — приструнила его Лекси, — дай на тебя взглянуть.

— Нет уж, — шепнул Иннес ей в ухо, — дай тебя потискать. — Рука его, поблуждав по ее ноге, нашла подол, нырнула под платье.

— Иннес, — промямлила Лекси, — думаю, здесь не место для...

Иннес отстранился, заглянул ей в лицо:

— Как же я рад тебя видеть! Ночка была паршивая. Не знаю, как вообще можно выздороветь в больнице. Старые пердуны не дают уснуть — всю ночь над ухом храпят, харкают, а стоит задремать, сестры тебя будят, суют под мышку градусник. Сил моих нет терпеть. Надо отсюда выбираться. Сегодня же. Помоги мне их убедить.

— Ни за что.

— Почему?

— Иннес, ты болен. Плеврит — не шутка. Положено лежать — лежи... — Лекси умолкла, глянула на него и рассмеялась. — Откуда у тебя это? — На Иннесе была немыслимая пижама в серо-голубую полоску. Он никогда не носил ничего подобного и выглядел в ней нелепо, будто в чужом теле.

— Они, — Иннес указал на сестринский пост, — достали откуда-то. Надо отсюда выбираться, Лекс. Пора на работу. Следующий номер идет в печать...

— Не надо. Мы и сами справимся. Как-нибудь. А ты выздоравливай.

Иннес хотел возразить, но помешал приступ кашля. Он хрипел и отплевывался, хватая воздух. Лекси взяла его за плечи и держала. Отдышавшись, он откинулся на подушки, закусил губу. Лекси было знакомо выражение его лица — выражение отчаяния, бессильной ярости. Иннес взял ее руку в свои.

— Я люблю тебя, Иезавель. Ты ведь знаешь?

Лекси склонилась над ним, стала целовать, целовать.

— А как же! И я тебя люблю.

Он вертел головой, точно ему неудобно было лежать.

— Нам ведь с тобой повезло, а?

— В чем? — Лекси заметила, что руки, обнимавшие ее, горячи и влажны.

— Повезло найти друг друга. Многие всю жизнь ищут и не находят.

Лекси нахмурилась, стиснула его руку.

— Верно, повезло. Будет везти и дальше. — Она через силу улыбнулась.

— Тебя ведь не очень огорчало то, другое? — Он сверлил ее взглядом.

— Что другое?

— То, что я женат.

— Нет, — отвечала Лекси уверенно. — Честное слово, нет.

Иннес улыбнулся.

— Вот и хорошо. — Он ворочался на подушках. — Хотя я думал... — Он замолчал, потянулся к подушке, в который раз поправил ее.

Лекси встала, чтобы помочь ему.

— О чем думал?

— Я хотел бы переговорить с Клиффордом.

— С Клиффордом? — Лекси, стоя к нему спиной, наливала ему в стакан воды из кувшина.

— С моим адвокатом.

Лекси в недоумении обернулась:

— Для чего?

Иннес, указав взглядом на стакан, мотнул головой.

— Насчет тебя.

— Насчет меня?

— Видишь ли, меня волнует, что с тобой будет, если я умру.

— Иннес! — Лекси поставила стакан на тумбочку. — Ты не...

Иннес прижал палец к ее губам.

— Тсс, — шепнул он. — Петардочка ты моя. Чуть что, взрываешься. — Он притянул ее к себе, усадил на кровать. — Я не говорю, что сейчас. Я говорю, когда-нибудь. Просто когда я сюда попал, я об этом задумался, только и всего. Я ведь даже завещания не составил, руки не дошли. А надо бы. Прежде всего для тебя. А то чертова Глория все заграбастает — хоть там и негусто, сама знаешь, — а тебя оставит с носом. — Он легонько щелкнул ее по носу, накрутил на палец прядь ее волос. — А этого я не вынесу. Не смогу покоиться с миром. Буду несчастнейшим из духов в загробном мире. Ты моя жена, ты моя жизнь. Знаешь об этом?

Лекси схватила его за руку и сердито поцеловала.

— Дурак ты, — сказала она. — Что ты несешь? Вот, из-за тебя тушь потекла. — Лекси растянулась с ним рядом, спрятала лицо у него на груди.

— Позвонишь Клиффорду? Номер у меня в записной книжке. Клиффорд Менкс.

Лекси приподнялась на локте:

— Иннес, хватит об этом. Даже слушать не хочу. Ты не умрешь. Во всяком случае, не сейчас.

Иннес криво усмехнулся:

— Знаю. Но все равно позвони ему, ради меня, ладно?

В ту ночь Иннес умер. Его плеврит перешел в пневмонию. Умер он около трех ночи — высокая температура, остановка дыхания. Рядом никого не было. Дежурная медсестра ушла за доктором, а когда привела, было уже поздно.

Лекси никогда не свыкнется с мыслью, что Иннес, ее любимый, умер в одиночестве; что она спала на другом конце города, в их общей постели, когда он испустил последний вздох, когда остановилось его сердце; что врача не было на месте — он спал где-то в кабинете; что Иннеса пытались вернуть к жизни, но безуспешно; что ее не было рядом, что она ничего не знала, не могла быть с ним и никогда уже не сможет.

Ей, разумеется, ничего не сказали, ведь она была любовницей — неофициальной, незаконной. В больницу она пришла ровно в два, оживленная, с букетом фиалок, газетой, парой журналов и любимым кашемировым шарфом Иннеса. Две медсестры преградили ей путь и повели в кабинет; в одной из них Лекси узнала ту, что дежурила в первый вечер.

— Простите, мисс, — на слове «мисс» сестра сделала ударение, словно давая понять, что все знает, с самого начала знала, — мистер Кент сегодня ночью умер.

Лекси чуть не выронила журналы, еле удержала в руках скользкие обложки. И сказала:

— Не может быть.

Сестра ответила, глядя в пол:

— К сожалению, это так.

Лекси сказала:

— Нет. — И повторила: — Нет. — Очень бережно положила на стол фиалки. Журналы и газету — рядом. Она поймала себя на мысли: надо держаться, надо быть вежливой. На столе стоял стеклянный сосуд, рядом лежали щипцы и крышка, явно не по размеру сосуда. — Где он? — услышала Лекси собственный голос.

Никто не ответил, и Лекси оглянулась. На лицах обеих сестер читалось замешательство.

— Его жена... — начала одна и осеклась.

Лекси ждала.

— Приходила его жена, — продолжала сестра, так и не взглянув на нее. — Она уже распорядилась.

— Распорядилась? — повторила Лекси.

— Насчет похорон.

Лекси живо представила картину: Глория заходит в палату. Или его

куда-то унесли? Да, скорее всего, унесли — освободили кровать для следующего больного, как обычно в больницах. Иннеса унесли в морг или в свободную палату. Глория пришла в морг — наверное, где-нибудь в подвале, — цокая каблучками, с высокой прической, жесткой от лака, руки в перчатках, позади нее — худосочная девочка. Взглянула стеклянными глазами на тело — тело, которое принадлежит Лекси, тело ее любимого. Прижала ко рту носовой платок, в основном ради эффекта. Была ли на ней шляпка с вуалью? Почти наверняка. Подняла ли она вуаль, чтобы в последний раз взглянуть на мужа? Почти наверняка нет. Протянула ли руку, прикоснулась ли к нему? Вряд ли. Долго ли пробыла с ним? Обращалась ли к нему? А дочь? И Лекси представила, как она выходит из комнаты и просит разрешения позвонить, распорядиться насчет похорон.

— Можно на него посмотреть? — спросила Лекси у сестер, когда собирала вещи. И почувствовала ответное молчание. Она вслушивалась в него, ощущала его вес, его тяжесть. Высунь она язык, ощутила бы его вкус. — Я хочу его увидеть, — пояснила она: вдруг ее не слышали, не поняли? Даже прибавила: — Пожалуйста.

Медсестра неопределенно мотнула головой — то ли да, то ли нет. И вдруг в ней будто что-то оттаяло, голос потеплел.

— Простите, — сказала она, — но это разрешается только членам семьи.

Лекси глотала слезы.

— Пожалуйста, — шепнула она снова, — пожалуйста.

Медсестра покачала головой, на этот раз более решительно:

— Извините, нет.

Из горла Лекси вырвался то ли крик, то ли всхлип, то ли рыдание. Она зажала ладонью рот. Надо держать себя в руках: если она даст волю слезам, то так ничего и не узнает, а другого случая ей не представится. Загнав слезы поглубже, хоть ненадолго, Лекси снова заговорила.

— Могу я задать один вопрос? — сказала она. — Всего один. Он еще здесь или она его забрала?

— Не могу вам сказать, — ответила сестра, переглянувшись с напарницей.

Лекси подалась ей навстречу, будто могла учуять ложь по запаху.

— Не знаете или не можете сказать?

Вторая сестра чуть дрогнула.

— По-моему... — начала она. Но напарница остановила ее взглядом. Сестра пожала плечами, посмотрела на Лекси и, вздохнув, продолжала: — По-моему, тело мистера Кента уже увезли. В обед.

Лекси кивнула.

— Не знаете куда?

— Не знаю.

И Лекси поверила. И, поняв, что делать здесь нечего, засобиравшись уходить. Собрала фиалки, переложила в руку, державшую шарф Иннеса, до того здесь неуместный, словно из другой жизни. Неужели всего час назад она доставала этот шарф из шкафа, не зная еще, что Иннес умер?

Умер.

Лекси взглянула на сестер, уже ничего не видя из-за слез.

— Спасибо, — сказала она, твердо решив не распускаться, не плакать при них, открыла дверь и шагнула за порог. Она не могла смотреть на дверь палаты, на кровать, где он лежал, где они лежали вместе еще вчера и где он умер, один, без нее. Из душевного больничного коридора она вышла в город, одна.

Часть 2

* * *

Лекси проплывает по Пиккадилли, сумочка через плечо. Феликс петляет следом, уклоняясь от встречных прохожих. В толстых солнечных очках и мини-пальто, Лекси притягивает изрядное количество восхищенных взглядов. У ворот Грин-парка Феликс, поравнявшись с ней, берет ее за руку, останавливает.

— Ну?.. — спрашивает он.

— Что — ну?

— Едешь со мной в Париж или нет?

Лекси поправляет воротник пальто — слишком уж пестрый, в черно-белых зигзагах, от которых у Феликса рябит в глазах; где она берет эти вещи? — откидывает волосы.

— Еще не решила, — отвечает она.

Вот несносная женщина, вздыхает Феликс, другой такой он не встречал.

— Неужели все мои слова для тебя пустой звук?

— Я дам тебе знать. — Лекси отворачивается, окидывает взглядом улицу.

Тряхнуть бы ее хорошенько, залепить пощечину. Но она непременно даст сдачи, а его все чаще узнают на улицах, видно по быстрым взглядам прохожих. Нет, нельзя ему затевать потасовку посреди Пиккадилли.

— Дорогая, — Феликс тянет ее к себе, нисколько не смущаясь тем, что она вырывается, — послушай, я бы ни за что не хотел, чтобы ты оказалась в гуще мятежа. Но если ты поедешь со мной, тебе ничто не грозит. И я мог бы свести тебя кое с кем. С нужными людьми. Может, пришло время.

— Для чего?

— Время... — Феликс чертит в воздухе круг, на ходу придумывая, как закончить мысль, — расширить твои горизонты. Профессиональные.

— У меня нет желания, — огрызается Лекси, — расширять горизонты. Какие бы то ни было.

Феликс отвечает со вздохом:

— Работа твоя тут ни при чем. Поехали, да и все.

Лекси оборачивается, сверкнув очками:

— На что ты намекаешь?

— Поехали... со мной.

— В каком качестве?

— Как моя... — Феликс понимает, что ступил на зыбкую почву, но что-то будто подстегивает его изнутри. — Могу записать тебя своей секретаршей — что тут особенного, многие так делают...

— Твоей секретаршей? — повторяет Лекси. На них опять оборачиваются. Узнают ли прохожие Феликса? Трудно сказать. — Ты и впрямь думаешь, что я могу на это пойти, бросить все и...

— Ладно, ладно, — говорит Феликс примирительно, однако Лекси, как видно, не настроена на примирение. — Не секретаршей. Это я погорячился. Как насчет моей...

— Феликс, — возражает Лекси, — я не поеду в Париж «в качестве твоей». Если я поеду, то как журналистка. Сама по себе.

— То есть можешь и поехать?

— Кто знает. — Лекси пожимает плечами. — В отделе новостей сегодня спрашивали, как у меня с французским. Им нужны материалы о жителях. Интервью с простыми парижанами. Что-то в этом духе. — Лекси вздыхает. — И разумеется, дважды промелькнула фраза «женский взгляд».

— Правда? — Феликс старается не выдать ни радости, ни облегчения. — Значит, на баррикады не выйдешь?

Лекси быстрым движением снимает очки и, прищурившись, смотрит на Феликса. Феликс, несмотря на их спор длиной в обеденный перерыв, ощущает прилив желаний.

— Я буду там, где простые люди. То есть где угодно, включая баррикады.

Феликс призадумывается. Он мог бы продолжать спор — им с Лекси не привыкать, — а мог бы забыть о ссоре, позвать ее к себе. Дотронувшись до ее рукава и украдкой глянув на часы, он улыбается томно, чувственно.

— Ты никуда не спешишь? — спрашивает он.

Как рассказать в двух словах о Феликсе? В конце шестидесятых, когда они познакомились, он работал корреспондентом на Би-би-си, переходил с радио на телевидение. Внешность у него была самая подходящая для телеэкрана: красавец, но не слишком броский; загорелый, но не дочерна; блондин, но не слащавый; одевался со вкусом, но не щегольски; стригся по моде. Его коньком были горячие точки, катастрофы, стихийные бедствия — пафосная журналистика, совсем не во вкусе Лекси. Армия сверхдержавы бомбит маленькую социалистическую страну — зовите Феликса! Наводнение смыло поселок — как же без Феликса? Где-то проснулся вулкан, рыбацьи баркасы затерялись в Атлантическом океане,

молния ударила в средневековый собор — Феликс в самом опасном месте, наверняка в бронежилете, своей излюбленной одежде. Говорил он веско, уверенно: «Феликс Рофф, Би-би-си». Этой фразой и решительным кивком он заканчивал все репортажи. Лекси он преследовал с тем же упорством и страстью, что и катастрофы, тиранов и их жертв — несчастных, но таких колоритных. Роман их длился несколько лет, с перерывами. Они были в вечном движении, Феликс и Лекси, — встречались, расставались, сходились, расходились, и так по кругу. Лекси уходила, Феликс преследовал ее, возвращал, она снова уходила. Они были словно наэлектризованная одежда — их тянуло друг к другу, но искры так и сыпались.

Знакомство их, за несколько месяцев до спора на Пиккадилли, началось с одного-единственного слова — с его оклика: «Синьора!»

Лекси глянула вниз с балкона третьего этажа, откуда открывался хороший вид. Улица превратилась в бурую пенистую реку, что несла сучья, кресла, машины, велосипеды, дорожные знаки, веревки с бельем. Квартиры и магазины на нижних этажах были затоплены, вывески — «*Farmacia*»,^[14] «*Panificio*»,^[15] «*Ferramenta*»^[16] — едва виднелись над водой.

Шел ноябрь 1966 года. За два дня выпала трехмесячная норма осадков, река Арно вышла из берегов, и Флоренция тонула, погружалась в пучину: всюду была река. В квартирах, в магазинах, в Домском соборе, в подъездах, в галерее Уффици. Река сметала мебель, людей, статуи, растения, животных, посуду, картины, книги, карты. Смыла из лавочек на Понте Веккьо все драгоценности, и объяли их бурые воды, и унесли на дно, в ил.

— *Si?* — крикнула Лекси в ответ двоим в лодке, сложив руки рупором. Ей только что исполнилось тридцать — минуло четыре года с того дня, как она вышла из Мидлсекской больницы с букетом фиалок, и девять — с тех пор, как она сбежала из Девона в Лондон. Во Флоренцию ее послала редакция газеты; вместо репортажей о бесчисленных потерях здешних музеев она сообщала о пятнадцати тысячах людей, оставшихся без крова, о многочисленных жертвах, о разоренных крестьянах.

Светловолосый человек, положив весла, встал во весь рост в лодке, покачнулся.

— Собор! — крикнул он. — Со-бор!

Дженнаро, фотограф, в чьей квартире остановилась Лекси, встал с ней рядом на балконе и тоже посмотрел вниз, на улицу.

— *Inglese?*^[17] — буркнул он.

Лекси кивнула.

— *Televisione?*^[18] — Он указал на камеру в руках у второго.

Лекси пожала плечами.

Дженнаро презрительно фыркнул и вернулся в комнату что-то сказать жене, которая усаживала их маленького сына на высокий стул.

Лекси смотрела на незнакомца: тот раздумывал.

— Синьора, — начал он снова, — собор! *Dov'è*^[19] собор?

Лекси потушила сигарету о бортик балкона. Не объяснить ли ему дорогу по-итальянски? Нет, не стоит — не настолько хорошо она знает язык.

— Во-первых, собор по-итальянски *duomo*, — крикнула она с балкона. — *Il duomo*. Вон там. Вы бы хоть чуточку подготовились, прежде чем отправляться сюда!

— Боже, — сказал светловолосый своему оператору, — англичанка!

На Пиккадилли Феликс все так же улыбается Лекси — уверенно, зовуще, слегка прижимаясь к ней.

— Ты никуда не спешишь? — спрашивает он.

Он донимал ее все утро: поезжай в Париж, поехали со мной в Париж, остановимся вместе в отеле «Сен-Жак» — не дело это, если «Курьер» поселит тебя в каком-нибудь клоповнике; сходим в клуб журналистов, представлю тебя нужным людям. Он кое-как управился с омаром, а заодно прочитал ей целую лекцию о Сайгоне, откуда недавно вернулся: гранаты, взрывы, химические атаки американцев, город наводнен журналистами, бомбами, проститутками, солдатами, а он чудом избежал малярии, лихорадки денге, лямблиоза, а то и чего пострашнее.

Лекси сдвигает на лоб очки, задирает рукав пальто, чтобы взглянуть на часы, и злится на себя за ответное желание.

— Спешу, мне некогда, — огрызается она.

— Тогда поужинаем вместе? Вечером? Успеем, самолет у меня в девять.

Лекси отступает на край тротуара.

— Подумаю, — отвечает она. — Позвоню позже.

Через дорогу Лекси не идет, а летит, насколько позволяют высокие каблуки. На другой стороне улицы оборачивается, чтобы махнуть Феликсу, но Феликс уже исчез, затерялся в толпе.

Лекси, поправив сумочку, пускается вперед. Краски дня даже из-под

темных стекол очков выглядят яркими, солнце одарило всех прохожих на Пиккадилли огненными нимбами, будто они не люди, а ангелы, будто они в вечной жизни, гуляют по Лондону ясным февральским днем. Через десять минут у нее интервью с театральным режиссером в ресторане на Шарлотт-стрит. Лекси, ускорив шаг, пересекает площадь Пиккадилли, сворачивает на Шефтсбери-авеню в сторону Кембриджской площади, а оттуда — налево, на Черинг-Кросс-роуд.

Напрямик, через Сохо, она не пойдет. Ни за что, даже спустя столько лет.

Чтобы избавиться от печальных мыслей, Лекси думает о Париже, о Феликсе, взвешивает про себя, стоит ли ехать. За обедом Феликс обмолвился, что для карьеры ей не мешало бы съездить.

— Пусть поймут, — сказал он, вертя в руке бокал с вином, — что ты не только милые заметки о живописи пописываешь.

Лекси отшвырнула вилку.

— Милые заметки о живописи? — повторила она; каждое слово, каждый звук больно отзывался в сердце. — Вот как ты оцениваешь мою работу!

И понеслось. В одном они были схожи: оба заядлые спорщики.

* * *

Элина взволнована, она счастлива. С самого утра ей все удастся. Сумка для прогулок собрана и стоит у дверей, стирка окончена, на веревке раскачиваются крохотные кофточка и костюмчики. Она позавтракала, покормила Иону, светит солнце, и сил у нее прибавилось. В самом деле прибавилось: Иона за ночь будил ее всего два раза, и она не валится с ног. На щеках появился румянец, — еле заметный, но все же румянец, — а чуть раньше она поднялась по лестнице в один прием. К ней вернулось здоровье, силы! Голова кругом от счастья! Сегодня она пойдет на прогулку и впервые после родов одолеет подъем на Парламентский холм. Решено, так и сделает. Уложит Иону в коляску и двинется по Хэмпстед-Хит, вверх по крутому холму, вдоль деревьев. Картина у нее перед глазами: Иона в красном чепчике и полосатой кофточке, укутанный в одеяло со звездами, сама она в темных очках и в рубашке Теда уверенно ведет коляску. Все вещи собраны — салфетки, подгузники, зонтик от солнца. Идти она будет легко и непринужденно. Будет склоняться над сыном в солнечных лучах, разговаривать с ним. Прохожие, завидев их, будут улыбаться. Эту картину она мысленно рисует с самого утра, с тех пор как проснулась и увидела окаймленные солнцем занавески, — как они идут под деревьями, а вокруг

играют тени, пляшут солнечные зайчики.

Вот только она не может найти ботинок. Один стоит у дверей, на полочке для обуви, а второй — куда же он делся? Элина завязывает единственный ботинок, блуждая беспокойным взглядом по прихожей. Каждая минута на счету, времени до следующей кормежки все меньше и меньше. Элина в одном ботинке заходит на кухню, заглядывает под диван, поднимается по лестнице, ищет в ванной, в спальне. Ботинка нигде не видно. На миг закрадывается дикая мысль пойти в одном башмаке, но, одумавшись, Элина скидывает ботинок без пары и сует ноги в шлепанцы, что нашла под кроватью. Сойдут и они.

И вновь она сбегает с лестницы с Ионой на руках. Малыш завозился — должно быть, она слишком резко дернулась.

— Ш-ш, — шепчет Элина, — ш-ш... — И, уложив его в коляску, подтыкает одеяльце. Но малыши не любят спешки. Иона недовольно морщит лоб. — Не плачь, — уговаривает Элина, — не плачь.

Она накидывает сумку на ручку коляски, и это как будто сильнее расстраивает Иону, его личико искажается гримасой плача. Элина, покачивая коляску, хватает с крючка ключи и ступает с крыльца на дорожку.

Иона плачет и у ворот. За углом плачет громче, сбрасывает одеяло, вертит головкой, и у Элины сжимается сердце: тот самый крик. Она уже усвоила, что он значит. Ребенок голоден. Нужно его покормить.

На подходе к парку Хэмпстед-Хит Элина останавливается, глядит вокруг, смотрит на сына — тот заливается слезами, упрямо сжав кулачки. Неужто успел проголодаться? Ведь она его кормила... когда же? — всего час назад. Элина откидывает волосы со лба. Чуть поодаль зеленеют деревья Хэмпстед-Хит, качают ветвями, манят к себе. До них рукой подать. Пойти дальше и покормить малыша где-нибудь на скамье? Но вдруг это будет одна из неудачных кормежек, когда он кричит и брыкается?

Элина, стиснув зубы, поворачивает с коляской к дому.

Они устраиваются в кресле у окна, и минут десять Иона жадно сосет. Элина укладывает его поперек колен, на живот — он любит так лежать, когда поест, — и на этот раз малыш не срыгивает, а тут же засыпает. Элина не верит глазам: неужто спит? Может такое быть? Веки сомкнуты, губки надуты, большой палец наготове, возле самого рта. «Спит, — говорит себе Элина. — Заснул».

Элина оглядывается вокруг, как путник после долгой разлуки с домом. Свобода кружит голову. Можно почитать, позвонить подруге, написать письмо, поработать в студии, сварить суп, разобрать одежду, вымыть

голову, выйти все-таки с Ионой на прогулку, посмотреть телевизор, сделать запись в дневнике, вымыть пол или окна, посидеть в Интернете — делай что хочешь.

Но стоит ли тревожить малыша? Элина в задумчивости смотрит на него. Крепко ли он уснул? Вдруг проснется, если переложить его с колен в кроватку или в коляску?

Элина просовывает руки ему под бочок, очень бережно, придерживая большими пальцами голову. Иона вздыхает, причмокивает, но не просыпается. С бесконечной осторожностью Элина приподнимает малыша. В ту же секунду он приоткрывает глазки и коротко, хрипло всхлипывает. Элина снова укладывает малыша на колени. Иона сует в рот палец и недовольно, обиженно сосет. Элина сидит неподвижно, почти не дыша. Иона снова засыпает.

Ну вот, думает Элина, плакала наша прогулка. Придется здесь сидеть, пока не проснется Иона. А это, пожалуй, не так уж и плохо.

Но в эту минуту Элине кажется, что хуже ничего и придумать нельзя. Та к тоскливо сидеть взаперти, так тянет на улицу — гулять, смотреть на мир, двигаться. Когда Тед возвращается с работы, весь дыша жизнью города, Элина не сводит с него глаз. Хочется стоять рядом, вдыхать эту жизнь, ее аромат. Тянет подальше отсюда, куда угодно.

Элина обводит беспокойным взглядом комнату и замечает подле себя на диване записку. Берет ее, разглаживает — почерк Теда; наверное, список покупок. Нет, никакой не список покупок:

ненадежные

камни

тот же человек?

имя, возможно, на Р

бумажный змей

В конце списка еще два слова, но их не разобрать. Одно начинается с «к» — «кит», «кот» или «ком», другое — то ли «сыр», то ли «сыро». На обороте написано: «Спросить Э.» И зачеркнуто.

Элина вертит записку в руках, читает снова и снова, сверху вниз, снизу вверх, пытаюсь составить из слов предложение, стихотворение. Что это за список? Для чего Тед его составлял? Слово «ненадежные» относится к слову «камни» или к чему-то еще? И в чем разница? Что за «тот же человек»? И о чем хотел Тед спросить ее, но передумал? Чье имя начинается на Р? Элина переворачивает записку — уголки посинели. Наверное, Тед носил ее в кармане джинсов, а вчера вечером сел на диван и она выпала. Элина перечитывает записку, и вот уже чернильные крючки и

петли пляшут перед глазами, а в голове беспрепятственно разгуливают ненадежные личности с камнями и бумажными змеями.

Элина сворачивает и разворачивает бумажку, и вдруг ее поражает внезапная мысль — нет, чувство. Потребность увидеть маму, настолько глубинная, первобытная, что невольно разбирает смех. Увидеть маму. Давно ли ей так хотелось к маме? Двадцать лет назад? Двадцать пять? Когда она пошла в детский сад? Когда по дороге из школы ее столкнула в крапиву девчонка постарше? В девять лет, когда она пошла в поход и забыла спальник?

На острове сейчас разгар лета, в маминой гостинице горячая пора. Местная детвора учится плавать в бухте с песчаным дном; в скобяной лавке на главной улице продают лопаты, ведра и рыболовные снасти отдыхающим из Хельсинки и немецким туристам. В гавани, в палатках вдоль кромки воды, выставлены вязаные шапочки, парусиновые туфли, майки с надписью «Суоми».

А мама? Элина смотрит на стенные часы. Полдвенадцатого — значит, в Финляндии полвторого. Притом что Элина давно уехала из дома, что она якобы ненавидит гостиницу, постояльцев, остров, захолустный городишко, целую страну и сбежала оттуда подальше при первой возможности, она до сих пор помнит тамошний порядок жизни. Мама сейчас подает постояльцам обед на открытом воздухе, в саду, на разномастных щербатых тарелках. Напитки — в бокалах всех размеров и цветов. Если на улице дождь, гости обедают, сидя рядком на веранде. Вот мама выходит из кухни вальжной походкой, в розовых очках, поверх неизменного батистового платья надет передник, в руках — четыре тарелки. Если кто-то из гостей делает заказ, она не спеша выуживает из кармана передника ручку, блокнот, очки для чтения. И с блокнотом в руке вразвалку идет на кухню, мимо бука-великана, мимо скульптуры из проволочной сетки, камней и морских раковин — Элина сделала ее еще в школе, а теперь смотреть на нее не может.

Тоска по дому, жгучая, как глоток виски, накатывает на Элину. Хочется сидеть с Ионой, прислонившись спиной к буку, и смотреть, как мама сует туда-сюда. В эту минуту она и сама не понимает, что делает одна в Лондоне, раз можно быть там. Зачем она здесь? Зачем уехала?

Не спеша, осторожно, чтобы не разбудить Иону, Элина тянется к забытому на кофейном столике мобильнику. Набирает номер, слушает гудки и представляет телефон у себя дома, на дубовой стойке, низенький, приземистый; вот мама, услышав из сада звонок, спешит через застекленную террасу, ступая по неровным половицам, и...

— Вилкуна, — небрежно отвечает чужой голос.

Элина просит позвать мать. Незнакомец уходит, и вот застучали по коридору шлепанцы, все ближе и ближе, и тоска по дому сдавила горло, словно тугой шарф.

— *Aiti?*^[20] — вырывается у Элины слово, которое она не произносила уже много лет. Еще подростком она стала называть мать по имени.

— Элина? — отвечает мать. — Это ты?

— Да. — Элина, как мать, переходит на шведский.

— Как ты там? Как мальчик?

— Хорошо. Растет. Уже улыбается, а недавно начал... — Элина умолкает, услышав, что мать вполголоса говорит с кем-то по-фински:

— ...В сад. Я сейчас.

Элина ждет, прижав телефон к уху. Кладет Ионе на спинку листок. *«Ненадежный, змей, тот же человек...»*

— Прости, — раздается голос матери, — что ты говорила?

— Ты занята? Давай перезвоню.

— Нет, нет. Это так... пустяки. Ты рассказывала про Иону.

— Все хорошо.

Ни слова в ответ. Опять мама с кем-то разговаривает? Или изъясняется жестами?

— Спасибо за его фотографии, — говорит мать. — Нам так понравились! («Кому это — нам?» — думает Элина.) Мы не знаем, на кого он больше похож, на тебя или на Теда.

— По-моему, ни на кого. Пока что.

— Ясно.

И снова молчание. Голос у матери напряженный, неестественный, будто рядом в комнате кто-то есть.

— Если я не вовремя, давай перезвоню, — предлагает Элина.

— Ты вовремя, — отвечает мать с легкой досадой. — Как раз вовремя. С тобой поболтать мне всегда приятно, сама знаешь. Нечасто выпадает случай. Ты вечно занята и...

— Не занята! — восклицает Элина. — Нисколько не занята. Жизнь у меня... весь день в четырех стенах... и весь вечер тоже. И я... — Голос Элины срывается. Хочется сказать: мамочка, мамочка, *Aiti*, не знаю, что происходит, почему Тед от меня отдаляется, не знаю, что делать, можно я приеду домой, прямо сейчас?

Мать продолжает:

— ...Юсси на днях говорил, что девочкам наладили режим сна с рождения, в первый месяц. Есть книга, где написано, как правильно...

Юсси — брат Элины. Элина, стиснув зубы, слушает, пока мать рассказывает о книге, о режиме дня и о том, как ее четыре внучки крепко спят по ночам, даже сейчас, и как жена Юсси, толстуха Ханнеле, хочет пятого, но Юсси сомневается, впрочем, как и мать.

— Так Юсси сейчас у тебя? — спрашивает Элина.

— Да! — Голос матери вдруг светлеет. — Они приехали на лето — всей семьей. Юсси уже покрасил стены в гостиной, на очереди веранда. Мы с девочками каждое утро плаваем в заливе — их записали в секцию, помнишь? — и Юсси хочет сегодня покатать девочек на яхте, и я обещала чуть позже...

Элина прижимает к уху мобильник. Смотрит на ногти Ионы — пора стричь. Смахивает с дивана крошки. Заметив на подушке пятно, переворачивает ее чистой стороной вверх. Убирает со спинки Ионы листок, подносит к глазам.

— Я хотела спросить, — прерывает она монолог об успехах второй внучки в игре на флейте, — хотела спросить, с папой... все было в порядке, когда мы родились?

— То есть как — в порядке?

— Как бы это сказать... не стал ли он чуточку странным?

— Станным?

— Ну... как бы объяснить... рассеянным. Замкнутым. — Элина ждет, прижимая телефон к уху, точно боясь упустить хоть слово.

— А почему ты спрашиваешь? — отвечает наконец мать.

Элина кусает губы, вздыхает.

— Да так. Просто любопытно. Слушай, *Aiti*, я вот что подумала... что, если мы... приедем?

— Приедете?

— В Науво. К вам. Я... я вот что думаю... ты ведь еще не видела Иону, а я... Да и Теду неплохо бы развеяться, и... я у вас уже сто лет не была. (В трубке тишина.) Что скажешь? — заканчивает Элина с отчаянием в голосе.

— Видишь ли, Юсси приехал на месяц, а потом возвращается в Ювяскюля, а девочки остаются со мной. На две недели — только я и они. А потом, наверное, Ханнеле приедет за ними... дай проверю... так что я точно не знаю, когда...

— Ладно, ничего.

— То есть будем рады. Девочкам не терпится посмотреть на Иону, да и мне тоже.

— Да ладно, не надо. Как-нибудь в другой раз.

— Может, осенью или...

- Мне пора.
- Может, в сентябре? Но дело в том, что...
- Иона плачет, я пойду. Пока!

Элину выдергивают из сна. Кажется, удалось поспать всего несколько минут. В комнате темно, только из окон справа льется слабый оранжевый свет. Иона плачет, зовет ее. Еще полсекунды она лежит на спине, не в силах подняться, словно Гулливер, привязанный за волосы. Потом, силой оторвав себя от матраса, бредет, пошатываясь, к кровати, берет на руки Иону.

В темноте она меняет ему подгузник, кое-как, неуклюже. Иона весь напрягся от голода, дрыгает ножками, и Элина никак не может засунуть их в ползунки. Она пытается натянуть их, расправить ткань на коленках, но Иона сердито кричит. «Ладно, — бормочет Элина, — оставлю так». И, взяв его в охапку, несет в кровать и устраивается на боку, чтобы покормить.

Иона сосет, кулачки потихоньку разжимаются, взгляд блуждает. Элина лежит в полудреме: видит веранду в Науво, круглую головку Ионы в темноте, неподвижную воду архипелага в штиль, видит брата, уходящего вдаль по усыпанной гравием дорожке, видит картину, что писала еще до рождения Ионы, неровности холста под толстым слоем краски, снова Иону (он по-прежнему сосет), пересечение трамвайных рельсов на углу улиц в Хельсинки, видит...

И вдруг просыпается и снова видит спальню. Первое, что она чувствует, — холод. Где одеяло?

Тед сидит на кровати, выпрямив спину, сжав руками виски.

— Ты что? — спрашивает Элина.

Тед молчит. Элина тянется к нему, гладит по спине:

— Что с тобой, Тед?

— Ох, — вздыхает он, растерянно глядя на нее. — Ох...

— Что случилось?

— Я видел... — Тед умолкает, хмурится, обводит взглядом комнату.

— Ночь ведь, — говорит Элина, пытаясь укрыть Теда, — полвторого.

— Угу, — откликается он. И снова ложится, сворачивается клубком, обняв Иону, кладет руку на бедро Элины. Элина придвигается ближе, прижимается коленями к его коленям. — Боже, — шепчет Тед, — мне приснился сон, жуткий сон. Будто я здесь, дома, и слышу чей-то голос. Я искал тебя везде, по всему дому, звал тебя, но не мог найти. Захожу в спальню и вижу: ты сидишь на стуле, спиной ко мне, с Ионой на руках; я положил руку тебе на плечо, ты обернулась, и оказалось, это вовсе не ты, а

кто-то чужой, это было... — Тед потирает лоб, — это было ужасно. Я от испуга проснулся.

Элина садится, берет на руки Иону. Он весь обмяк, висит у нее на руках, как мешочек, — Элина уже знает: это хорошо, так и надо, — значит, еще поспит, и она вместе с ним. Она гладит малыша по спинке.

— Вот ужас, — шепчет она Теду. — Что за странный сон. Мне, бывает, снится, что я подхожу к кроватке, а Ионы нет. Или иду с коляской, а она пустая. Думаю, такие сны — от привязанности друг к другу, дело в том, что...

— Гм, — Тед хмуро глядит в потолок, — но все было как наяву, будто...

Иона перебивает его, громко, смачно рыгнув.

— Иди ко мне, — Тед протягивает к малышу руки, — дай я его возьму. А ты поспи.

* * *

Весна, душная парижская ночь. Лекси за туалетным столиком в номере гостиницы, перед ней пишущая машинка. Туфли валяются на полу, одежда разбросана на узкой кровати. Лекси в одной сорочке, в волосах вместо заколки карандаш. В номере душно, жара невыносимая; дверь на узкий железный балкон Лекси оставила открытой. Тонкие занавески то надуваются на ветру, то безвольно повисают. С улицы доносится топот, крики, вой полицейских сирен, звон разбитого стекла. Всю ночь Лекси провела на ногах — на бульваре Сен-Мишель и рядом с Сорбонной, смотрела, как студенты строят баррикады, ломают тротуары, переворачивают машины, а полиция разгоняет их дубинками и слезоточивым газом.

Лекси смотрит на свой черновик. *«Принуждали их или подстрекали, пока неизвестно, — читает она, — но подобная реакция властей...»* Фраза обрывается. Надо ее закончить, но Лекси пока не знает как.

Лекси ставит точку, начинает новый абзац, и женщина в зеркале на туалетном столике делает то же самое. Женщина в зеркале худая, ключицы выпирают, под глазами синие круги. Лекси, приложив руку ко лбу, наклоняется ближе к зеркалу. На лице у нее теперь тонкие, почти невидимые морщинки — вокруг рта, в уголках глаз. Об этих морщинках Лекси думает: где тонко, там и рвется; считает их приметам будущего: в этих местах кожа сморщится, обвиснет.

Она не знает, что этого никогда не случится.

В дверь стучат, и Лекси оборачивается.

— Лекси? — шепчет за дверью Феликс. — Ты здесь?

Лекси видела его днем, возле горячей баррикады, — он размахивал руками перед камерой, а за его спиной мелькали чьи-то силуэты.

Лекси не двигается с места, грызет карандаш, тербит край сорочки. Сегодня ночью любой мужчина, кроме Иннеса, был бы жалкой пародией, предательством. Почему-то весь день ей казалось, будто он рядом, чуть позади нее, за левым плечом. Она все оборачивалась, будто пытаясь увидеть его. Вот и сейчас ей хочется окликнуть его, прямо здесь, в гостиничном номере с облезлой мебелью и грязными простынями. Слово «Иннес» распирает ей горло, рвется наружу.

Снова стук в дверь.

— Лекси! — шепчет Феликс. — Это я.

Еще минута — и он сдается. Слышно, как он, зевая, шаркает по коридору. Лекси подходит к кровати, ложится на спину. Смотрит в потолок. Закрывает глаза. И тут же видит Иннеса, будто он здесь, в номере, за туалетным столиком, где только что сидела она. Лекси открывает глаза. Слезы бегут по вискам, мочат волосы, затекают в уши. Вновь зажмурившись, Лекси видит пейзаж за окном их квартиры на Хэверсток-Хилл. Видит, как Иннес держит ручку, неуклюже, чуть косо. Как он стоит возле книжной полки и ищет книгу, как он бреется над раковиной в кухне, пол-лица в мыльной пене. Видит себя, как она идет по больничному коридору, роняя фиалки.

Спустя пару недель, в Лондоне, Лекси и Феликс идут на открытие новой галереи Лоренса. Глядя на Феликса — широкоплечего блондина в безупречно чистой рубашке — в шумной галерее, где пахнет вином, Лекси еле сдерживает смех. Но Феликс как ни в чем не бывало заходит в зал, словно ему там самое место, словно толпы людей жаждут знакомства с ним.

И, увы, это так. Как только к Феликсу подходит третий подряд человек со словами: «Простите, но вы случайно не?..» — Лекси, высвободив руку, пробирается сквозь толпу в уголок, где шепчутся Дафна и Лоренс. Лекси знает, они говорят о ней, и Дафна с Лоренсом знают, что она знает, и встречают ее улыбкой.

— Простите, — бросает на ходу Лекси, протискиваясь между женщиной, хвастливо рассказывающей про Лихтенштейн, и человеком, залпом пьющим вино.

— Вот и она, — слышит Лекси голос Дафны.

— Привет, сплетницы. — Лекси целует в подставленную щеку Дафну,

потом Лоренса. — Поздравляю, Лоренс. Вечеринка удалась. Сколько народу!

— Да, все идет неплохо, правда? — Лоренс окидывает взглядом зал. — Пока.

— Никаких «пока», — возмущается Дафна. — Все отлично. Люди пришли и покупают. Смотри и радуйся!

— Не могу, — бурчит Лоренс, теребя воротник. — Радоваться буду, когда все закончится.

Дафна оглядывает Лекси с головы до пят.

— Послушай, — говорит она, — у нас к тебе пара вопросов.

— Вот как?

— Да. Ну, выкладывай.

Лекси потягивает коктейль:

— Что?

Дафна досадливо фыркает, а Лоренс тут же вставляет:

— Красивое у тебя платье, Лекс.

— Да что там платье, — бросает Дафна и тут будто впервые замечает наряд Лекси, — хотя и вправду шикарное. Где купила? — И, не дожидаясь ответа, хватает Лекси за локоть: — Говори же, что у тебя с ним.

Лекси смотрит на Феликса — он беседует с двумя женщинами, те ловят каждое его слово.

— А-а, — Лекси небрежно машет рукой, — подумаешь, Феликс.

— Кто он, мы прекрасно знаем, — уверяет Лоренс. — Видели по ящику, как он вышагивает по бульварам.

— И... — встречается Дафна, — мы тут голову ломаем, что к чему. Ты, кажется, была с ним в Париже. И нам ни слова! То есть мы знали, у вас был романчик, но это дело давнее. Мы не знали, что у вас все полным ходом. Ну же, — она тычет Лекси в бок, — не стесняйся. Что у тебя с ним?

— Ничего.

— Так уж и ничего! — фыркает Лоренс.

— Да так... сходимся-расходимся. — Лекси пожимает плечами, пьет до дна. — Ничего серьезного.

Все трое стоят, уставившись в бокалы, и тут появляется Дэвид, любовник Лоренса.

— Что вы такие мрачные? — Он кладет руку Лоренсу на плечо. — Ты же должен общаться, заводить знакомства!

— Да вот, спрашиваем Лекси о ее избраннике, — отвечает Дафна.

— Что еще за избранник? — вопрошает Дэвид, и Лоренс кивает на Феликса, который, бурно жестикулируя, о чем-то вещает восторженной

публике. — А-а. — Дэвид поднимает брови. — Понял. Да ты у нас темная лошадка, Лекси.

— Ничего серьезного, — повторяет Лекси, поправляя платье.

— Как это — ничего серьезного, — возражает Дафна, — если ты с ним выходишь в люди?

— Не выхожу я с ним в люди. Он за мной увязался, и все.

— Так познакомишь нас? — спрашивает Лоренс. — Обещаем не ударить в грязь лицом.

— погоди, — возражает Дэвид, — видишь, человек занят, заводит полезные знакомства.

— Один вопрос, — говорит Дафна серьезно, — и мы от тебя отстанем. Почему именно он?

Лекси оборачивается:

— То есть как — почему?

— Просто любопытно. Почему из всех, кто за тобой увивался, ты выбрала его?

— Наверняка тут не одна причина, — бормочет Дэвид, глядя на Феликса, и Лоренс тихонько хмыкает.

— Потому что... — Лекси задумывается, — потому что он ни о чем не спрашивает.

— Seriously? — Дэвид подается вперед. — Ни о чем не спрашивает?

— Ни о чем, — подтверждает Лекси. — Никого ни о чем. Любопытства в нем никакого. И это...

— И это тебя устраивает, — заканчивает за нее Лоренс.

Лекси улыбается уголком рта.

— Да, — кивает она, — устраивает.

Все молчат. Дафна хватает со стола бутылку.

— Давайте выпьем! — кричит она. — Мы еще не пили за твою галерею. — И наполняет бокалы. — За Лоренса, Дэвида и галерею «Угол»! — провозглашает она. — Живите и процветайте!

Глухая полночь, в Белсайз-парке ни души. По Хэверсток-Хилл пронеслась машина, и снова все замерло. Белка — серая, откормленная, точно крыса, — перебежала через улицу, посреди дороги остановилась, огляделась по сторонам.

Перед домом небольшой палисадник с опрятными кустами самшита, посаженными спиралью. Дети любят ходить по этому лабиринту, от края к центру, но мать ворчит: вредно для корней. Между кустами и тротуаром — невысокая стена из красного кирпича, еще со времен Лекси. Стойка ворот

увенчана тяжелым белым камнем, в мороз он блестит.

Лекси стояла, опершись о стойку ворот, когда вернулась из больницы в день смерти Иннеса. Близился вечер. Она кое-как сумела добраться до дома, с журналами и шарфом, — фиалки она растеряла — и, едва собралась зайти в подъезд, с кирпичной стены слез человек и встал на пути.

— Мисс Синклер? — осведомился он.

Лекси качнуло к нему, она крепче схватилась за стойку ворот.

— Мисс Александра Синклер?

— Да.

— Вручаю вам документы. — Он протянул конверт.

Лекси взяла конверт, глянула на него. Простой, без печати.

— Документы?

— Документы о выселении из квартиры, мадам.

Лекси посмотрела на незнакомца. Странно, весь седой, а усы каштановые. Глянула на стойку ворот у себя под рукой, всю в инее. Убрала руку, нащупала в кармане ключ.

— Я вас не понимаю.

— Моя клиентка, миссис Глория Кент, просит вас до завтра освободить квартиру, взяв с собой только то, что принадлежит вам. Если вы возьмете что-либо из собственности ее покойного му...

Лекси уже не слушала. Она бросилась в дом и захлопнула дверь.

Чуть позже появился Лоренс. Искал тебя по всему Лондону, сказал он. Выхватил у нее из рук розовые документы о выселении, пробежал их глазами, ругаясь сквозь зубы: мол, Глория в своем репертуаре. Позже Лекси узнала, что Глория выслала в редакцию «Где-то» письмо о том, что журнал выставлен на продажу. Но вначале Лоренс не сказал ей ни об этом, ни о том, что именно из письма он и Дафна узнали о смерти Иннеса. Он плеснул Лекси виски, усадил ее в кресло, укутал пуховым одеялом. И принялся за дело — стал разбирать на куски квартиру, ее дом, ее жизнь.

Под утро Лекси и Лоренс ловили около дома такси. Два чемодана стояли у их ног. Лекси, кутаясь в одеяло, дрожала то ли от холода, то ли от слабости.

— Как по-твоему, — она, стуча зубами, указала на одеяло, — это тоже собственность Иннеса Кента?

Лоренс глянул на одеяло, потом на светлеющее небо с золотыми полосами облаков, с черными силуэтами деревьев. У него вырвался смешок, но в глазах стояли слезы.

— Господи, Лекс, — пробормотал он, — надо ж такому случиться!

Они поймали такси, Лоренс усадил Лекси, уложил чемоданы.

— Минутку, — сказал он таксисту, — я сейчас. — И бросился в дом.

Лекси ждала в такси — одеяло на плечах, вещи уложены в два чемодана и пару узлов. К дому подъехала черная машина, за рулем — не кто иная, как Глория. Лекси уставилась на нее. Надменные губы, брови дугой. Глория, глядя в зеркало машины и проверяя, не стерлась ли помада, с кем-то оживленно беседовала. С дочерью. Та, сидя в соседнем кресле, кивала: да, мама, нет, мама.

Они выходили из машины. Глория поправляла юбку, чтобы не прищемить дверью. Они смотрели на дом, на окна квартиры на последнем этаже. Глория вдруг нахмурилась и крикнула:

— Это вы! Все еще здесь!

Лекси обернулась — по ступенькам бежал Лоренс, таща что-то громоздкое, завернутое в одеяла. Она тотчас догадалась: картины Иннеса. Лоренс спасал картины.

— Стойте! Остановитесь немедленно! — взвизгнула Глория. — Я должна знать, что у вас там!

Лоренс прыгнул в такси.

— Едем, — сказал он водителю. — Быстрее!

Водитель отпустил тормоз, и они помчались по Хэверсток-Хилл прочь от дома. Следом, цокая каблучками, бежала Глория, пытаясь заглянуть в салон, а с другой стороны от машины — ее дочь. Марго бежала быстрее. Пару секунд она держалась вровень с машиной, в упор глядя на Лекси через оконное стекло. Взгляд был безжизненный, немигающий, в тусклых акульих глазах читалось... осуждение? любопытство? гнев? Трудно сказать. Лекси приложила руку к стеклу, заслонилась от страшного взгляда Горгоны Медузы. Когда Лекси убрала руку, Марго уже не было.

После смерти Иннеса для Лекси потянулись длинной чередой пустые часы, дни, годы. Сказать о них, по большому счету, нечего. Это было время опустошенности, время, отмеченное утратой. Со смертью Иннеса прежняя жизнь кончилась, наступила другая: Лекси выбросило, как в свое время Иннеса с парашютом, из старой жизни в новую. Без журнала, без квартиры, без Иннеса. Лекси еще не знала, что никогда не вернется в лабиринт улочек Сохо.

Если она возвращалась мыслями к первым дням после бегства из квартиры, ей казалось, что она ничего не помнит, что лишь много позже к ней вернулась способность рассуждать и чувствовать. Но отдельные картины иногда оживали перед глазами. Вот она тащится с чемоданами через Холборн, через Кингсвэй; подол пальто зацепился за поручень,

порвался и свисает сзади хвостом. Вот она оглядывает полуподвальную комнату в пансионе, хозяйка прижимает к груди жирную черепаховую кошку. Каморка тесная, пахнет сыростью и мышами, окно узкое, странной вытянутой формы.

— Что с окном? — спрашивает Лекси.

— Разделено, — объясняет хозяйка. — Половину замуровали.

Лекси смотрит на кошку, а кошка смотрит на нее большими блестящими глазами, в каждом зрачке — крохотное отражение разделенного окна. Лекси пытается зажечь плитку, но ничего не выходит. От досады она плачет, запускает в стену туфлей. Горелые спички на ковре у ее ног. Вот Лекси нарвала букетик подснежников на клумбе в Риджентс-парке. Цветы клонят головки, уткнулись ей в ладонь, в рукав. Лекси ставит их в банку из-под варенья. Цветы вянут. Лекси вышвыривает их в окно вместе с банкой. Вот она стоит у разделенного окна, оттуда виден тротуар, мелькают чьи-то ноги, ботинки, собачьи лапы, колеса колясок. В одной руке она держит сигарету, не поднося ко рту, другой рвет на себе волосы и роняет на пол, волосок за волоском.

Однажды, когда она стояла так, дверь вдруг распахнулась и кто-то вошел.

— Вот ты где! — слышался голос.

Лекси обернулась и не узнала гостью. Короткая стрижка, пальто-разлетайка, туфли без каблуков, с пряжками.

— Дафна? — выдохнула Лекси.

— Боже! — Дафна шагнула к Лекси и будто потеряла дар речи. — Что ты с собой сделала?

— Что ты сказала?

— Что с твоими...

— С чем?

— Неважно.

Дафна со вздохом досады выхватила из пачки на подоконнике сигарету, зажгла, расстегнула пальто. Хотела снять, но, оглядевшись, передумала и зашагала по комнате. Пнула кровать, дернула кран, рванула отставший от стены кусок обоев.

— Боже, — сказала она, — да это пещера! А воняет-то как! Сколько ты за это платишь?

— Не твое дело.

— Лекс, — Дафна схватила ее за плечи, — так нельзя, слышишь?

— Что нельзя?

— Вот так, — Дафна обвела жестом комнату. И указала на Лекси: — И

ВОТ так.

Лекси отступила:

— Не понимаю тебя.

— Нельзя так издеваться над собой. И над нами с Лоренсом. Посуди сама, мы из-за тебя места себе не находим, все думаем, как...

— Прости. — Лекси потушила сигарету в пепельнице на подоконнике.

Дафна взяла с кресла кашемировый шарф Иннеса и потрясла им перед носом Лекси:

— Его все равно не вернешь. И что бы он, по-твоему, сказал, если бы видел тебя сейчас?

— Не трожь, — сказала Лекси, и Дафна, видимо поняв, чтохватила через край, выпустила из рук шарф и уселась в кресло, попыхивая сигаретой. Лекси смотрела в окно, на чьи-то ноги в коричневых ботинках.

— Помнишь Джимми? — спросила из-за ее спины Дафна.

— Какого Джимми?

— Высокого, рыжего, из «Дейли курьер». У него был роман с Амелией, давным-давно.

— Гм. — Лекси взяла в руки пепельницу и тут же вернула на место. — Припоминаю.

— Мы виделись вчера во «Французском пабе». У него есть для тебя работа.

Лекси обернулась.

— Работа? — эхом отозвалась она.

— Да, работа. За деньги, все как положено. Будешь выходить в свет. — Дафна стряхнула в каминную решетку пепел. — Все договорено. Ты выходишь с понедельника.

Лекси нахмурилась, подыскивая предлог, чтобы отказаться, но так ничего и не придумала.

— Что за работа? — спросила она.

— Нужен сотрудник в отдел объявлений.

— Объявлений?

— Да. — Дафна досадливо вздохнула. — Ну, знаешь — рождения, смерти, браки. Ничего интересного, для тебя раз плюнуть, но все-таки лучше, чем вот так.

— Рождения, смерти, браки, — повторила Лекси.

— Да. Все самое главное в жизни.

— Почему сама не хочешь?

Дафна передернула плечами:

— Это не совсем мое — Флит-стрит и все такое.

— Может, и не мое.

Дафна встала, одернула пальто.

— Твое, — сказала она. — Или станет твоим. Как ни крути, все-таки лучше, чем чахнуть от тоски. Итак, в понедельник, ровно к девяти. Не опаздывай. — Она вскочила, схватила Лекси за руку. — Пошли, одевайся!

— Куда?

— В город. Тебя нужно накормить хорошенько. Я стрельнула у Джимми десятку, так что гуляем! Пошли!

В «Дейли курьер» Лекси указали на стол, втиснутый между столом побольше и книжной полкой. Комната была тесная, в конце длинного коридора; потолок низкий, пол неровный, а за мутными стеклами — надземный переход между Нэш-Корт и Флит-стрит. В редакции было безлюдно, тихо. Не рановато ли она пришла?

Лекси села на свое место, сумочку поставила под ноги. Стул был зеленый, облупленный, хромой. На столе — пишущая машинка, блок промокательной бумаги и ржавые ножницы. Лекси взяла ножницы, раскрыла, закрыла. Работают, и то хорошо. Кипа бумаг с соседнего стола сползла на ее стол. Лекси сдвинула бумаги, сложила опрятной стопкой. Взяла со стола кружку, заглянула в черное нутро. В нос ударил запах кофе. Лекси отставила кружку. Возле пишущей машинки лежала записка: «Спросите Джонса по нов. раб. на 2 нед.».

Услышав снизу шаги и голоса, Лекси посмотрела в окно. С Флит-стрит шли по мосту пешеходы. Лекси смотрела сверху на затылки, макушки и думала, до чего хрупки люди.

Перед самым обедом в дверь ворвался человек — седой, растрепанный, в плаще нараспашку. Что-то бормоча под нос, он плюхнул на стол пухлый портфель, уселся в кресло и снял телефонную трубку.

— Пять-шесть-девять-один, — бубнил он, набирая номер. И лишь потом заметил Лекси. — О. — Он вздрогнул и бросил трубку на рычаг. — Вы кто?

— Я Лекси Синклер, новая сотрудница отдела объявлений. Мне сказали...

Но ее собеседник, закрыв лицо руками, затараторил:

— О боже, боже, боже, почему меня не слушают? Говорил же я им, говорил, только не еще одна... Не в обиду вам будь сказано, дорогуша, но, честное слово, так не пойдет. Сейчас позвоню Карузерсу. — Он схватил трубку. — Нет, не буду. — И положил трубку на рычаг. — Что же мне делать? — Он будто спрашивал у Лекси совета. — Карузерса наверняка нет

на месте. Симпсон? Вдруг он поможет?

Лекси встала, пригладила волосы.

— Я не знала, с чего начать, — сказала она, — но мне принесли корректуру для сегодняшнего номера, и я внесла правку. Вот. — Лекси протянула ему листы, он с недоверием выхватил их. — Я пока не знаю, как у вас принято, — продолжала Лекси, — и все, в чем не уверена на сто процентов, пометила знаками вопроса.

Ее собеседник сдвинул очки на макушку и поднес листы к глазам. Просмотрел один, другой, третий.

— Гм, — мычал он под нос, — угм. — Пробежав глазами третью страницу, он уронил листы на стол, запрокинул голову. — В «Курьере» не выделяют курсивом названия стихотворений, — сказал он, глядя в потолок.

— Буду иметь в виду.

— Названия книг — да, а названия отдельных стихотворений или эссе в сборнике — нет.

— Учту.

— Где вы научились так читать корректуру?

— На... прежней работе.

— Гм, — сказал он снова. — Печатать умеете?

— Да.

— А урезать тексты до нужного объема?

— Да.

— А редактировать?

— Умею.

— Где вы работали раньше?

— Я работала... — Лекси запнулась, — в журнале.

— Гм. — Он бросил листы ей на стол: — Подпишите их, а то затеряются. — Потом переложил бумаги на своем столе, достал из вазочки карандаш, вставил за ухо. — Нечего сидеть сложа руки, милочка, — сказал он с внезапной досадой и замахал на Лекси руками. — Отнесите корректуру. Позвоните Джонсу. Спросите, когда он сдает текст. И узнайте, готов ли кроссворд. А объявления ваши надо набрать. Сегодня нужно сделать работу хотя бы на три дня вперед. И «Сельские заметки» тоже. Живо, живо, у нас ни минуты.

Несколько месяцев Лекси набирала объявления о рождениях, свадьбах, даты жизни, списки родственников покойных, адреса погребальных контор. Научилась добывать материалы у несговорчивого Джонса, успокаивать своего шефа, Эндрю Фуллера, когда для «Сельских заметок»

не хватало материала и он выходил из себя, передавать сообщения от миссис Фуллер, в котором часу в Кеннингтоне будет готов ужин. Научилась она и отражать атаки здешних свободных мужчин — а иногда и несвободных. У нее появились верные способы отказывать на приглашение пообедать, выпить пива, сходить в театр. Фуллер был на ее стороне. Не дело это, когда его помощницу отвлекают от работы. «Нечего тут ошиваться! — кричал он на парня, который с надеждой размахивал, стоя в дверях, билетами то ли в театр, то ли на концерт. — Дайте человеку работать!» За Лекси закрепилась репутация надменной недотроги. Один из несостоявшихся ухажеров назвал ее «синим чулком», — и единственный раз за все время Лекси вспыхнула, наговорила грубостей. В обеденный перерыв она ходила в паб с Фуллером, или с редактором женской рубрики, или с Джимми. Одно время поговаривали, будто у нее роман с Джимми, и Джимми слухов не опровергал; никто из коллег не подозревал, что во время совместных обедов Лекси давала Джимми советы, как вести себя с любимой девушкой, которая была помолвлена с другим. Работа в ежедневной газете, с ее бешеным, изматывающим ритмом, стала для Лекси утешением, спасением — ненасытная машина, в которую знай да подбрасывай; едва окончена работа за день, пора приступать к завтрашней. Ни минуты свободной, ни передышки, некогда расслабиться, подумать — работай, и все. На единственной фотографии тех лет Лекси в песочного цвета юбке, сидя на письменном столе, хмурится, глядя в камеру; волосы коротко острижены, на шее — тот самый кашемировый шарф.

Так могло бы тянуться годами, если бы однажды Лекси, по собственному признанию, не выдала себя. Она как раз отнесла гранки страницы с кроссвордом, а когда возвращалась к себе, в коридоре о чем-то разговаривали трое — заместитель главного редактора, младший редактор и редактор последней полосы.

— Надо бы написать биографический очерк, — говорил редактор последней полосы, — о Гансе Гофмане...

— Кто это? — переспросил Карузертс, заместитель главного редактора.

— Э-э... Кажется...

— Абстрактный экспрессионист, родился в Баварии, — невольно вырвалось у Лекси, — в начале тридцатых годов эмигрировал в США. Не только прославился как художник, но и создал свою школу. Среди его учеников — Ли Краснер, Элен Франкенталер и Рэй Имз.

Все трое уставились на Лекси. Редактор последней полосы встрепенулся, но так и не заговорил.

— Простите, — пробормотала Лекси и пошла прочь, а за спиной

услышала слова Карузерса, которого знала только в лицо: «Вот вам и эксперт».

Спустя десять минут ее разыскал редактор последней полосы. Фуллер глянул на него, но от привычного окрика «Нечего тут ошиваться!» воздержался.

— Так, — начал редактор, — вы, я вижу, знаток творчества Гофмана. Галерея Тейт недавно приобрела две его работы. Сможете написать до завтра тысячу слов? Стиль неважен, главное — факты. Я попрошу кого-нибудь из своих ребят переписать.

Очерк пошел в номер без единой правки. За ним последовали статьи о Дэвиде Хокни^[21] и его интерпретации Уильяма Хогарта,^[22] о новом режиссере Национального театра. Потом редактор женской рубрики попросила Лекси написать о том, почему девушки не идут учиться в художественные училища. Когда статью напечатали, Лекси вызвал к себе Карузерс.

Он сидел, закинув на стол длинные ноги в бордовых носках, и вертел в пальцах линейку.

— Скажите мне вот что, — начал он, когда Лекси уселась напротив, — какую должность вы сейчас занимаете?

— Ассистент отдела объявлений.

— Ассистент отдела объявлений, — протянул Карузерс. — Я и не знал, что есть такая должность. Вы работаете у Эндрю Фуллера?

Лекси кивнула.

— И каковы ваши обязанности?

— Редактирую объявления о рождениях, смертях и браках. Собираю материалы для кроссвордов и «Сельских заметок». Вычитываю страницу «Разное», проверяю материалы для...

— Да-да, — взмахнув линейкой, прервал ее Карузерс. — Похоже, мы вас недооценивали. — Откуда, — Карузерс спустил ноги со стола, сощурился, впился в Лекси взглядом, — вы взялись, мисс Лекси Синклер?

— То есть как — откуда?

— Я о чем: нельзя научиться писать так, как вы, будучи ассистенткой. Нельзя научиться делать репортажи так, как вы, работая в отделе объявлений. Вы где-то учились, и я хочу знать где.

Лекси сжала руки, встретила его взгляд.

— До того как я пришла сюда, я работала в журнале.

— В каком?

— «Где-то». — Впервые за долгие месяцы Лекси произнесла вслух название журнала. Прозвучало оно странно, непривычно, будто на чужом языке.

— У Иннеса Кента?

Они посмотрели друг на друга. Лекси чуть заметно кивнула. Карузерс откинулся в кресле, растянул тонкие губы в улыбке.

— Что ж, — сказал он, — все ясно. Если бы я знал, что вы ученица Кента, давно бы вас вызволил из отдела объявлений. Редактор такого уровня! То, что с ним случилось, не говоря о журнале, — одно слово, трагедия. Мы были знакомы. Я пришел бы на похороны, если б знал, но...

Он все говорил и говорил. Лекси, до боли сцепив пальцы, стала пересчитывать карандаши в вазочке на столе. Три оранжевых. Четыре красных. Шесть синих, два — короче остальных.

Лекси заметила, что Карузерс смотрит на нее по-новому, испытующе.

— Простите, в чем дело? — спросила она.

— Вы случайно не его бывшая... — начал он вполголоса, и конец вопроса повис в воздухе.

Лекси молчала. Если смотреть на ткань платья, разглядывать прихотливый узор, она перетерпит эту минуту, и конец мучениям.

— Простите, — пробормотал Карузерс, откашлялся, переложил бумаги с одного края стола на другой. — Суть в том, — продолжал он своим обычным голосом, зычно, чуть в нос, — что мы хотим перевести вас с нынешней должности в корреспонденты. Платить вам станут вдвое больше, писать будете для разных рубрик, возможны командировки. Кроме вас женщин в отделе больше нет, но вряд ли это помешает. Насколько я знаю, вы умеете за себя постоять. — Он махнул рукой: — Ступайте, найдите себе стол поуютнее. Удачи!

Лекси стала работать постоянным корреспондентом «Курьера». Среди репортеров газеты в те годы она была единственной женщиной. Поток приглашений в кафе поиссяк: новая должность будто создавала преграду, которую никто из коллег не решался штурмовать. Лекси сняла двухкомнатную квартиру в Чок-Фарм, но заставить ее там было почти невозможно. Иногда ей приходили на рабочий адрес анонимки, написанные круглым полудетским почерком. «Знает ли ваше начальство, что вы крадете картины?» — говорилось в одной. «Сначала вы отняли у меня отца, потом — наследство», — гласила другая. Лекси рвала их в клочья и заталкивала на самое дно корзины для бумаг. Она жила, работала, ездила в командировки. Сошлась с Феликсом, без глубоких чувств, бросила его, сошлась с ним опять. Дафна уехала в Париж с каким-то художником и больше не давала о себе знать; Лоренс и Лекси скучали без нее. Галерея «Угол» имела столь бешеный успех, что Лоренс и Дэвид открыли еще одну, «Новый Угол». Журнал «Где-то» переименовали в «Лондонские огни» (сменилось все: редактор, сотрудники, помещение) и

стали продавать на каждом углу. Лекси слетала в Нью-Йорк, Барселону, Берлин, Флоренцию. Брала интервью у художников, актеров, писателей, политиков, музыкантов. Писала статьи о радиостанциях, законах об абортах, ядерном разоружении, подростках и их мотоциклах, новом законодательстве о разводах, женщинах в британском парламенте. Она похудела, стала больше курить, в голосе появилась хрипотца. Те, у кого она брала интервью, находили ее чуткой, пронизательной, но порой беспощадной; почти все коллеги-мужчины — язвительной и колючей. Лекси это знала, но не огорчалась. Жила и работала взхлеб, вечера и в выходные просиживала в редакции. Она следовала моде — мини-юбки, высокие сапоги, смелые сочетания цветов, — но ее непринужденность граничила с безразличием. Об Иннесе она никогда не говорила. Если Лоренс упоминал его имя, Лекси не поддерживала разговор. Картины она развесила на стенах своей крохотной квартирки и ужинала стоя, глядя на них.

И едва она уверилась, что ее жизнь устоялась и останется такой отныне и вовек, — как всегда бывает, настали перемены.

Лекси идет по коридору в здании Би-би-си, сворачивает за угол и без стука входит в кабинет Феликса. Он сидит, положив ноги на стол, придерживая плечом телефонную трубку, и говорит: «Да-да». Замечает Лекси, и брови его ползут вверх. Они не виделись несколько недель, у них очередная размолвка.

Феликс, повесив трубку, вскакивает, хватая Лекси за плечи, целует в обе щеки.

— Дорогая, — говорит он — пожалуй, слишком уж горячо, — вот так приятный сюрприз!

— Не надо громких фраз, Феликс.

Лекси садится в кресло, ставит возле ног сумочку. Странное дело, ей слегка не по себе. Мельком взглянув на Феликса, облокотившегося на письменный стол, она отводит взгляд.

Феликс, скрестив на груди руки, разглядывает Лекси. Явилась к нему на работу, не предупредив, бесцеремонно, как всегда, но изумрудно-зеленое платье ей очень к лицу. У нее новая стрижка, волосы на затылке совсем короткие. Феликс рад, ему по душе такой разворот — и ее неожиданный приход, и ее наряд. Обычно он за ней бегал, а не наоборот. Надо пригласить ее в ресторан. Может, в «Кларидж». Феликс улыбается: Лекси вернулась. Их последняя ссора — из-за чего, он забыл — меркнет, стирается из памяти. День, который не сулил ничего особенного, обещает

быть радостным.

Феликс уже готов пригласить ее на обед, но тут Лекси произносит:

— Нам нужно поговорить.

Феликс тут же сникает.

— Дорогая, если о той американке, то, уверяю, это в прошлом и...

— Американка тут ни при чем.

— Ох... — Феликс хмурится, подавив желание взглянуть на часы. —

Может, поговорим за обедом? Как насчет «Клариджа» или...

— Отлично.

Они садятся в такси. Лекси не отстраняется, когда Феликс кладет руку ей на бедро; добрый знак, радуется Феликс, — знак, что история с той девушкой забыта, что день они закончат в одной постели. Такси подъезжает к «Клариджу», перед ними распахиваются двери; метрдотель, узнав Феликса, усаживает их за хороший столик под самым куполом. Лекси, глядя в меню, вдруг говорит:

— Кстати...

Феликс колеблется между бифштексом и жареной на решетке камбалой. Что предпочесть — мясо или рыбу? Камбалу или бифштекс? Он мычит что-то невнятное в знак, что слушает.

— Я беременна.

Феликс, захлопнув меню, откладывает его в сторону, накрывает ладонь Лекси своей.

— Ясно, — отвечает он негромко. — Что же ты реши...

— Я решила оставить ребенка. — Лекси не поднимает глаз от меню.

— Правильно.

Что она все смотрит в это чертово меню? Выхватить бы его и швырнуть на пол! И вдруг весь гнев Феликса куда-то улечивается. Теперь его разбирает смех. Он зажимает рот, чтобы не расхохотаться на весь «Кларидж».

— Ну, милая моя, — говорит Феликс («Давится от смеха, подлец», — думает Лекси), — с тобой не соскучишься. Признаюсь, не вижу тебя в роли матери.

Лекси высвобождает руку.

— Что ж, время покажет.

Феликс заказывает шампанское и изрядно напивается. Довольный собой, он делает намеки на свою мужественность, но Лекси пропускает их мимо ушей. Он снова заводит речь о свадьбе. Лекси и слушать не желает. Когда официант приносит заказ, Феликс говорит: теперь-то ты должна за меня выйти. Лекси огрызается: никому я ничего не должна. Феликс

выходит из себя: почему у тебя на все один ответ — «нет»? За мной девицы в очередь выстраиваются, каждая мечтает стать моей женой! Вот и женись на любой, огрызается Лекси, выбирай на вкус. Но я выбрал тебя, отвечает Феликс, хмуро глядя на нее поверх бокала с шампанским.

Они выходят из «Клариджа», оба на взводе.

— Увидимся вечером? — спрашивает Феликс.

— Посмотрим.

— Не надо этого. Меня бесит, когда ты говоришь «посмотрим».

— Феликс, ты пьян.

Феликс, взяв Лекси под руку, уговаривает: хватит спорить, пора уже признать, что нам надо пожениться, — и вдруг Лекси замечает кого-то за его спиной.

Первая мысль Лекси — они где-то встречались, но где? Лекси смотрит на девушку: круглое лицо, круглые глаза, тощие жилистые руки сжимают сумочку, жидкие волосы повязаны лентой, рот приоткрыт. Кто это? И откуда Лекси ее знает?

Вдруг ее осеняет. Это Марго Кент, только уже взрослая. Идет по Брук-стрит в мини-юбке, на высоких каблуках. В голове Лекси возникают слова: «картины», «я вам отомщу». Округлые буквы, неровные строчки, выведенные синими чернилами.

Марго подходит ближе, шаркая подошвами по тротуару. Они смотрят друг на друга. Марго останавливается. И стоит на тротуаре, глядя на Лекси, как обычно, в упор, не мигая.

Феликс есть Феликс: уверен, что девушка остановилась ради него.

— Добрый день! — кивает он. — Славная погодка!

— Да, — подхватывает Марго, — правда? — Она сверлит Феликса наглым взглядом, на губах змеится улыбка. — А я вас знаю. — Она приближается на шаг. — Вы по телевизору выступаете.

Феликс улыбается ей ослепительно, но свысока.

— В данную минуту не выступаю.

Марго смеется, смех ей не идет. Она переводит взгляд с Феликса на Лекси и, взмахнув рукой, пятится.

— Увидимся!

— До свидания! — Феликс обнимает Лекси. — Послушай... — начинает он.

Лекси отталкивает его. Марго уже идет прочь, смотрит на них через плечо, ветер треплет ее тонкие волосы.

— Ты ее знаешь? — шепчет Лекси.

— Кого?

— Эту девушку.

— Какую?

— Ту, с кем сейчас здоровался.

— А, эту? Нет.

— Уверен?

— В чем?

— Вы точно не знакомы?

— С кем?

— Феликс, — Лекси тычет его в грудь, — не прикидывайся болваном.

Ты знаешь эту девушку?

— Нет, говорю же. В первый раз вижу.

— Но почему же ты тогда сказал...

Феликс берет ее за подбородок:

— К чему весь этот разговор?

— Дай мне слово, — начинает Лекси, но умолкает. Она не знает, что за слово хочет взять с Феликса. Из головы не выходит Марго в мини-юбке, ее вкрадчивая улыбка, тонкие, совсем белые волосы. Взгляд, устремленный на Феликса, злое торжество в глазах. «Сначала вы отняли у меня отца». — Обещай мне... как бы это сказать... Обещай, если когда-нибудь ее встретишь, не здороваться. Обещай держаться от нее подальше.

— Лекси, что еще за...

— Обещай!

Феликс улыбается снисходительной улыбкой:

— Если ты обещаешь выйти за меня замуж.

— Феликс, я не шучу. Она... она... Просто обещай, и все.

— Ладно, — неохотно уступает Феликс. — Обещаю. Ну так что, встретимся вечером?

Лекси сидит на кровати по-турецки, вокруг на стеганом покрывале разбросаны заметки. Она на девятом месяце беременности и может работать только дома — дорогу до редакции ей уже не осилить. Перед сном надо дописать статью об итальянском кино.

Лекси достает из-за уха карандаш и тянется за листком; карандаш выскользывает из пальцев, катится по покрывалу и падает на пол. Ну и черт с ним, пусть валяется, думает Лекси. Но другого под рукой нет. Сдвинув с колен пишущую машинку, Лекси слезает на пол, встает на четвереньки и заглядывает под заваленную бумагами кровать. Нет карандаша. Лекси подползает под ночной столик и вдруг чувствует странную тянущую боль внизу живота. Лекси вскакивает, начисто забыв о

карандаше. Боль уходит так же внезапно, как пришла. Лекси снова забирается на кровать, пробегает глазами черновик, и ближе к концу статьи боль возвращается. Лекси хмуро косится на свой живот. Быть не может! Не может, и все тут. Еще не время. Завтра у нее интервью — с активистом, за которым она охотилась не один месяц, — а к концу недели должна быть готова передовая статья. И снова боль, на этот раз сильнее. Лекси, чертыхнувшись, швыряет листки на кровать. Быть такого не может! Лекси идет на кухню согреть чаю, и, когда ставит чайник, новая схватка, накатывает волной — словно переезжаешь на полной скорости через горбатый мостик или ныряешь в океан.

— Вот что, — говорит вслух Лекси, — подожди вылезать. Не спеши. Еще не время, слышишь?

Лекси пьет чай и смотрит на картины — на Бэкона, Поллока, Барбару Хепворт, Люсьена Фрейда. Причесывается, не сводя с них глаз. Чистит зубы, полощет рот. Схватки становятся еще больнее: все внутри сжимается, завязывается тугим узлом.

Лекси добирается до телефона, вызывает такси.

— В Королевскую бесплатную больни... Ой!

В родильное отделение Лекси приезжает уже в сумерках.

— Послушайте, — обращается она к медсестре в регистратуре, — мне еще рано. У меня полно работы на неделю. Нельзя ли это как-нибудь остановить?

— Что остановить? — переспрашивает медсестра.

— Вот это. — Лекси указывает на свой живот. Неужели непонятно? — Еще рано. Совсем не время.

Медсестра смотрит на нее поверх очков:

— Миссис Синклер...

— Мисс.

Вокруг столпились потрясенные акушерки.

— Где ваш муж? — спрашивает одна, глядя по сторонам. — Вы ведь не одна?

— Одна, — отвечает Лекси, привалившись к столу. Близится очередная схватка, маячит на горизонте.

— Где ваш муж?

— У меня нет мужа.

— Но, миссис Синклер, вы...

— Мисс, — снова поправляет Лекси. — И вот еще что... — И вновь боль душит ее, не дает договорить. Лекси вцепляется в край стола. — Черрррт! — вырывается у нее крик.

— Боже! — ахает сестра. И Лекси слышит, как она обращается к кому-то: — Позвоните отцу. Вот его номер...

— Только попробуйте! — кричит Лекси. — Нечего ему здесь делать.

Спустя несколько часов Лекси обнимает ножку больничной кровати, как моряк во время качки обнимает мачту, и твердит, что еще не время, что у нее работа, и продолжает ругаться. Никогда в жизни она так не ругалась.

— Встаньте с пола, миссис Синклер, встаньте сейчас же, — велит акушерка.

— И не подумаю, — цедит Лекси, — и не миссис, а мисс, сколько раз повторять!

— Миссис Синклер, встаньте с пола и ложитесь на кровать.

— Нет! — отвечает Лекси с воплем и потоком брани.

— Что за выражения! — возмущается акушерка.

И все вокруг повторяют: «Что за выражения!» да «Ложитесь на кровать!»

Лекси рожает, скорчившись на полу. Чтобы ребенок не упал, подставляют полотенце. Врач дивится: в первый раз вижу такое — как дикарка или как животное!

«Что за выражения!» — вот первая фраза, которую услышал сын Лекси.

Позже, в часы посещения, палата наполнилась мужьями в плащах и шляпах, с букетами цветов. Лекси смотрела, как отцы склонялись над кроватками новорожденных, беспокойно теребя ленты на коробках конфет. Тугие воротнички, выбритые до синевы подбородки. Скрип башмаков, капли дождя на шляпах, обветренные руки. Лекси улыбнулась, посмотрела на сына в желтом одеяльце, чей взгляд будто говорил: «Вот и встретились!»

— Привет, — шепнула Лекси и вставила палец в кулачок сына.

Рядом вдруг выросла медсестра:

— Брать ребенка на руки можно только во время кормления. Не приучайте к рукам, пусть лежит в кроватке.

— Не хочу его класть в кровать, — возразила Лекси, не сводя глаз с малыша.

Медсестра вздохнула.

— Вам задернуть занавески?

Лекси метнула на нее сердитый взгляд.

— Не надо. — И крепче прижала к себе малыша. — Не надо.

Когда часы посещения близились к концу, в коридоре послышалась чья-то ровная, решительная поступь. Лекси сразу узнала шаги. Подняв голову, она смотрела, как Феликс совершает круг почета по палате, ловя

изумленные взгляды и улыбки женщин. В то время он каждый день выступал по телевидению. Он кивал и улыбался в ответ. Пальто нараспашку, будто накинул в спешке; в одной руке — пышный букет орхидей, в другой — корзина фруктов. Лекси сделала большие глаза.

— Дорогая, — сказал он зычно, — мне только что позвонили. Я бы приехал раньше.

— Да неужели? — Лекси глянула на часы. — Вечерняя программа только что закончилась, разве нет?

Феликс положил букет на одеяло, прикрывавшее ноги Лекси, и сказал:

— Мальчик. Чудно! Как себя чувствуешь?

Лекси отозвалась:

— Отлично, и я и он.

Феликс с улыбкой склонился над ней.

— Поздравляю, дорогая, ты молодчина. — Он чмокнул Лекси в щеку и устало опустился на стул. — Хотя я слегка обижен, — продолжал он, — что ты мне сразу не позвонила. Бедняжка, одна сюда добиралась! Ай-ай-ай, как нехорошо! — Он улыбнулся ласково, вкрадчиво. — Я отправил телеграмму маме. То-то обрадуется! Мы с тобой сейчас разговариваем, а она, наверное, выбирает рубашку для крещения.

— Боже, — буркнула Лекси. — Скажи ей, что не надо. Феликс, ты ничего не забыл?

— Ты о чем?

— Не забыл, зачем приехал?

— Тебя повидать, конечно же.

— А может, и ребенка? Сына? Ты на него и взглянуть не соизволил.

Вскочив на ноги, Феликс покосился на ребенка. На лице мелькнули отвращение и страх, он тут же отступил и снова сел на стул.

— Просто чудо! — воскликнул он. — Великолепно! Как назовем?

— Тео.

— Как?

— Теодор.

— Не кажется ли тебе... — Он не договорил, снова улыбнулся Лекси. — Почему Теодор?

— Мне нравится. И ему идет. Теодор-тореадор.

Феликс прикрыл ее ладонь своей.

— Дорогая, — начал он вполголоса, — я говорил с сестрами, они считают — и я, конечно же, согласен, — что нельзя тебе возвращаться одной к себе в квартиру. Я, честное слово, думаю, что...

— Феликс, не надо опять.

— Переедешь ко мне на Джиллиланд-стрит?

— Нет.

— Обещаю не заводить разговоров о свадьбе. Просто подумай: мы вдвоем под одной крышей...

— Втроем.

— Что?

— С ребенком, Феликс.

— Конечно, я хотел сказать, что втроем. Оговорился. Мы втроем под одной крышей. Так будет лучше. И сестры со мной согласны, и...

— Замолчи, ради бога! (На крик Лекси оборачиваются соседки по палате в ночных кофточках.) Да как ты смеешь за моей спиной обсуждать меня с сестрами? Кем ты себя возомнил? Я с тобой жить не буду. Никогда.

Но Феликс не сдавался.

— Посмотрим. — Он положил руку поверх ее ладони.

Лекси выписывается из больницы раньше срока — ей не по душе слишком тесное соседство в палате, жизнь у всех на виду — и забирает малыша домой. Садится с ним в такси. Простая арифметика, думает Лекси, в больницу уезжала одна, а возвращаемся вдвоем. Тео спит в нижнем ящике комода. Лекси вывозит его гулять в большой скрипучей серебристо-серой коляске, что отдала ей соседка. По ночам Лекси почти не спит. К бессонным ночам она была готова, но разве от этого легче? Она стоит с ребенком у окна в ночной рубашке и смотрит на улицу, слушает монотонный скрип тележки молочника и гадает, одна ли она во всем городе не спит. Теплая головка Тео покоится на сгибе ее левой руки — всегда слева, ближе к сердцу, — сонное тельце обмякло. Холодные белые лучи рассвета озаряют комнату. Вокруг кровати мусор, скопившийся за долгую ночь, проведенную вдвоем: грязные подгузники, пара смятых муслиновых салфеток, пустой стакан, баночка цинковой мази. Лекси шаркает босой ногой по ковру, смотрит на сына. Его лицо омрачается во сне, но лишь на миг. Он машет ручкой в воздухе, будто ища, за что ухватиться, на что опереться, и, нащупав складку маминой ночной рубашки, вцепляется в нее.

Самое трудное в материнстве для Лекси не бессонные ночи, не смертельная усталость, не замкнутая жизнь, ограниченная несколькими соседними улицами, а лавина домашних хлопот: стирка, сушка, глажка. За домашними делами Лекси чуть не плачет от злости и скуки, а то и смахивает на пол охапку белья. На улице она смотрит на молодых мам: все как одна уверенные, собранные, на ручках колясок висят сумки, вышитые одеяльца у малышей аккуратно подоткнуты. А как же стирка да глажка,

хочется ей крикнуть, не осточертели?

Тео уже не помещается в ящике комода. Он вырастает из кофточек, что связали ему в подарок. Лекси и к этому была готова, но не ожидала, что это произойдет так скоро. Лекси звонит в «Курьер», пишет статью о выставке Энтони Каро^[23] в галерее Хейворд и на заработанные деньги покупает кроватку. Тео вырастает из коляски. Лекси снова звонит в «Курьер» и идет на совещание, взяв Тео с собой. Первоначальный ужас Карузера быстро сменяется интересом. Лекси разговаривает с ним, качая Те о на коленях. Ей поручают взять интервью у актрисы. Лекси берет с собой Тео. Актриса в восторге. Те о заползает под актрисин диван и охотится за актрисиной кошкой. Он вылезает с актрисиной туфлей, ремешок изжеван. Актриса уже далеко не в восторге. Лекси получает гонорар и покупает прогулочную коляску в красно-белую полоску. Те о ездит в ней, обхватив колени руками, вертится во все стороны, свешивается на поворотах. Соседка, миссис Галло с нижнего этажа, готова присматривать за Тео несколько дней в неделю. Миссис Галло родом из Лигурии, вырастила восьмерых детей. Она сажает Тео на колени, называет *Angelino*,^[24] треплет за щечки и приговаривает: «Да хранит его Господь». И Лекси возвращается в редакцию, в комнату журналистов, зарабатывать деньги, жить прежней жизнью. На работе знают причину ее отсутствия, но редко кто из коллег спрашивает о ребенке, будто разговоры о нем неуместны в шуме и суматохе редакции. По утрам, покидая дом, Лекси ощущает между собой и сыном невидимую нить, которая потихоньку разматывается, натягивается с каждым ее шагом. К концу дня ей кажется, будто клубок совсем размотался, она буквально сходит с ума от тоски по сыну и просит поезд метро быстрее лететь по рельсам, через туннели, нести ее домой, к Тео. Когда она снова с ним рядом, ей требуется время, чтобы настроиться на нужный лад, смотать невидимый клубок, оставив лишь кусочек — длиной в пару шагов, не больше. По ночам, когда Тео спит, Лекси садится за письменный стол доделывать то, что не успела закончить за день. Порой ей кажется, что для Тео стук пишущей машинки — как колыбельная, вплетается дымком в его сны.

Когда Тео делает первые шаги, начинает виснуть на ножках стульев, стаскивать со столов предметы, а однажды опрокидывает на себя пишущую машинку и чудом остается жив, Лекси понимает нечто важное.

— Пора мне переезжать, — сказала Лекси Лоренсу.

Лоренс смотрел, как Тео с грохотом опустошает кухонный шкафчик.

— Просто удивительно, — заметил он, — столько радости от такого

пустяка! Смотришь — и мечтаешь вернуться в детство. — Он глянул на Лекси: — Переезжать? Зачем? Хозяин выгоняет?

— Нет.

Лекси обвела взглядом комнату. Комната большая, спору нет, но в ней помещалась кровать Лекси, кроватка Тео, диван, манеж, письменный стол, за которым Лекси работала ночами.

— Понимаю, — кивнул Лоренс. — Но куда тебе податься?

Тео уронил металлическое ситечко, оно стукнулось об пол. «Ха! — сказал Тео. — Ха!» И потянулся за ситечком, а Лоренс — за новым куском торта. Лекси смотрела, как Тео снова швыряет ситечко на пол. Ей нравилось в сыне все: и зеленый махровый комбинезон, и клинышек волос надо лбом, и пальчики, сжимающие ручку сковороды.

— Я думаю... — начала Лекси, — может, стоит... купить...

Лоренс резко обернулся:

— Ты выиграла на скачках?

— Если бы!

— Твой как-его-там даст денег?

— Я бы не взяла у как-его-там таких денег.

— Ну и дура. На что же ты собираешься... — Он отставил тарелку с тортом. — А-а, — сказал он уже другим голосом, и при иных обстоятельствах Лекси, пожалуй, улыбнулась бы. В Лоренсе, кроме прочих его достоинств, Лекси всегда восхищалась пронизательностью.

Лоренс и Лекси переглянулись, посмотрели на дальнюю стену. Поллок, Бэкон, Фрейд, Кляйн, Джакометти.^[25] Лекси, закрыв лицо руками, рухнула на диван.

— Нет, не могу, — проговорила она сквозь пальцы.

— Лекс, у тебя нет выбора. Или выклянчить у как-его-там кусок состояния...

— Это не выход.

— Или продать Тео в рабство.

— Тоже не выход.

— Или продать одну из них.

— Нет, не хочу, — простонала Лекси. — Не могу.

Лоренс поднялся, подошел к картинам, оглядел их по порядку.

— Если для тебя это утешение, — сказал он, стоя перед портретом работы Люсьена Фрейда, — думаю, он бы тебе посоветовал то же. Ты и сама знаешь. Ни минуты не колебался бы. Вспомни, как он продал литографию Хепворт, чтобы взять тебя на работу.

Лекси молчала, но уже не закрывала лицо руками.

Лоренс двинулся дальше, мимо Минтона, Итель Кохун,^[26] Бэкона, и остановился перед Поллоком, побарабанил по раме:

— Он принесет вам с Тео дворец, ни больше ни меньше. Для художника смерть — хитрый рекламный ход.

— Только не эту, — тихо сказала Лекси, стряхивая с платья крошки от торта.

Во взгляде Лоренса читался вопрос.

— Его любимая, — пояснила Лекси.

Из кухоньки вдруг донесся скорбный вопль Тео. Лекси поспешила к нему, вытащила его из-под груды кастрюль, противней, формочек для печенья. Тео в изнеможении приник к ее плечу, взял в рот большой палец, другую ручку запустил ей в волосы.

— За этюд Джакометти можно кое-что выручить. Он с подписью, — сказал Лоренс. — В последние годы они поднялись в цене. Хочешь, мы с Дэвидом продадим?

— Спасибо, — шепнула Лекси.

— Мы анонимно, никто никогда не узнает.

— Ладно. — Лекси отвернулась от стены. — Забирай хоть сейчас.

Лекси стала осматривать квартиры и выбрала третью по счету — нижнюю часть дома в Дартмут-парке. Две комнаты наверху, две внизу, между парадным и черным ходом — сквозной коридор. Позади дома садик, в нем — кривая яблоня, приносящая осенью сладкие желтые яблоки. На ветвях яблони Лекси повесила качели, и в первые недели после переезда Тео сидел на них, держась за деревянные перекладины, и изумленно смотрел, как Лекси босиком ходила вокруг яблони, пригибала ветви и собирала в подол яблоки. Лекси выбросила гнилые ковры, содрала ветхий сырой линолеум, вымыла полы и покрыла лаком. Побелила заднюю стену дома, вымыла до блеска окна газетами и уксусом, а Тео носился по саду с лейкой. Не верилось, что у нее свой клочок земли, свой дом из кирпича, стекла и бетона. Удивительный обмен: немного денег за такую жизнь. По вечерам, уложив Тео, Лекси блуждала из комнаты в комнату, обходила сад, не веря своей удаче.

И все же утраченный этюд Джакометти не давал ей покоя. Лекси вновь и вновь перевешивала картины, чтобы его отсутствие не бросалось в глаза. Выбора не было, твердила она себе, не было. И он бы разрешил, сам предложил бы при таких обстоятельствах. Но Лекси до сих пор терзалась раскаянием, сожалением и глубокой ночью снимала со стен картины и вешала по-новому.

Спасала ее, как всегда, работа. «Как нас меняет материнство», — напечатала она и задумалась. Взглянула на картины, почти не видя их, и, склонив набок голову, прислушалась, как там Тео. Ни звука. Тишина, напряженная тишина сна. Лекси вернулась к пишущей машинке.

Мы меняем облик, покупаем туфли без каблуков, стрижемся покороче. Носим в сумочках огрызки сухарей, машинки, лоскутки любимой ткани, пластмассовых кукол. Теряем стройность, сон, разум, виды на будущее. Сердца наши живут отдельной жизнью, вне наших тел, — дышат, едят, ползают и — вот чудеса! — уже ходят, уже разговаривают с нами. Мы усваиваем, что иногда нужно ходить со скоростью улитки, разглядывая каждую палку, каждый камень, каждую смятую жестянку под ногами. Собираясь куда-то, готовы попасть совсем в другое место. Учимся штопать, стряпать, ставить заплатки на колени комбинезонов. Свыкаемся с любовью, что переполняет нас, душит, ослепляет, правит нами. Мы живем. Приглядываемся к себе: растяжки, седина в волосах, странно опухшие ноги. Привыкаем реже смотреть в зеркало. Одежду, за которой трудно ухаживать, прячем подалее в шкаф, а потом и вовсе выбрасываем. Заставляем себя не чертыхаться, а говорить «Боже мой!» и «Господи!». Бросаем курить, красим волосы, высматриваем своих в парках, бассейнах, библиотеках, кафе. Мы узнаем друг друга по коляскам, по бессонным взглядам, по бутылочкам в сумках. Теперь мы умеем сбивать температуру, лечить кашель, помним четыре основных симптома менингита, знаем, что качели иногда приходится качать два часа подряд. Мы покупаем формочки для печенья, пальчиковые краски, передники, пластмассовые судочки. Теперь нас возмущают опаздывающие автобусы, уличные драки, курение в ресторанах, секс после полуночи, расхлябанность, черствость, лень. Мы смотрим на встречных женщин помоложе — размалеванных, с сигаретами, в платьях в обтяжку, с модными сумочками, с блестящими ухоженными волосами — и отворачиваемся, опускаем взгляд, катим дальше коляски.

Феликс приезжал между командировками в Малайзию, Вьетнам, Северную Ирландию, Суэц. Оставался на полдня, на день, а иногда жил у них неделями. Лекси настояла, чтобы он не съезжал со своей квартиры. Отец из него вышел любящий, хоть и слегка отстраненный. Покачает Тео на коленях и берет за газету или лежит в саду на коврике, а Тео возится рядом. Как-то раз Лекси вышла в сад и застала такую картину: Феликс спит, весь в песке, а Тео с лопаткой трудится над спящим отцом,

потихоньку зарывая его в песок.

Трудно сказать, что думал Тео о Феликсе, который появлялся в доме от случая к случаю, с дорогими, но не очень подходящими подарками (конструктор годовалому малышу, крикетная бита ребенку, еще не умевшему ходить). Тео называл его не «папа» («Дурацкое ведь слово?» — говорил Феликс), а просто «Феликс». Феликс называл его «старина», что неизменно раздражало Лекси.

* * *

Тед стоит в саду за домом, задумчиво созерцая цветник. «Цветник» — пожалуй, слово не совсем подходящее. Скорее, «сорнячник». Непроходимая чащоба сорной травы. Полное безобразие.

Тед со вздохом нагибается, тянет из земли особо хищное на вид растение с пышной верхушкой, но сорняк крепко сидит в земле, стебель ломается в руке у Теда. Тед, снова вздохнув, отшвыривает сорняк прочь.

Элина где-то в доме. Тед слышит за спиной, как она без конца что-то говорит Ионе по-фински. Иногда, по ее словам, она переходит на шведский, для разнообразия. Для Теда что шведский, что финский, все одно. Оба языка одинаково непонятны. По-фински он знает два слова — «спасибо» и «презерватив». Раньше Элина редко говорила при нем по-фински — разве что по телефону с родными или при встрече с кем-то из земляков. Зато теперь у нее что ни слово, то на финском.

Взяв садовые ножницы, Тед опускается на колени в траву. Ножницы раскрываются со звонким щелчком — вжик! — лезвие по лезвию. Как ни странно, внутри не заржавели. Тед подносит ножницы ближе к земле — и вжик! Сорняки никнут и валятся. Вжик, вжик! — и все вокруг усыпано травой.

Вчера он застал Элину у окна, что выходит на задний двор. Иону она держала на руках, лицом к выходу, и лишь по тому, как малыш обернулся, поняла, что Тед зашел в комнату.

— Что там интересного? — спросил Тед, обняв ее, и состроил рожицу Ионе, а тот изумленно уставился на него.

— Смотрю на студию, — не повернув головы, отозвалась Элина. — Стою и думаю о...

— О чем?

— Точь-в-точь замок Спящей красавицы.

Что это за сказка? — силился вспомнить Тед. Про хрустальный башмачок? Нет. Про королеву с длинной косой?

— Почему? — спросил он, чтобы потянуть время.

— А ты посмотри! — вспыхнула вдруг Элина. — Ее почти не видно из-за сорняков. Еще пара недель, и совсем зарастет. Когда у меня наконец будет время поработать, я просто-напросто не смогу туда попасть.

И вот Тед, стоя на четвереньках, спасает студию от нашествия сорняков. Он хочет сделать Элине сюрприз. Хочет видеть ее счастливой. Хочет, чтобы малыш не просыпался через каждые три часа. Мечтает если не о прежней жизни, то хоть о какой-то жизни — не как сейчас, проваливаясь из одного дня в другой. Чтобы у Элины не было ни темных кругов под глазами, ни напряженного, горестного выражения лица, что появилось с недавних пор. Чтобы в доме больше не пахло какашками, чтобы стиральная машина не работала с утра до ночи, чтобы Элина не злилась, если он забывает вытащить из машины белье, развесить, сложить, купить подгузники, приготовить ужин, убрать со стола.

Тед щелкает и щелкает ножницами и, расчистив пяточок перед входом в студию, складывает срезанную траву в полиэтиленовый пакет.

Работа нехитрая: одной рукой сгребашь, в другой держишь пакет. Движения, звуки завораживают, убаюкивают. Тед смотрит на свои руки и думает: вот мужчина, глава семьи, полет грядку воскресным днем. Высоко в небе шумит вертолет. Тед прислушивается к своему дыханию — легкие надуваются, будто кузнечные мехи, наполняя его живительным воздухом; руки работают в четком ритме; за оградой дети с шумом едут на велосипедах в сторону Хэмпстед-Хит; сорняки с укоризненным шорохом падают в пакет, и есть что-то знакомое в этом занятии, в движениях, — он что-то вспомнил, провалился в прошлое, будто в ловушку или в кроличью нору. Тед видит себя ребенком, он и есть ребенок, сидит на корточках у края газона, а в руке держит зеленые пластмассовые грабельки.

Тед моргает, выпрямляется во весь рост, вертит головой.

Он снова здесь, в нынешней жизни. Вот сорняки, вот ножницы, вот сад, где-то за спиной — Элина и Иона. Но при этом он маленький мальчик, сидит на корточках с зелеными грабельками в руке, а позади него — люди. Отец в шезлонге и кто-то другой, почти невидимый — лишь край длинного платья и босая нога, ногти выкрашены красным лаком, сброшенные туфли валяются в траве. Отец что-то говорит с сигаретой во рту. «Я совсем не то хотел сказать». За спиной у Теда какое-то движение — собеседница отца встала с шезлонга. Мелькнуло красное платье, взметнулось вихрем вокруг лодыжек. Красный подол, пурпурные ногти, зеленая трава. «Это исключено», — отвечает она.

И уходит.

Платье полощется за ней, она спешит к дому, и что это за дом, что за

место — внутренний дворик с рядом цветочных горшков, узкая дверь? Тед смотрит вслед женщине, идущей прочь по газону, видит длинные блестящие волосы, перехваченные шарфом. «Это исключено». Струятся складки красного платья, мелькают подошвы босых ног. Тед смотрит на свои грабельки, на отца, на сброшенные туфли в траве. Смотрит, как женщина в красном платье до пят, с длинными гладкими волосами, исчезает в темном проеме задней двери.

Из кухни выходит в сад Элина. Одной рукой она держит Иону, на другую наброшено одеяльце. Она пытается расстелить одеяло на траве, но одной рукой неудобно, и она просит:

— Тед, помоги, пожалуйста.

Тед стоит к ней спиной. Он не оборачивается.

— Тед! — снова окликает его Элина, на этот раз громче.

Тед потирает лоб. Одеяльце соскальзывает на деревянный настил. Уложив на него Иону, Элина подходит к Теду, трогает его за плечо:

— Все хорошо?

Тед вздрагивает от ее прикосновения.

— Хорошо, — огрызается он. — Как же иначе? Почему нет?

— Я просто спросила, — обижается Элина. — Не кричи на меня.

— Все хорошо, — повторяет он.

— Вот и отлично. Больше не буду спрашивать.

Тед, что-то буркнув, идет прочь, к клумбе. Элина смотрит на землю, усеянную срезанными цветами.

— Чем ты тут занят?

Тед снова что-то бубнит.

— Что? — переспрашивает Элина.

Тед, повернув голову, отвечает:

— Пропалываю.

— Пропалываешь?

— Ага. Ну и как тебе?

— Не знаю, что и сказать, — вздыхает Элина. — Сорняки ведь не срезают, а вырывают с корнем. Если корни оставить в земле, они вырастут снова, разве не так?

Тед раскрывает ножницы. На стальных лезвиях пляшут солнечные блики, рассыпая по саду искры. Тед и Элина с невольным облегчением начинают спорить, будто в глубине души оба ждали случая выпустить пар. Сорняки перед прополкой надо срезать, вдобавок без листьев растения жить не могут, доказывает Тед.

Он выходит из себя, швыряет ножницы концами вниз, они вонзаются в

землю и торчат из травы, словно воткнутый меч. Элина еще сильнее распаляется: чуть мне в ногу не попал, идиот! Тед кричит: тебе ничем не угодишь!

Иона лежит на одеяльце. Большой палец он засунул глубоко в рот и сосредоточенно сосет. Глаза круглые, немигающие. Он прислушивается к голосу матери, срывающемуся от обиды и гнева, и его четырехмесячный мозг пытается расшифровать, что это может значить для нее, для него. Малыш чуть хмурит лоб, совсем как взрослый.

В раздумье Иона болтает ножками, пытается перевернуться, чтобы увидеть мать, дать ей знать о своей беде. Но ничего не выходит, он слишком мал. С тревожным пискom — тихим, еле слышным — он снова пробует перекатиться на бок. Никак. Он бьется и извивается, как рыба на крючке. И вдруг до него доходит весь ужас его положения. Выпустив изо рта палец, он морщит личико и кричит.

В тот же миг Элина бросается к малышу и, взяв его на руки, убегает в дом.

Тед остается в саду один. Поднимает палку, бьет ею по сорнякам. Вытаскивает из земли ножницы, снова роняет их. И застывает на миг, опершись о стену.

Через полчаса все уже переоделись и сидят в машине. Элина и Тед почти не разговаривают, лишь перекидываются короткими фразами: «Ключи от машины у тебя?» — «Да». Они едут на обед к родителям Теда.

— А я всего-то оставила их на целый день в розетке! — заканчивает рассказ Клара, двоюродная сестра Теда, и все покатываются со смеху, кроме матери Теда, которая ворчит, как опасно оставлять в розетке электроприборы, и Элины, которая не совсем поняла, о чем речь. Что-то про Кларинаго приятеля и щипцы для волос — начало Элина прослушала, но из вежливости улыбается и тихонько смеется, чтобы никто ничего не заподозрил.

Вся семья за столом. На обед подавали жареную рыбу в странной, слегка мучнистой подливке и песочный пирог с крыжовником «прямо из сада», по словам матери Теда. Гарриет, другая двоюродная сестра Теда, сварила кофе, разговор зашел о недавней поездке Клары в Лос-Анджелес, о том, что фильм, который монтировал Тед, уже идет в кинотеатрах, об актере, что живет по соседству. Бабушка Теда ворчит, что просила кофе со сливками, а не с молоком, — молодежь, видно, совсем разучилась варить кофе! А Элина невольно смотрит, как Гарриет держит на руках Иону. Держит в сгибе загорелого локтя. Держит, будто забыв, что у нее на руках

ребенок. Держит так, что он неуклюже лежит на ее коленях, а головка болтается у самого края стола. Гарриет говорит, размахивает руками, звякают серебряные браслеты, и голова Ионы подскакивает при каждом ее широком жесте. На лице Ионы застыло смущение. Он испуган, потерян. Элина безмолвно умоляет Теда, сидящего рядом с Гарриет: выручай сына, выручай сына. Но Тед смотрит на что-то в палисаднике — уже минут пять глядит в окно и совсем не слушает Гарриет. Сейчас, приказывает себе Элина, надо встать и забрать Иону, спокойно, как ни в чем не бывало. Небрежно, мимоходом, будто это не твой ребенок, которого ты любишь больше всего на свете, будто...

— Похожа на ту, другую, да ведь? — бормочет сквозь шум бабушка Теда, указывая на Иону.

Клара наклоняется к бабушкиному уху.

— Это мальчик, — говорит она громко. — Иона. Забыла?

Бабушка трясет головой, будто отмахиваясь от назойливой мухи.

— Мальчик? — сердито переспрашивает она. — Похож на ту, другую. Как по-твоему? — обращается она к дочери.

Но мать Теда занята на кухне, сгружает с подноса тарелки. И разговаривает с отцом Теда — тот попыхивает сигаретой на заднем крыльце и что-то говорит про бокалы для портвейна.

— Что? — переспрашивает Тед. — О чем ты? Какая еще «та, другая»?

Бабушка долго молчит, хмурит брови. Рука ее, взметнувшись в воздух, вновь опускается на ручку кресла-каталки.

— Сам знаешь, — отвечает она.

Тед ерзает на стуле.

— Мама! — кричит он. — Что она такое сказала?

— ...И погаси, ради бога, сигарету, — говорит мать, выходя из кухни с пустым подносом, — здесь ребенок.

— Что она сказала? — повторяет Тед.

Мать собирает пустые бокалы, скомканные салфетки.

— Кто? — спрашивает она у Теда.

— Бабушка сказала, что Иона похож на «ту, другую».

Мать Теда хватая со стола салфетку и ненароком задевает бокал. Темный блестящий ручеек стекает по скатерти, петляя между тарелками и вилками, струится крохотным водопадом на юбку и туфли Элины. Элина вскакивает, промокает вино салфеткой. Клара увозит бабушкино кресло подальше от стола и пролитого вина. И все толпятся вокруг с салфетками, советами, увещеваниями, и Тед все повторяет: «Что она хотела сказать?» — а мать отвечает: «Кто ее знает, сынок», а отец проходит мимо

Элины, обдав ее едким табачным духом, и, когда Элина оборачивается, подмигивает ей: «Переполох в курятнике?»

Элина убегает в туалет, а когда возвращается, за столом никого, комната пуста. У нее щемит сердце, как в детстве, когда не взяли в игру. Через миг Элина видит всех в саду, на ковриках и в шезлонгах. Когда она выходит в сад, до нее долетает голос матери Теда: «А ну-ка, дайте мне скорей ребенка, а то...» Она поспешно умолкает, завидев Элину. Элина садится на коврик рядом с отцом Теда, стараясь ни с кем не встретиться взглядом.

Гарриет передает Иону матери Теда. Та, ахнув, берет ребенка на руки. Длинные острые ногти мелькают рядом со щечкой Ионы, Элина отводит взгляд. Мать Теда, как всегда, станет перекраивать Иону на свой вкус. Пригладит ему хохолок, застегнет на все пуговицы кофточку, натянет рукава до самых кулачков, поправит носочки, а если он без носочков, сделает замечание.

Элина смотрит по сторонам. Гарриет растянулась на коврике, положив голову на колени Клары, обе разглядывают Кларин браслет. Кресло с бабушкой поставили под дерево, и она уснула, положив ноги в шлепанцах на табурет. Тед сгорбился в шезлонге, нога на ногу, руки на груди. Смотрит, как мать нянчится с Ионой? Трудно сказать. Может быть, просто глядит в пустоту.

Станный все-таки дом у родителей Теда. Высокий, этажи будто нанизаны друг на дружку, в середине вьется спиралью винтовая лестница. Окна выходят на площадь с рядом домов-близнецов — железные балконы, одинаковые оконные рамы, окна нижнего этажа забраны черными решетками. За домом садик, несоразмерно маленький. Неприятно смотреть на дом сзади — кажется, он того и гляди рухнет.

— Как дела, мисс Элина?

Она поворачивается к отцу Теда. Тот, с сигаретой в зубах, ищет в карманах зажигалку.

— Спасибо, хорошо.

— Как себя чувствуешь... — щелкнув зажигалкой, он подносит ее к сигарете, вспыхивает огонек, — в роли мамы?

— Гм...

Что на это ответить? Рассказать про бессонные ночи, про бесконечное мытье рук, про то, как с утра до вечера приходится развешивать и складывать крохотные детские вещички, собирать и разбирать сумки с одеждой, подгузниками, салфетками, про шрам поперек живота, похожий на кривую усмешку, про то, как же, в сущности, одиноко сидеть дома с

малышом, как приходится часами стоять на коленях с погремушкой, колокольчиком или лоскутком в руке, как ее тянет подойти на улице к какой-нибудь женщине постарше и спросить: как у вас хватило сил, как вы это выдержали? Или рассказать, что она не была готова к неистовому, бьющему через край чувству, которое не выразишь словом «любовь», что она любит Иону чуть ли не до потери сознания, что иногда она бесконечно тоскует по нему, даже когда он рядом, что это сродни безумию, одержимости, что она то и дело прокрадывается в комнату, где он спит, чтобы просто взглянуть на него, проверить, все ли в порядке, шепнуть ему что-то?

Но вместо этого Элина отвечает:

— Спасибо, хорошо.

Отец Теда, стряхнув на землю пепел, оглядывает Элину снизу вверх, от ног, обутых в сандалии, до лица.

— Тебе идет, — произносит он наконец с улыбкой.

Элина в очередной раз припоминает, как Тед однажды назвал отца «старым распутным козлом», и на миг представляет его на привязи, с белой бородкой. По ее лицу невольно расплывается улыбка.

— Что идет? — спрашивает Элина, сдерживая смех, и голос ее звучит неестественно громко.

Отец Теда затягивается и, прищурившись, смотрит на Элину. В молодости он наверняка был хорош собой. Синие глаза, чуть вздернутая верхняя губа, светлые волосы, теперь поседевшие. Просто удивительно, как бывшие красавцы до старости уверены в своей неотразимости.

— Материнство, — отвечает отец Теда.

Элина одергивает юбку:

— Правда?

— А что мой сын?

Элина бросает взгляд на Теда: он то открывает, то закрывает глаза.

— Что ваш сын? — рассеянно переспрашивает она.

— Хороший из него отец?

— Гм... — Элина смотрит, как Тед, сидя в шезлонге, прикрывает ладонью то один глаз, то другой. — По-моему, — бормочет она, — все отлично.

Отец Теда гасит сигарету о блюдце.

— В наше время было проще.

— Правда? Чем проще?

Он пожимает плечами:

— От нас ничего не требовалось — ни подгузники менять, ни варить,

ничего. Нам все давалось легко. Купать ребенка время от времени, водить по воскресеньям в парк, на день рождения, в зоосад и тому подобное. Вот и все. А им тяжело приходится. — Он кивает на Теда.

Элина сглатывает.

— А как же...

Из сада доносится: «Боже!» Не успев сообразить, в чем дело, Элина уже на ногах.

Мать Теда держит Иону подальше от себя, сморщив нос:

— Займись им.

— Конечно, сейчас. — Элина, подхватив Иону, несет его в дом. Иона, запустив пальчики Элине в волосы, лопочет ей в самое ухо: «Угум-брр!» — будто делится тайной.

— И тебе угум-брр, — шепчет Элина и, взяв в прихожей сумку, несет Иону в ванную. Ванная совсем небольшая — мать Теда называет ее «уборная», и Элине вначале представлялась уборная актрисы. Элина кладет возле раковины салфетки, чистый подгузник. И, сев на крышку унитаза, укладывает на колени Иону.

— Вввяк! — ликующе визжит Иона, хватаясь за свои пятки, за волосы и рукав склонившейся над ним Элины, и стены крохотной ванной отзываются эхом.

— Ох, — бормочет Элина, выпутывая пальцы Ионы из своих волос, расстегивая его костюмчик, — очень уж громко у тебя получилось! Скажем так... — И умолкает. А потом восклицает: — Ой!

Ноги и спина Ионы в жидких какашках; они протекли сквозь распашонку, кофточку, костюмчик и просачиваются сквозь юбку Элины. Таких фонтанов он не пускал уже давно, и надо же этому случиться именно здесь, именно сейчас!

— Черт, — бурчит Элина, — черт, черт!

Она расстегивает костюмчик, выпрастывает из рукавов ручки Ионы, осторожно, чтобы не испачкать его. Иона возмущен, что его раздевают. На его личике проступает растерянность, нижняя губка выпячивается.

— Что ты, что ты, — приговаривает Элина, — все хорошо, хорошо. Уже почти все.

Она поспешно стягивает с него костюмчик и отшвыривает прочь. Когда Элина стаскивает с Ионы распашонку, вдруг раздается отчаянный вопль — должно быть, она нечаянно задела ухо. Малыш, весь напрягшись от гнева, судорожно вздыхает, готовый вновь закричать.

Скомкав грязную одежду, Элина бросает ее на пол. Одним движением перевернув Иону, который визжит и брыкается, она торопливо вытирает ему спину. В ванной нестерпимо жарко. Пот выступает над губой, под мышками, струится вдоль спины. Иона лежит голенький, сердитый, скользкий от влажных салфеток. Элина тянется за чистым подгузником — только бы надеть, и все будет хорошо. Тельце Ионы вдруг напрягается. Подгузник уже у нее в руке — еще чуть-чуть, — и тут Иона вновь выпускает зловонную струю.

Струя получается необычайной силы. Элина еще вспомнит об этом, а сейчас ей не до раздумий. Все забрызгано: стена, пол, юбка, туфли. Элина слышит собственный голос: «Боже!» — будто издалека. Она застывает на миг, не в силах пошевелиться, не зная, что делать. Прижав подбородком к груди подгузник, она шарит в сумке в поисках салфеток, и тут Иона пускает новую струю. Элина успевает лишь подумать: все в дерьме — «уборная», я, Иона. Жгучие слезы наворачиваются на глаза. За что хвататься? Отмывать ребенка? Стену? Плинтус? Белоснежное полотенце для рук? Юбку? Туфли? Даже пальцы ног и те в дерьме, скользкие, липкие. Дерьмо просачивается сквозь юбку, вонь неопишуемая. А Иона все кричит и кричит.

Элина, наклонившись вперед, щелкает шпингалетом.

— Тед! — зовет она. — ТЕД!

В прихожую вбегает Клара, бровь дугой. Элина окидывает взглядом ее шелковое плиссированное платье, золотистые босоножки с тонкими ремешками.

— Эй, — окликает ее Элина сквозь дверную щелку, стараясь не выдать волнения, — позови, пожалуйста, Теда.

Спустя минуту в «уборную» проскальзывает Тед. Элина рада ему как никогда.

— Боже, — восклицает Тед, глядя по сторонам, — что стряслось?

— Сам догадайся, — устало отвечает Элина. — Возьмешь Иону?

Тед нерешительно оглядывает себя сверху вниз.

— Хочешь — возьми Иону, а хочешь — вымой пол, — предлагает Элина, пытаясь перекрычать вопли малыша. — Как тебе больше нравится.

Тед берет орущего, извивающегося Иону и держит на вытянутых руках. Элина вытирает сына, сует Теду чистый подгузник:

— Хорошо, вот сменная одежда. Ты оденешь его, а я наведу порядок.

Тед протискивается к раковине, а Элина, встав на четвереньки, отмывает стены, плинтус, пол. Закончив, она идет к двери мимо Теда, который надевает на Иону распашонку наизнанку.

С минуту Элина стоит в прихожей, прислонившись к стене, закрыв глаза. Иона уже не кричит, а хрипло, надрывно всхлипывает. Слышатся шаги, выходит из ванной Тед. Элина открывает глаза. Перед ней сын, весь заплаканный, сосет палец.

— Надо бы тебе переодеться в чистое, — замечает Тед.

Элина вздыхает, прячет лицо в ладонях.

— Может, пойдём домой? — говорит она сквозь пальцы.

Тед раздумывает.

— А мама как раз чай заварила. Попьем чаю — и сразу домой, ты не против?

Руки Элины бессильно падают; Тед избегает ее взгляда. Велико искушение придраться к чему-то, затеять спор, но Элина спохватывается:

— Кстати, как себя чувствуешь?

Тед смотрит на нее:

— А что?

— Ты опять делал вот так.

— Как?

Элина хлопает глазами:

— Вот так.

— Когда?

— В саду. Только что. И ты как будто... как бы это сказать... где-то витаешь.

— Ничего подобного.

— Со стороны виднее. Что с тобой? Опять это? У тебя...

— Все хорошо. Я здоров. — Тед прижимает к плечу Иону. — Попрошу у мамы что-нибудь из одежды. — С этими словами он исчезает.

Элина поднимается следом за матерью Теда по винтовой лестнице, виток за витком, мимо закрытых дверей. В этой части дома ей бывать не случилось. Да что там, дальше просторной гостиной на втором этаже она

никогда не заглядывала. Мать Теда ведет ее на четвертый, в спальню с бежевыми толстыми коврами, где шторы прихвачены шнурами с кистями.

— Ну, — мать Теда открывает платяной шкаф, — не знаю, что тебе и предложить. Ты ведь настолько крупнее меня. — Она сдвигает в сторону вешалку, другую. — То есть выше.

Элина смотрит из окна на площадь, на деревья, качающиеся на ветру. Листья оторочены рыжевато-бурой каймой. Неужто и вправду осень?

— Ну как, подойдет?

Элина оборачивается: мать Теда протягивает бежевое трикотажное платье.

— Красивое, — отвечает Элина. — Спасибо.

— Переоденешься здесь? — Мать Теда открывает дверь, и Элина исчезает внутри.

Перед ней гардеробная. На обоях большие желтые хризантемы с изогнутыми стеблями. У окна — туалетный столик, сплошь уставленный флаконами, баночками, пузырьками. Элина подходит ближе, расстегивает юбку. Юбка соскальзывает на пол, а Элина, склонив набок голову, читает этикетки: «омолаживающая формула», «для шеи и декольте». Элина усмехается — кто бы заподозрил мать Теда в подобных маленьких слабостях? — и вдруг видит себя в зеркале, без юбки, в запачканной дерьмом блузке, растрепанную, с кривой ухмылкой. Элина опускает взгляд, срывает блузку и натягивает противное платье. И, пытаясь справиться с молнией, вдруг замечает кое-что другое.

Из-за туалетного столика выглядывает угол холста. Здесь, в комнате матери Теда, он кажется до смешного неуместным.

В первый миг Элина отмечает про себя лишь это: картина в самом неподходящем месте, у стены, спрятана за мебелью. Видит толстый слой краски, цветовую гамму: серый, тускло-синий, черный. Элина забывает о молнии. Опустившись на корточки, она тянется потрогать картину, ощутить неровности холста, но в последний миг одергивает себя.

Элина подбирается ближе к картине, потом отодвигается. Видна лишь узкая полоска, сантиметров десять. Она смотрит на водоворот мазков, видит следы кисти на холсте. Нет сомнений, чья это работа, но Элина, сама себе не веря, подлезает под туалетный столик, чтобы разглядеть картину как можно лучше. Приникнув к самому полу, она наконец замечает в правом нижнем углу подпись художника, черной краской, чуть смазанную, — ошибки быть не может.

Услышав стук в дверь, Элина в испуге вздрагивает и ударяется головой о крышку столика.

— *Auts*,^[27] — чуть не плачет она. — *Kirota*.^[28]

— Все хорошо? — спрашивает из-за двери мать Теда.

— Да. — Элина вылезает из-под стола, потирая макушку. — Все в порядке. Простите. — Она открывает дверь, откинув волосы со лба. — Я... э-э... я...

Мать Теда входит в комнату. Они смотрят друг на друга с опаской, как две кошки на узкой тропинке. Нечасто они оказываются наедине. Мать Теда оглядывает комнату, будто боится, что ее ограбили.

— Я кое-что уронила, — мямлит Элина, — и... э-э...

— Помочь застегнуть?

— Да, — Элина облегченно вздыхает, — пожалуйста. — И поворачивается спиной. Едва мать Теда кладет руки ей на талию, Элина вновь видит угол картины, беспорядочные мазки. — У вас под туалетным столиком Джексон Поллок! — выпаливает она.

Руки матери Теда замирают на полпути.

— Правда? — Голос ее спокоен, сдержан.

— Да. Вы представляете, сколько это стоит... Да неважно. Но... это огромная ценность. И очень большая редкость. Интересно, откуда... как вы... откуда у вас...

— Семейная реликвия. — Мать Теда застегивает Элине молнию, потом подходит к туалетному столику. Смотрит на край холста. Трогает баночки и пузырьки, словно проверяя, все ли на месте. Поправляет ручное зеркало. — Есть другие...

— Тоже Поллок?

— Нет. Не думаю. Вероятно, работы его современников. Я, к сожалению, не знаток живописи.

— Где они?

Мать Теда небрежно машет рукой:

— Где-то здесь. Как-нибудь покажу.

Слова застревают у Элины в горле. Вот чудеса! Она в комнате матери Теда, в ее платье, а рядом — Джексон Поллок, спрятанный в угол, будто хлам с распродажи, а они рассуждают о бесценной коллекции, как о безделушках.

— Да, — отвечает она с трудом, — хотелось бы взглянуть.

Мать Теда вежливой улыбкой дает понять, что разговор окончен.

— А как твоя работа, движется?

Элина задумывается. Работа? Какая работа?

— Нет, сейчас не до того. — Она запускает руку в волосы, не в силах отвести взгляд от полоски холста.

— Пойдем вниз?

— Да, конечно. — Элина поворачивает к двери, но взгляд возвращается к картине. — Вот что, послушайте, миссис Р...

— Ах, ради бога, — перебивает мать Теда, выскользнув из комнаты и распахнув перед Элиной дверь, — прошу тебя, называй меня просто Марго.

* * *

Лекси сидит за столом в редакции «Курьера», постукивая ручкой о корпус телефона. Потом, схватив трубку, набирает номер.

— Феликс? Это я.

— Дорогая, — слышится в трубке, — я как раз думал о тебе. Ну что, увидимся вечером?

— Нет, у меня срочная работа.

— Я к тебе приду, попозже.

— Нет. Не слышал, что я сказала? У меня срочная работа. Сяду за машинку, как только Тео уснет.

— А-а.

— А хочешь, приходи, приготовь ему ужин. Я начну раньше.

Недолгое молчание.

— Что ж, — начинает Феликс, — пожалуй, смогу. Но дело вот в чем...

— Ладно, не надо, — нетерпеливо отвечает Лекси. — А можешь меня выручить?

— Все, что хочешь.

— Меня посылают в Ирландию, взять интервью у Юджина Фитцджеральда.

— А кто это?

— Скульптор. Величайший из ныне живущих. Редкая удача, что он согласился дать интервью...

— Ясно.

— Значит, — Лекси не слушает: она должна договорить, сейчас или никогда, — мне нужно ехать, и я хотела узнать, не мог бы ты присмотреть за Тео.

Снова молчание, на сей раз потрясенное.

— За Тео? — переспрашивает Феликс.

— За нашим сыном, — поясняет Лекси.

— Да, но... видишь ли... А твоя итальянка?

— Миссис Галло? У нее не получится, я уже спрашивала. К ней приезжают родственники.

— Понятно. Видишь ли, я бы с радостью, честное слово. Но дело в том, что...

— Все, — перебивает Лекси, — забудь. Я и так сомневалась, стоит ли тебя просить, но раз тебе противна даже мысль о том, чтобы присмотреть за ним три дня, — просто выкинь это из головы.

В трубке слышен вздох:

— Разве я что-нибудь такое говорил? Разве я ответил нет?

— Все и без твоих слов ясно.

— Ты сказала — три дня?

— Я сказала, забудь. Я передумала. Попрошу кого-нибудь другого.

— Дорогая, я присмотрю за ним, конечно. С удовольствием.

На этот раз Лекси медлит, пытаюсь понять, искренне ли он говорит, нет ли в его словах подвоха.

— Наверняка мама приедет из Саффолка, — продолжает Феликс. — Ей это в радость. Знаешь ведь, она души не чаёт во внуке.

Лекси задумчиво хмыкает. Мать Феликса всех удивила — несмотря на свой первоначальный ужас от того, что Феликс и Лекси не женаты, стала заботливой бабушкой и по первому зову, отложив собрания женского клуба и варку варенья, мчалась в Лондон повидать Тео и погулять с ним, если Лекси нужно работать. Положа руку на сердце, Лекси рассчитывала на ее приезд. Она ни за что не доверила бы Тео одному Феликсу. Одному богу известно, что могло бы приключиться с ребенком. Другое дело Джеральдина, с ее шелковыми платками и резиновыми ботами, — само спокойствие и надежность. И Тео ее обожает. Но Лекси все еще злится на Феликса за то, что он согласился с такой неохотой.

— Подумаю, — отвечает она.

— Отлично, — говорит Феликс, и по голосу слышно, что он улыбается. — Поговорю с мамой, ладно? Узнаю, согласится ли старушка.

— Как хочешь, — отвечает Лекси и вешает трубку.

Как выясняется, Джеральдина Рофф занята. Ей, к сожалению, никак нельзя отложить дела церковные, надо выстирать на престольную пелену... в подробности Лекси не вникала. Итак, придется взять Тео с собой, другого выхода нет. Начало февраля. Англия окутана туманом, всюду слякоть, на тротуарах кучи грязного снега. Лекси едет поездом в Холихед, а оттуда — ночным паромом в Корк. Паром качается на серо-стальных волнах Ирландского моря, а Лекси, стоя у борта, натягивает Те о вязаную шапочку по самые уши, укутывает его в одеяло. Паром прибывает в Корк в предрассветной синеве, под морозящим дождиком. Лекси меняет Тео

подгузник на полу портового туалета. Тео, возмущенный подобной бесцеремонностью, кричит и брыкается, несколько женщин останавливаются поглазеть. Лекси садится на поезд, идущий вдоль извилистой береговой линии. Тео, прижавшись лицом к стеклу, изумленно выкрикивает: лошадь, ворота, трактор, дерево. Около полудня они прибывают на полуостров Дингл, и словарный запас Тео иссякает. «Море, — подсказывает Лекси, — пляж, песок».

Когда поезд замедляет ход и мимо проносится зеленая табличка «Скибберлоу», Лекси вскакивает, сажает Тео в рюкзак и взваливает на плечи, достает с полки чемодан. «Скибберлоу — Скибберлоу — Скибберлоу, — мелькает в окне, — Скибб...» Распахнув дверь, Лекси невольно отступает: платформы нет, внизу раскисшая дорога. Лекси выглядывает из дверей. Так называемая станция пустынна. Небольшой деревянный навес, зеленая табличка, два ряда путей — и больше ничего.

Лекси кидает на землю чемодан, потом спускается сама. Поезд со скрипом и лязгом трогается. Тео тараторит и визжит от восторга. Лекси поднимает из грязи чемодан, и, едва она подходит к деревянному навесу, перед ней вырастает человек.

— Простите, — обращается к нему Лекси, — не могли бы вы мне помочь?

— Вы, я полагаю, мисс Синклер из «Дейли курьер», — отвечает он отрывисто, выговор выдает британца. Значит, не Фитцджеральд. Лицо серьезное, волосы слегка взъерошены, воротник на сторону, пиджак расстегнут. Он с неприкрытым ужасом разглядывает Лекси — грязные туфли, ребенка за спиной, сбившуюся прическу, — но воздерживается от замечаний. Из чувства такта, как понимает Лекси. — Сюда. — Он протягивает руку к ее чемодану, берется за ручку.

Лекси не отпускает чемодан.

— Я сама, — говорит она, — спасибо.

Ее спутник, пожав плечами, выпускает ручку.

На обочине их ждет грузовичок с открытым верхом, под слоем грязи и ржавчины едва угадывается красный цвет. Ее провожатый карабкается на водительское сиденье, пока Лекси пристраивает чемодан в кузове, среди корзин для собак и рулонов провололочной сетки.

Лекси устраивается на пассажирском сиденье, с Тео на коленях, и, когда они выезжают на главную дорогу, внимательно оглядывает человека за рулем. Замечает очки в нагрудном кармане твидового пиджака, синее чернильное пятно на указательном пальце правой руки, книгу между сиденьями, а рядом — английскую газету недельной давности (это не

«Курьер», а их главный конкурент); замечает откинутые со лба волосы, седину на висках.

— Я полагаю, — начинает она, — вы работаете с Фитцджеральдом?

Ее собеседник, как она и ожидала, хмурится:

— Нет.

Некоторое время они едут по узкой дороге молча.

— Брум-брум, — гудит Тео.

Лекси улыбается ему, провожает взглядом придорожную церковь, из деревянных дверей которой выходит женщина.

— Вы его друг?

На этот раз он не хмурится, лишь отвечает «нет», почти не разжимая губ.

— Сосед?

— Нет.

— Родственник?

— Нет.

— Слуга?

— Нет.

— Агент? Врач? Священник?

— Ни то, ни другое, ни третье.

— Скажите, вы на любой вопрос отвечаете так односложно?

Он бросает взгляд в зеркало заднего вида и, одной рукой держась за руль, другой потирает подбородок. Дорога вьется и вьется. Черные кривые ветви терновника, осел на привязи.

— Строго говоря, — отвечает ее собеседник, — это были не вопросы.

— Вопросы.

— Нет. — Он качает головой. — Не вопросы, а утверждения. Вы утверждали: «Вы работаете с Фитцджеральдом. Вы его родственник», а я отрицал.

Лекси смотрит в упор на чужака, который вторгся в область, где она — специалист.

— Утверждение может выступать в роли вопроса.

— Не может.

— С точки зрения грамматики — может.

— Нет. В суде это не пройдет.

— Мы не в суде, — возражает Лекси. — Мы, насколько я знаю, в вашем грузовике.

— Грузовик! — выкрикивает Тео.

— Не в моем, — поправляет человек за рулем. — В грузовике

Фитцджеральда. В одном из его грузовиков.

— Так вот вы кто — юрист?

Он на секунду задумывается. И отвечает:

— Нет.

— Адвокат? — предполагает Лекси.

Он качает головой.

— Судья?

— Тоже нет.

— Шпион? Тайный агент?

Впервые за весь разговор он смеется, и смех у него на удивление приятный — звучный, бархатный. Услышав этот смех, хохочет и Тео.

— Не вижу иных причин для вашей скрытности. Ну же, доверьтесь мне, я вас не выдам.

Машина проезжает крутой поворот.

— Думаете, я поверю словам журналистки? — Машину подбрасывает на ухабе, они подпрыгивают на сиденьях. Тео вновь заливается смехом. — Не хочу пока открывать вам правду, — признается собеседник, — она покажется вам скучной. Я сочту за честь продлить сказочную жизнь, придуманную вами для меня.

— Ну же, сознавайтесь, не мучайте меня.

— Я биограф.

Лекси в раздумье. Она снова смотрит на испачканный чернилами палец, на очки в кармане. И улыбается:

— Теперь понятно.

— Что именно?

Лекси пожимает плечами, глядя вперед, на дорогу.

— Теперь все понятно.

— Что именно?

— Вы. Понимаю, почему вы... приняли меня в штyki. Я вам здесь не нужна. Вы работаете над биографией Фитцджеральда, а тут конкурентка.

— Конкурентка? — Автомобиль карабкается на крутой подъем, и вот уже деревья позади, а перед ними — большой старый дом на обрыве. — Милая моя, если вы думаете, что ваше интервью, или что вы там хотите от Фитцджеральда, представляет угрозу для моей работы, вы глубоко заблуждаетесь.

Лекси, придерживая Тео, распахивает дверь, тянется за чемоданом.

— Скажите, вы и пишете так же, как говорите? — спрашивает она.

Ее спутник высовывается из кабины, смотрит на нее:

— Что вы имеете в виду?

— Просто любопытно, всегда ли у вас вместо десяти слов — двадцать?
Он снова смеется и идет к дому по усыпанной гравием дорожке. У дверей он становится вполоборота:

— Я хотя бы знаю разницу между вопросом и утверждением.

Лекси, захлопнув дверцу машины, следует за ним в дом.

Фитцджеральда нигде не видно. И когда Лекси и Тео поднимаются на крыльцо, оказывается, что их провожатый куда-то исчез. Лекси стоит в прихожей. Пол, выложенный каменными плитами, прикрывают ветхие коврики. На второй этаж ведет широкая лестница. На стенах старинные сцены охоты вперемешку с абстрактными набросками углем. На вешалке поеденные молью пиджаки, остовы зонтов. В перевернутой соломенной шляпе спит, свесив наружу лапы, полосатая кошка. В плетеном кресле гора немытой посуды. Потолок над ними возвышается куполом, и Тео, запрокинув голову, кричит: «Эхо! Эхо!» Эхо отзывается, тихо, искаженно, Тео и Лекси смеются.

На шум выходит хмурая женщина в переднике. Она ведет Лекси и Тео в другую дверь, а оттуда — через темный коридор и вверх по узкой лестнице, ворча под нос, что во всем доме она одна работает. Распахнув дверь комнаты с белеными стенами, сводчатым потолком и высоченной кроватью, она делает Лекси знак войти. Лекси спрашивает, как зовут человека, который вез их до дома, и слышит в ответ:

— Мистер Лоу.

Лекси на минуту задумывается.

— Роберт Лоу?

Экономка пожимает плечами:

— Откуда мне знать?

Лекси спрашивает, давно ли он здесь, и экономка, закатив глаза, отвечает:

— Уж слишком.

У Лекси вырывается смешок. Экономка на удивление охотно возится с Тео, пока Лекси распаковывает чемодан. Роберт Лоу работает с утра до ночи, рассказывает экономка, хлопая в ладоши, а Тео хлопает в ответ. В комнате у него всюду книги, бумаги, черновики. Все перевернуто! Из него слова не вытянешь, зато жена ему каждую неделю шлет телеграммы — никаких денег не хватит! Мистер Лоу ей каждый день пишет. Ходит в деревню отправлять письма. Жена его инвалид. Последнее слово экономка произносит с придыханием. Прикована к коляске, бедняжка. Понятно, отвечает Лекси, много времени мистер Лоу проводит с мистером Фитцджеральдом? Экономка усмехается, качает головой: нет. «Сам» (так

она именует Фитцджеральда) работает над чем-то крупным и не хочет, чтобы его беспокоили. Что ни день, мистер Лоу стучится в дверь студии, а Сам отвечает: нет, в другой раз.

Стоит экономке уйти, Тео в тот же миг засыпает. Лекси выкладывает на ночной столик блокноты, ручки, надевает свитер потеплее и выглядывает из квадратного окошка, точно вдавленного в толстую каменную стену. Внизу — мощеный внутренний дворик, поросший мхом, посреди дворика — одинокий деревянный стол со стульями. Длинноногий черный пес заглядывает во двор, принюхивается и уносится прочь.

На Лекси вдруг нападает лютый голод. Она сажает Тео в рюкзачок, осторожно, чтобы не разбудить, и взваливает на спину. В узком коридорчике, что ведет в ее комнату, ни души, вдоль стены — ряд пустых стульев. Лекси открывает наугад первую дверь и оказывается в библиотеке, пропахшей сыростью; другая дверь ведет в ванную с облупленными стенами, на ванне зеленые потеки от неисправного крана. Лекси спускается по черной лестнице, отыскивает кухню и, поколебавшись, открывает буфет. В нем кое-как свалены тарелки, чашки и рыболовные снасти. Лекси находит керамический горшок, накрытый крышкой, а в нем — полбуханки хлеба. Лекси отламывает кусок и сует в рот.

Она блуждает по двору, по саду, по лужайкам, где буйствуют конский щавель и клевер. Тео крепко спит, уткнувшись ей в шею головой. На пути попадает бассейн, на дне только прошлогодние листья да лужица грязной воды. Лекси ступает на мостки и стоит там — будто застывшая картина, мать и дитя, парящие в воздухе. Потом огибает то ли флигель, то ли сарай, с высокими, ярко освещенными окнами, изнутри доносится стук и шарканье. Это, должно быть, и есть студия Фитцджеральда. Лекси еще раз обходит флигель, но через окна виден лишь потолок и горящие лампочки. Лекси возвращается в комнату, бережно укладывает Тео на кровать и ложится рядом. Через миг она уже спит.

Будит ее громкий звон. Лекси в испуге вскакивает, так и не досмотрев сон об Иннесе, о редакции «Где-то». В комнате темно и холодно. Тео лежит рядом, задрал ножки, сосет палец и что-то мурлычет.

— Мама, — он хватается Лекси за шею, — мама спит.

— Верно, — отвечает Лекси. — Только я уже проснулась.

Лекси слезает с кровати. И снова тот же звук — гонг, созывает всех на обед. Лекси зажигает свет, отыскивает в ворохе одежды шерстяной жакет и накидывает поверх свитера; проводит по волосам расческой, подкрашивает губы и, взяв на руки Тео, спускается по лестнице.

В столовой ни души. Стол накрыт на троих, дымятся три миски супа, а

есть никто не торопится. Чувствуя себя Белоснежкой, попавшей в дом семи гномов, Лекси садится за один из приборов и принимается за еду — ложку себе, ложку Тео, стоящему рядом.

— Где все? — обращается она к Тео, а Тео заглядывает ей в лицо, силясь понять.

— Все, — эхом отзывается он.

Лекси выпивает бокал вина. Велико искушение взяться за вторую миску супа, но Лекси одергивает себя. Она разламывает на куски булочку и ест. Тео, увидев корзинку сосновых шишек, вынимает их по одной, потом складывает обратно. Вваливается экономка с блюдом жареной картошки и холодного мяса, ставит блюдо на стол тяжело, неуклюже, сетуя на пустые стулья. Лекси накладывает в тарелку мяса с картошкой и ест, успевая кормить и Тео, когда удаётся его отвлечь от шишек.

Лекси встает из-за стола, подходит к огромному камину, где пылают дрова, и греется, глядя, как Тео расставляет шишки на каминной полке. Со всех сторон пустые диваны и стулья, будто она хозяйка в ожидании гостей. На стенах картины в рамах. Лекси подходит, чтобы рассмотреть их хорошенько. Этуд Фитцджеральда, еще этуд, карандашный набросок обнаженной женщины; Лекси стоит, переминаясь с ноги на ногу, потом идет дальше. Она дожевывает остатки булки, глядя на Ива Кляйна.

— Это не его, — раздаётся за ее спиной голос.

Лекси не оборачивается.

— Знаю, — отвечает она.

Слышно, как Роберт тяжело садится на стул, накладывает в тарелку картошку. Лекси подходит к следующей картине — этюду Дали.

— Привет! — кричит Тео и несется к Роберту по ковру, сам не свой от радости: пришел новый человек.

Лекси слышит, как Роберт бормочет: «Привет! Что у тебя там?»

— Привет! — опять кричит Тео.

— Я читала одну из ваших книг, — говорит Лекси.

— Правда? — Роберт старается отвечать непринужденно, и все же в голосе слышна неуверенность. — Какую?

— О Пикассо.

— А-а.

— Хорошая книга.

— Спасибо.

— Хотя к Доре Маар^[29] вы, пожалуй, слишком суровы.

— Вы так думаете?

Лекси оборачивается, смотрит на него. На нем другой пиджак, белая

рубашка с расстегнутым воротом.

— Да. Вы изобразили ее прихлебательницей, а между тем она по-своему талантливая художница.

Роберт Лоу поднимает бровь:

— Вы видели ее работы?

— Нет, — признается Лекси. — Мое суждение ни на чем не основано.

Она садится за стол напротив Роберта. Те о забирается к ней на колени, в каждом кулаке по шишке.

— Осторожно, — говорит он Роберту. — Горячо.

Роберт улыбается ему:

— Спасибо. Обещаю есть осторожно.

— Куда же Фитцджеральд запропастился? — недоумевает Лекси.

— Горячо, горячо, — снова предупреждает Тео.

Роберт пожимает плечами, разводит руками:

— В самом деле, куда?

— Там, в сарае, его студия?

Роберт кивает:

— Может, он там, а может, где-нибудь в лесу, стреляет фазанов. Или в деревне, в пабе, волочит за юбками. Или охотится на лисиц. Или укатил в Дублин. Кто его знает. У Фитцджеральда свое расписание.

— Горячо! — восклицает Тео, а Роберт кивает и для вида дует на суп.

Лекси комкает салфетку.

— Может, я просто пойду, постучусь и скажу...

— До него не достучаться. Даже если он у себя.

Лекси смотрит на Роберта. По лицу его невозможно угадать, правду ли он говорит.

— А вдруг он не знает, что пора обедать?

— Поверьте, знает. Просто решил не приходить. Мы в его власти. Ждем, когда он соизволит прийти.

— Вот как? — Лекси достает из вазы с фруктами яблоко. — Очень даже... в духе прошлого века.

— Прошлого века?

— Да. Мы с вами как девицы на выданье перед смотринами.

Роберт фыркает в миску с супом:

— Я не чувствую себя девицей на выданье.

Лекси смеется.

— Да уж, нечего сказать, девица!

Роберт отодвигает тарелку, положив на нее вилку и нож:

— Спасибо. — Он долго смотрит на вазу с фруктами. Берет яблоко и

кладет обратно; повертев в руке сливу, тоже откладывает и наконец выбирает грушу. — Вы замужем за военным корреспондентом? — спрашивает он, разрезая грушу вдоль.

— Груша! — кричит в восторге Тео. — Груша!

Лекси с хрустом отламывает от яблока черенок.

— Не замужем.

— Ну ладно. Я просто хотел сказать, что вы... — Роберт взмахивает в воздухе ножом и ждет, что Лекси закончит фразу.

Но Лекси не спешит на выручку.

— Что я?

— Что вы с ним. Вместе. Что вы семья. Пара. Любовники. Союз. Как вам угодно. — Он протягивает Тео ломтик груши.

— Гм. — Лекси кусает яблоко. — Откуда вы знаете?

— Что знаю?

— Про Феликса. И про меня.

— Что за навязчивый вопрос!

— В самом деле?

— Я видел вас вместе на презентации книги. Год или два назад. Вы были тогда беременны.

— Правда? А что за книга?

— Биография Гитлера.

Лекси задумывается.

— Не припомню, чтобы мы были знакомы.

— Мы и не знакомились. — Роберт улыбается. — Телевизионщики сторонятся пишушей братии.

Лекси выходит из себя:

— Я не телевизионщица.

— Вы жена одного из них.

— Нет, не жена.

— Жена, подруга. Не надо цепляться к словам. — Он отрезает еще ломтик груши для Тео. — Впрочем, мы и до этого встречались.

Лекси вскидывает взгляд:

— Когда?

— Давно. — Роберт смотрит на свою тарелку, на ломтик груши, с которого снимает кожицу. — Вы приходили ко мне домой.

— Правда?

— С Иннесом Кентом.

Лекси, отложив яблоко, приглаживает вихор на макушке Тео, поправляет ему слюнявчик.

— Моя жена — заядлый коллекционер, — объясняет Роберт. — Она несколько раз покупала у Иннеса картины. Мы всегда доверяли его вкусу — в живописи он знал толк.

Лекси откашливается.

— Верно.

— Вы привезли литографию Барбары Хепворт — да, именно. Она и сейчас у нас. Он привез ее на заднем сиденье автомобиля. Вы ждали в прихожей и говорили с нашей дочкой о пожарных машинах, пока он заносил картину в дом.

Лекси берет вилку, серебряную, изящную. Вилка кажется странно тяжелой, будто вот-вот выпадет из руки, если не держать изо всех сил.

— Помню, — отвечает она. — Это было...

Роберт, метнув на нее взгляд исподлобья, отворачивается.

— Давным-давно, — заканчивает он за нее.

Остаток обеда проходит в молчании.

Наутро Тео просыпается ни свет ни заря и будит Лекси. Ей удается продержать его в комнате до семи. Лекси принимает ванну (вода ледяная), а после завтрака выходит с Тео во двор. Надо взять интервью у Фитцджеральда, посмотреть его работы и сегодня же ехать в Лондон.

Лекси просит экономку присмотреть за Тео, и та охотно соглашается. Они идут в сад с корзиной белья и прищепками. Экономка что-то говорит, а Тео выкрикивает: прищепка, цветок, нога, башмак, трава.

Двери студии закрыты, но вчерашний висячий замок болтается на цепи незапертый. Лекси, стоя у дверей, разглядывает замок, берет в руку. Величиной с человеческое сердце, приходит ей в голову.

— Его нет, — раздается за ее спиной голос Роберта, — в этот час его обычно не бывает.

Лекси резко оборачивается:

— У вас привычка подкрадываться сзади?

— Вовсе нет.

Лекси вздыхает, выпуская изо рта белый парок.

— Мне нужно в Лондон. Я надеялась успеть вечером на паром.

Роберт хмурится, шаркает ногой по земле.

— Вы всегда ездите одна?

— Нет, — отвечает Лекси. — Не одна, а с Тео.

— Я не об этом, — бормочет Роберт. — Я о том, что это... не совсем правильно, так?

— Что?

— Когда женщина путешествует одна с маленьким ребенком.

— Ну и что, — отвечает Лекси с ноткой досады и отступает на пару шагов от дверей студии. — Да и выбирать не приходится. Не знаю, как быть дальше, — говорит она будто бы про себя. — Не могу же я здесь торчать до бесконечности.

Позади нее вдруг раздается громкий стук. Это Роберт Лоу барабанит кулаком в дверь сарая. Спустя миг дверь приотворяется.

— Фитцджеральд, — говорит Роберт, — позвольте представить Лекси Синклер, она из лондонского «Дейли курьер». Вы, насколько я знаю, согласились дать ей интервью. Она спешит в Лондон. Сможете принять ее сейчас?

Интервью проходит гладко. Фитцджеральд показывает Лекси обнаженную, над которой работает. Он учтив и словоохотлив — редкая удача. Может быть, потому, что удалось застать его с утра. Лекси расспрашивает его о детстве, и Фитцджеральд рассказывает пару достойных цитирования историй о своем жестоком отце. Он пространно рассуждает о вдохновении, об истории своего дома, делится своими взглядами на англо-ирландские отношения. Под конец Лекси демонстративно откладывает блокнот — как всегда, поскольку собеседник раскрывается по-настоящему, лишь будучи уверен, что это не для печати. Так учил ее Иннес, и Лекси всякий раз думает о нем, когда откладывает блокнот. «Войди к ним в доверие, Лекс, веди себя как друг, — говорил Иннес, — и они тебе все расскажут, все покажут».

Фитцджеральд показывает Лекси свои инструменты — ряды резцов, любимый молот, — куски мрамора для будущей работы. Пускается в разговор о своих женах, считая их по пальцам. Очень откровенно рассуждает о сексе. Лекси сдержанно кивает. Она следит, чтобы их разделяла скамья. Но едва Лекси, поблагодарив его, направляется к выходу, Фитцджеральд хватает ее за руку, прижимает к краю раковины; Лекси чувствует его зловонное старческое дыхание, скрюченные артритом пальцы стискивают ей талию.

Лекси откашливается.

— Я, честное слово, польщена, — на такой случай у нее уже заготовлена речь, — но, к сожалению... — Конец речи она тут же забывает, увидев рядом Роберта Лоу.

Фитцджеральд оборачивается.

— Что? — вскидывается он, глядя на своего биографа. — Что вам здесь нужно?

— Мисс Синклер просят к телефону, — отвечает, отворачиваясь в

сторону, Роберт.

Лекси, прижатая к раковине, выскользывает и идет к выходу, стараясь держаться непринужденно.

У порога кухни она снимает трубку телефона:

— Лекси Синклер. — Подождав минуту, кладет трубку на рычаг и входит в кухню. Роберт сидит в кресле у плиты с книгой на коленях. — Там никого, — говорит ему Лекси.

Роберт не поднимает взгляда от книги:

— Знаю.

— Так зачем же вы тогда?.. — Лекси смотрит на него растерянно. — Почему вы это сделали?

Роберт, откашлявшись, мямлит что-то, похожее на «конечно».

— Прошу прощения?

— Я сказал, — Роберт наконец поднимает голову, — я думал, интервью подошло к концу.

Лекси молчит.

— Но простите, если помешал.

— Нет. — Лекси смотрит в окно. — Что вы, несколько. Это было... Интервью закончилось. Надо... Я думала... Что ж, спасибо.

— Не стоит благодарности, — отвечает Роберт тихо.

Они переглядываются, Лекси выходит из кухни и поднимается к себе, собирать вещи.

Субботний день. Лекси стоит посреди спальни. За стеной спит Тео, уставший после долгой прогулки по Хэмпстед-Хит. Лекси разбирает игрушки, что скопились в комод. Собака на веревке, жестяной барабан, резиновый мячик — он выскакивает из рук и катится под кровать.

Лекси нагибается за ним и, отодвинув край покрывала, заглядывает под кровать. Мячик виден, но его не достать; рядом лежит на боку туфля, а чуть дальше — что-то еще. Лекси присматривается. Протягивает руку и достает обруч для волос. Жесткий, пластмассовый. Темно-синий в белую крапинку, с рядами острых зубчиков.

Лекси, сидя на корточках, держит обруч в вытянутой руке, двумя пальцами. К обручу пристал липкой паутиной длинный светлый волос. Лекси подносит волос к свету, а в другой руке вертит обруч. Рассматривает каждую грань, каждый крохотный зубчик. И роняет обруч и волос на ночной столик.

Потом встает, подходит к окну и, скрестив на груди руки, смотрит на улицу. Внизу выходят из машины мужчина и женщина; женщина, одернув

юбку, ступает на тротуар; ее спутник переминается с ноги на ногу, подбрасывая теннисный мячик; женщина смеется, вскидывает голову, волосы блестят на солнце.

Лекси отворачивается. Спускается вниз, на кухню, наливает бокал вина и пьет на ходу. Окидывает взглядом картины: Поллок, Хепворт, Кляйн — все на месте. Лекси касается одной, другой, будто черпая от них силы. Возвращается наверх, заглядывает к Тео — спит ли? Заходит к себе в комнату, стараясь не смотреть на обруч для волос. Приводит в порядок бумаги на столе, пробегает глазами строчку-другую из неоконченной статьи. Поправляет настольную лампу. Берет с комода расческу и тут же откладывает. И открывает окно. Хватает со стула рубашку Феликса, серую, с длинным воротником, и бросает за окно, в нагретый солнцем воздух. Рубашка, раскинув рукава, летит в сад и приземляется возле клумбы с тюльпанами. Лекси отпивает еще вина и, схватив пару носков Феликса, тоже выбрасывает из окна. А следом — запонки из комода, ремень, клубок галстуков, что змеятся и извиваются в полете.

Когда Феликс расплачивается с таксистом, он вдруг замечает на тротуаре горстку людей. Все задирают головы, тычут пальцами. Феликс перекладывает кошелек в другую руку. Он пока ничего не подозревает, видит лишь, что люди толпятся у подъезда Лекси.

И вдруг он замечает, что все показывают на ее окна. Сунув кошелек в карман пиджака, Феликс устремляется через дорогу. Из окна высовывается Лекси, в руке у нее чемодан. Лекси швыряет его вниз. Чемодан с грохотом падает на крыльцо. Через миг Лекси появляется вновь, с охапкой одежды, и тоже швыряет ее в сад.

Феликс пускается бегом.

— Лекси! — кричит он, влетая в ворота. — Что за черт?

Лекси высовывается из окна и, точно крупье, раздающий карты, бросает вниз шелковый носовой платок, следом — галстук, за ним — трусы. Феликс тянется в надежде поймать их, но спотыкается о чемодан, потом — о стопку пластинок.

— Ничего, — отвечает Лекси. — Точнее, ничего особенного.

— Боже мой, Лекси. — Феликс вне себя. — Что ты творишь?

— Помогаю тебе вынести вещи из моей квартиры. — Взмах руки — и к ногам Феликса летит зубная щетка.

Феликс, метнувшись вперед, пытается поймать ее, но не успевает. Двое в толпе позади него вздыхают: «Уфф».

Феликс выпрямляется во весь свой немалый рост.

— Могу я узнать почему?

Лекси исчезает и тут же появляется, держа что-то в руке.

— Вот почему, — отвечает Лекси, а потом бросает и это.

Что-то легкое, тонкое, в форме подковы, кружится в воздухе, падает на ступеньки, подскакивает. Что-то синее в белую крапинку. Обруч для волос. Сначала Феликс не может вспомнить, откуда он взялся, лишь твердо уверен: у Лекси такого нет. Впервые за все время его передергивает от дурного предчувствия.

— Дорогая, — начинает Феликс, выступив вперед, — понятия не имею, откуда он. Кажется, я его и вовсе впервые вижу...

— Я нашла его под кроватью.

— Может, домработница обронила? То есть... Слушай, — продолжает Феликс, — к чему это здесь обсуждать? Я сейчас найду.

— Не зайдешь. — Лекси откидывает волосы со лба. — Дверь на замке. Ноги твоей здесь больше не будет, Феликс, никогда.

— Лекси, выслушай меня. Ума не приложу, откуда он взялся. Я тут ни при чем, уверяю.

— Я скажу, откуда он взялся. — Лекси угрожающе высовывается из окна. — С головы Марго Кент.

— Не может быть... — Феликс запинается. И, с головой выдав себя молчанием, продолжает: — Я даже не уверен, что я...

Лекси, скрестив на груди руки, смотрит на него.

— Я же говорила, — продолжает она спокойно. — Я тебя предупреждала. Я же говорила, только не с ней. И у тебя хватает наглости, — Лекси срывается на крик, — развлекаться с ней здесь, в моем доме! В моей постели! Ты скотина, Феликс Рофф. Как ты мог?

Феликс не понимает, о чем речь, даже не помнит, что за девица. Разве что та худосочная пигалица, что тогда с ним заигрывала и с тех пор названивает. Неужели она? У Феликса обрывается сердце. Теперь он припоминает: он приводил ее сюда, когда Лекси ездила в Ирландию. К нему было нельзя, в квартире меняли трубы. Но он не виноват. И, честно говоря, странно, что Лекси так переполошилась — разве это соперница?

— Милая, — начинает Феликс умиротворяющим тоном, каким обычно говорит с Лекси, — не кажется ли тебе, что ты делаешь из мухи слона? Что бы там ни было, это пустяк. Ты меня знаешь. Ничего серьезного. Впусти меня, и мы поговорим.

Лекси качает головой:

— Нет. Убирайся. Я так и знала, что этим кончится, с нее станется. Я так и знала. Я тебя предупреждала, Феликс, предупреждала, а я слов на

ветер не бросаю.

— Как — предупреждала? — недоумевают Феликс. — Предупреждала о чем?

— О ней. О Марго Кент.

— Когда?

— В тот раз, после обеда в «Кларидже».

— После какого обеда?

— Мы встретили ее на улице, и я просила держаться от нее подальше, и ты обещал.

— Ничего я не обещал.

— Обещал.

— Лекси, что-то не припомню такого разговора. Но вижу, ты не в духе. Впусти меня, чтобы мы...

— Нет. Между нами все кончено. Вещи твои там. — Лекси указывает в сторону сада. — Прощай, Феликс. Удачно тебе довести все до дома! — Она захлопывает окно.

Феликс и Лекси в очередной раз расстаются — как выясняется, окончательно.

Спустя примерно неделю у Лекси с самого утра все шло вкривь и вкось. Она опоздала на встречу с представителем Совета по искусствам^[30] — в метро ее поезд полчаса простоял в тоннеле. Ей поручили написать рецензию на постановку «Случайной смерти анархиста»,^[31] но режиссер, с которым она надеялась поговорить, заболел опоясывающим лишаем, и рецензию пришлось отложить на неделю, а взамен срочно придумать что-то другое. Феликс звонил три раза, голос был виноватый, умоляющий. Лекси каждый раз бросала трубку. Тео как будто немного простыл, и Лекси весь день не покидало беспокойство: а вдруг у него не простуда, а что-то серьезнее? Она так и не свыклась с вечной тревогой за сына, с постоянной тягой к нему. Он был ее магнитным полюсом, ее внутренний компас всегда указывал на него.

— Спасибо вам большое, — говорила Лекси в телефон, вставая с кресла и свободной рукой нашаривая под столом сумочку. — Пожалуйста, передайте ей, что я очень признательна... Да, непременно... Я приеду самое большее через полчаса.

Лекси накинула пальто, поставила на стол сумочку, сунула в нее блокнот и карандаш.

— Если будут спрашивать, — сказала она товарищам по работе, — я уехала в Вестминстер. Скоро вернусь.

Выскочив в коридор и на ходу затягивая пояс, Лекси прикидывала в уме, какие вопросы задаст на интервью. Вдруг кто-то тронул ее за локоть. Лекси вздрогнула, обернулась. Рядом стоял человек. Вельветовый пиджак, рубашка с распахнутым воротом тут же показались ей знакомыми, но она не сразу сообразила, кто перед ней.

Роберт Лоу. В обшарпанном коридоре «Курьера» он выглядел до того неуместно, что Лекси рассмеялась.

— Роберт, — сказала она, — это вы.

Роберт пожал плечами:

— Да, я.

— Как вас сюда занесло?

— Вообще-то... — начал Роберт и осекся. — Я... Я виделся с другом, который работает в «Дейли телеграф» и... решил, раз уж я здесь, на Флит-стрит, пойду-ка разыщу вас. Но, — он указал на ее пальто и сумку, — похоже, я не вовремя.

— Да что вы, ничего подобного. День у меня сегодня, прямо скажем, невезучий. Мне нужно в Вестминстер.

— Ясно. — Роберт кивнул, спрятал руки в карманы. — Ну что ж...

— Можете проводить меня на улицу... если вы не против.

— На улицу?

— Я такси поймаю.

— А-а.

— Только если я вас не задерживаю.

— Нисколько, — заверил Роберт. — Я вас провожу.

Лекси пустилась по лестнице, Роберт следом.

— Как у вас дела?

— Все хорошо. А у вас?

— Тоже.

— Вы давно из Ирландии?

— Вчера вернулся.

— Много удалось вытянуть из Фитцджеральда?

— Не особо. — Он улыбнулся. — Собеседник он непростой, как вы знаете.

— Еще бы.

— Придется мне туда вернуться. Примерно через месяц. Иногда его тянет на разговоры. Как при вас. Он очень расстроился, когда вы уехали.

Роберт распахнул перед Лекси дверь, и уже на пороге ей послышалось: «Как и мы все».

Небо было низкое, белесое. Лекси, стоя на бордюре, окинула взглядом

Флит-стрит.

— Ни одного такси, — вздохнула она, — так я и думала.

— Когда они нужны, их нет. — Роберт откашлялся, развел руками. —

Как Тео?

— Ничего. Простыл немного.

Роберт встал рядом с ней на бордюру.

— Это означает «Божий дар».

— Что означает? — Лекси отвлеклась, высматривая среди встречных машин огонек такси.

— Его имя. Теодор.

Лекси удивленно оглянулась на Роберта:

— Правда?

— Да. От греческого *theos*, Бог, и *doron*, дар.

— Я и не знала. Божий дар. От кого мне это узнать, кроме вас?

Оба замолчали. Казалось бы, что тут особенного — двое стоят на тротуаре, ждут такси, — но для Лекси все вдруг наполнилось глубоким смыслом, она и сама не знала почему. Лекси сглотнула, уставилась в землю, отгоняя прочь эту мысль.

— Рада вас видеть, — сказала она, потому что была и впрямь рада и не могла понять, что привело его в рабочий день сюда, на Флит-стрит.

— Правда? — Он пригладил волосы и вдруг поднял руку: — Вот и такси.

Такси притормозило, развернулось и подкатило к бордюру.

— Слава богу. — Лекси села в машину, Роберт захлопнул дверцу. — До свидания! — Она протянула в окно руку. — Жаль, что я тороплюсь.

Роберт взял протянутую руку и не отпускал.

— И мне очень жаль.

— Рада была вас видеть.

— И я тоже.

Разговор их напоминал пародию или дрянную пьесу, это было невыносимо. Роберт выпустил ее руку, и Лекси смотрела из окна, как фигура на тротуаре все уменьшалась и уменьшалась.

Через несколько дней, когда она зашла в комнату журналистов, ее коллега Даниель помахал перед ней телефонной трубкой:

— Лекси, тебя.

— Лекси Синклер, — сказала она в трубку.

— Это Роберт Лоу, — ответил знакомый голос. — Скажите, вы и сегодня в бегах?

— Нет, не в бегах. Я... как бы это сказать... наоборот, бездельничаю.

— Понятно. Не совсем представляю, в чем заключается для вас безделье, но входит ли в это понятие обед?

— Да.

— Вот и отлично. Жду вас в час у выхода.

В итоге они сразу перешли к делу. Ни преследования, ни уловок, ни соблазнения. Он стоял на тротуаре, Лекси подошла к нему. Ни слова, ни приветственного жеста. Лекси достала из пачки сигарету.

— Вы мне кажетесь тем человеком, — начал, помолчав, Роберт, — который умеет обращаться с тайнами.

— В каком смысле? — переспросила Лекси, ища в сумочке спички.

— Вы умеете их хранить.

— А как же. — Лекси поднесла к сигарете зажженную спичку.

— Вы ведь знаете, что я женат?

— Да.

— И вы замужем, — он поднял руки, будто с ходу пресекая ее возражения, — или как это назвать. Я не собираюсь оставлять жену.

Лекси выпустила дымок.

— И все же... — кивнула она.

— Что нам делать?

Лекси на минуту задумалась. Уже потом она спохватилась: а вдруг он всего лишь хотел спросить, где им пообедать? Но тогда она сказала:

— Пойдем в гостиницу?

Подобные сделки порой заключаются на удивление просто.

Они пошли на улицу близ Британского музея, где несколько гостиниц принимали посетителей в дневные часы. Лекси не спрашивала, откуда Роберт о них знает. В номере были синие занавески из линялого бархата, папоротник в горшке, умывальник, а над ним — разбитое зеркало. На стене висел счетчик, который упорно не желал принимать ни шиллинга. Подушки были жесткие, щетинились перьями. Оба были взволнованы. Все произошло быстро, оба спешили переступить черту и успокоиться. Потом они разговаривали. Роберт совал в счетчик шиллинги, но безуспешно. Потом они снова занимались любовью, на этот раз спокойнее, со вкусом. Лекси, одеваясь, смотрела в узкое окно на гряды облаков.

План их был прост до гениальности и родился, можно сказать, в считанные секунды. Видеться они решили дважды в год, не чаще, причем только за городом, встречи назначать телеграммами. «Гранд-Отель, Скарборо, четверг, 9 марта». И все. Никто никогда не узнает. Они никогда не говорили о семье Роберта, о его жене Мэри. Лекси не рассказывала, что

произошло между нею и Феликсом. Роберт не спрашивал, почему она всегда приезжала на их встречи вместе с Тео. То ли догадывался об истинных причинах, то ли нет.

Трудно сказать, помнил ли Те о Роберта от встречи к встрече или всякий раз знакомился с ним заново, но, как бы там ни было, встречал его всегда радостно, хватал за руку и уводил куда-то — показать краба в ведерке, морскую раковину или куриного бога.

Миссис Галло и Лекси стояли на кухне, вертя ручки плиты, и дружелюбно спорили, правильно ли это, что миссис Галло печет для Лекси пирог с курицей. Миссис Галло как раз завладела духовкой, когда в дверь позвонили.

— Пойду открою, — сказала Лекси, отступив от духовки и на ходу потрепав Тео по макушке. Тео складывал из подушек высокую мягкую башню.

— Дорогая, — сказал Феликс, когда Лекси открыла, и заключил ее в долгие объятия, — как дела?

— Хорошо. — Лекси высвободилась. — Я не знала, что ты собираешься прийти. Надо было позвонить.

— Не будь такой букой. Могу я повидать моего сына и наследника, если хочу?

— Конечно. Но сначала позвони.

Они сверлили друг друга взглядами, стоя в тесной прихожей.

— С чего бы это вдруг? — спросил Феликс, не спуская глаз с ее лица. — У тебя гости?

Лекси вздохнула:

— Да, Пол Ньюмен, кто же еще? С Робертом Редфордом. Заходи, познакомлю.

— Уезжаешь? — Феликс указал на сумки в прихожей. Лекси и Тео как раз вернулись из Истборна, где виделись с Робертом.

— Нет, только что вернулась, — бросила через плечо Лекси и зашла в гостиную, где Тео прыгал с дивана на подушки, а миссис Галло присматривала за ним.

Феликс застыл на коврике у входа, будто стоя у воды и не решаясь нырнуть.

— Здравьете, молодой человек! — громовым голосом приветствовал он Тео, потом кивнул миссис Галло: — Миссис Галло, как поживаете? Цветете!

Миссис Галло, которая была невысокого мнения о Феликсе — мол, будь он порядочным человеком, давно бы женился на Лекси, — в ответ то ли фыркнула, то ли кашлянула.

Тео взглянул на отца и произнес с убийственной четкостью: «Роберт».

Лекси еле сдержала смех.

— Не Роберт, сынок, а Феликс. Феликс. Забыл?

— Что еще за Роберт? — спросил Феликс, когда Лекси шла на кухню.

Лекси не ответила.

— Хочешь чаю, Феликс? Кофе?

Феликс пошел за ней следом — от чая он никогда не отказывался. Лекси достала из буфета три кружки, а из холодильника — молоко, и все это время наблюдала за Феликсом. Тот пробежал взглядом записки на холодильнике, повертел в руках бутылочку Тео, достал из вазы с фруктами яблоко и положил обратно.

— Как работа? — спросил он отрывисто.

Лекси открыла кран, налила воды в чайник.

— Хорошо. Дел по горло, как всегда.

— Я читал твою статью о Луизе Буржуа.^[32]

— А-а.

— Отличная статья.

— Спасибо.

— Я... — начал Феликс и умолк, уронил лицо в ладони. Лекси накрыла чайник крышкой, поставила на плиту, чиркнула спичкой и зажгла газ, не спуская глаз с Феликса, точнее, с его макушки. — Я вляпался в одну

историю, — сказал Феликс глухо.

— Вот как? — Лекси открыла банку для чая, зачерпнула ложечкой заварку, насыпала в чайник. — Что за история?

— С девушкой. — Феликс выпрямился.

— А-а. И что?

— Она... говорит, что она в положении. Клянется, что ребенок мой.

— А он...

— Что он?

— Твой?

— Не знаю! То есть... может, и мой... но ведь это никогда точно не известно. — Глянув на Лекси, он поспешно добавил: — Я не про тебя, дорогая, я про нее. Мы с ней... мы всего-то... то есть я почти не... в общем, ты поняла.

— Да. Что ж, придется поверить ей на слово. — Лекси покосилась на него. — Что она думает делать?

— Да ничего, — развел руками Феликс. — Говорит, я должен на ней жениться. Жениться! — Он стал мерить шагами кухню, от буфета до окна и обратно. — Мне тошно при одной мысли. И вдобавок, — процедил он, — ее чертова мамаша стоит у меня над душой. Та еще мегера.

Чайник заходил ходуном, выпуская струйку пара. Едва он засвистел на всю кухню, Лекси схватила его и сняла с огня, поставила возле раковины, оперлась о буфет. Она не смотрела на стоявшего у окна Феликса, лишь краем глаза видела его ноги, отвороты брюк.

— Мы говорим, — спросила она, — о Марго Кент?

И все поняла по его молчанию. Он шагнул к ней, но, будто спохватившись, повернул к столу. Слышно было, как он отодвинул стул, тяжело опустился на него.

— Вот так влип, — буркнул он. — Одно слово, влип.

Не дождавшись от Лекси ответа, Феликс заерзал на стуле.

— Не хочу на ней жениться, — сказал он с ноткой обиды. — Сдается мне, это все ее чертова мамаша, подзуживает ее.

Лекси фыркнула:

— Еще бы.

Феликс подошел к Лекси:

— Ты и с матерью знакома?

— Знакома, — ответила Лекси, — имела честь.

Во взгляде Феликса мелькнуло любопытство.

— Скажи же, что между вами общего?

— Не твое дело, — отозвалась Лекси, и в горле у нее запершило,

пересохло. — Не твое, и все. — Она задумалась. — Марго тебе не рассказывала?

Феликс протянул руку к вазе с фруктами, отщипнул виноградину и с недовольным видом сунул в рот.

— Кажется, нет. Вот что, Лекс, — продолжал он, мусоля виноградину, — только ты можешь мне помочь.

Лекси насторожилась:

— Как это?

— Только ты, — сказал он с нажимом. — Если я... если мы скажем, что мы... это самое... женаты, я не смогу жениться на ней. Они не смогут меня заставить. Поняла? То есть они знают про нас с тобой. И про Теодора. Ума не приложу откуда. Но если бы я мог им сказать, что мы поженились, — а это не исключено, так ведь? — все бы на этом кончилось. Выход найден. — Феликс улыбнулся ей то ли с надеждой, то ли похотливо, положил руку на плечо, привлек к себе.

Лекси уперлась ладонью ему в грудь.

— Не знаю, — начала она с расстановкой, — что в твоей речи мне более отвратительно. Может, сама мысль о нашем браке? Или же то, что ты делаешь мне предложение, чтобы тебя не женили на другой? Нет. Или то, что для тебя наш брак, как ты выразился, не исключен? Или твои слова о том, что у меня может быть что-то общее с этими хитрыми, коварными, злобными... — Лекси задумалась, ища подходящее слово, и вспомнила, — фуриями, вселяют в меня такой ужас? Повторяю, не знаю. — Она стряхнула с плеча руку Феликса. — Вон из моего дома, — сказала она. — Немедленно.

* * *

Полночь. В кафе-баре «Лагуна» официантки уже подмели полы, вытерли столы, вынесли мусор и разошлись по домам, закрыв двери на ключ.

В темном запертом кафе остывает выключенный кофейный автомат. Хромированный корпус громко щелкает каждые несколько минут. На сушилке стоят вверх дном чашки и бокалы, вокруг ободков лужицы тепловатой воды.

Пол выметен, но кое-как. Под четвертым столиком — корка от фокаччи, которую уронил турист из штата Мэн; на полу у входа — ошметки листьев с платанов на площади Сохо.

Где-то наверху хлопает дверь, раздаются приглушенные голоса, и слышно, как кто-то сбегает вниз по лестнице. Пустое кафе будто

прислушивается. Бокалы на полках позвякивают в такт шагам. Щелкает остывающий корпус кофейного автомата. Капает из крана вода, стекает по стенке раковины в слив. Стучат шаги на лестничной площадке за стеной, хлопает дверь, и выходит на улицу девушка, что работает ночами на верхнем этаже.

Она шагает по тротуару возле запертой двери «Голубой лагуны», взад-вперед, взад-вперед, в красных полусапогах на шпильках; наступает на каменную плиту, стоя на которой Иннес впервые обнял Лекси в пятьдесят седьмом; проходит вдоль бордюра, где стояла Лекси, пытаюсь поймать такси до больницы; прислоняется к стене, на фоне которой Лекси и Иннес позировали Джону Дикину пасмурным днем пятьдесят девятого. И на том самом месте, где девушка с верхнего этажа тушит сигарету, в сырую погоду чуть проступают призрачные очертания букв: «Где-то» — но их, скорее всего, никто не замечает, а если бы кто и увидел, то не понял бы, откуда они взялись.

Девушка бросает в канаву окурок, распахивает дверь и исчезает. На ее шаги отзываются бокалы на полках, солонки на столах, даже хромой стул.

Но вот кофейный автомат остыл, чашки стоят в круглых лужицах, корка от фокаччи валяется на боку, послушно затихает холодильник. На столе — журнал, открытый на странице с заголовком: «Как стать другим». На стойке устало притулилась пачка кофе в зернах. За окном мелькает велосипед, луч от катафота прорезает темноту. Небо за окном угольно-черное, подсвеченное оранжевым сиянием фонарей.

Легкий ветерок сдувает с края урны бумажный стаканчик и гонит в канаву. По Бэйтон-стрит проносится полицейская машина, в ней шипит и потрескивает радио. «Двое мужчин... в южном направлении... — сухо кашляет радио, — беспорядки в районе Мраморной арки».

Вращается Земля. Небо уже не угольно-черное, а синее, глубокое, и постепенно бледнеет, как будто улица, а с ней и весь Сохо встает из моря. Девушка с верхнего этажа, переобувшись из красных полусапожек в кроссовки, запирает дверь, застегивает пальто и уходит. Оглядевшись, устремляется через дорогу, в сторону Тоттенхем-Корт-роуд.

В шесть утра по середине улицы проходит, прихрамывая, старичок в костюме. На лиловом поводке он ведет собачку. У входа в «Голубую лагуну» он останавливается. Собака озадаченно смотрит на хозяина, рвется вперед, натягивает поводок. А старичок все стоит перед кафе. Может быть, он один из завсегдатаев. Или из тех немногих, кто застал здесь редакцию «Где-то»; может быть, он пил с Иннесом в каком-нибудь из окрестных баров. Впрочем, необязательно. Может быть, кафе всего лишь напоминает

ему о чем-то. Старичок продолжает путь, и через миг он и собака исчезают за углом.

В восемь появляются официанты утренней смены. Первой приходит девушка, открывает дверь, зажигает свет, включает кофейный автомат, проверяет, есть ли в холодильнике молоко, вешает на стену упавший плакат. Следом приходит парень, набирает ведро воды, моет пол. Он тоже не замечает корки от фокачки.

И ровно без четверти десять в кафе заглядывает первый посетитель — Тед.

Тед заказывает латте на вынос и ждет у стойки. Пришел он сегодня раньше обычного. Официант елозит по полу шваброй, окуная ее в серую жирную воду. Тед смотрит, как шевелятся лохмотья швабры, будто чьи-то волосы под водой. И опять накатывает то самое чувство — когда видишь что-то впервые, а оно представляется до странности знакомым, полным смысла. Швабра ходит туда-сюда по голому дощатому полу. Почему эта картина кажется ему столь важной, значительной, будто это знамение? Не это ли первый признак безумия — всюду видеть знаки, во всем усматривать тайный смысл? Хочется протянуть официанту руку и сказать: не надо, не надо больше.

Тед жмурится, заставляет себя отвернуться, посмотреть на ряды бокалов на полках возле стойки. На официантку, которая дергает рычаги кофейного автомата. На облачко пара, что клубится сбоку от машины.

Это все равно что надеть маску для плавания, заглянуть под воду и увидеть под немой, загадочной гладью целый мир, что существовал всегда, неведомый тебе. Мир, населенный удивительными созданиями, полный жизни и смысла.

— Пожалуйста!

Тед в испуге оборачивается. Официантка подносит ему кофе в бумажном стаканчике.

— Ох, спасибо. — Тед протягивает мелочь.

На тротуаре перед кафе он останавливается. В голове всплывает образ, картина, воспоминание. Что именно? Пустяк, из тех мелочей, что помнит каждый. Как будто его держат на руках перед окном, подоконник выкрашен зеленой краской. Чьи-то руки обнимают его. «Посмотри, — говорят ему, — видишь?» Платье женщины, что держит его на руках, расшито цветным узором с сотнями крохотных зеркалец. «Посмотри», — повторяет она, и Тед смотрит и видит: сад укутан толстым белым покрывалом. Вполне обычное воспоминание, но почему оно настолько не

вяжется с его детством и отчего наполняет его безотчетным страхом?

Тед смотрит в блеклое, пустое небо над Бэйтон-стрит, прислоняется к стене и думает: вот, опять. В голове туман, сердце колотится, будто чует опасность, неизвестного врага. Лучики света вспыхивают перед глазами, мечутся и поблескивают тонкими иглами в низком небе, в окнах магазинов напротив, отражаются от асфальта. «Смотри, — говорила она, — видишь?» Крохотные зеркальца на ее платье отражали свет, мерцали на стенах огоньки-созвездия. Он как сейчас помнит ее мягкую теплую кожу, помнит, как ее волосы касались его щеки. И лицо. Лицо...

— Все в порядке, приятель?

Тед видит перед собой пару тяжелых кожаных ботинок песочного цвета, синие джинсы — на его взгляд, премерзкое сочетание. Он и не заметил, что стоит согнувшись в три погибели, уперши руки в колени, стаканчик кофе на земле. Он поднимает голову, чтобы взглянуть на обладателя кожаных ботинок. Мужчина средних лет смотрит на Теда сочувственно.

— Да, — кивает Тед. — Все хорошо. Спасибо.

Незнакомец хлопает Теда по плечу:

— Точно?

— Угу.

Тот смеется:

— Бурная ночка? — И уходит.

Тед выпрямляется. Все та же улица, то же кафе, и Сохо никуда не делся, оживает поутру. Тед нагибается за стаканом кофе, отхлебывает — ну и пусть рука дрожит. Надо... что надо? Успокоиться, собраться с мыслями, взять себя в руки, вот что.

Так думает про себя Тед, сворачивая за угол, к киностудии, открывая стеклянные двери, нажимая на кнопку лифта. Но, шагнув в кабину лифта, он вдруг представляет, будто сидит на ковре и кладет в рот шоколадные конфеты, одну за другой. Шоколадные кругляши, сверху выпуклые, снизу плоские, ребристые, тают во рту. Он смотрит на отца, который стоит у камина, касаясь ладонью рукава женщины, а та отворачивается.

* * *

Феликс подходит к Лекси у камина, где она раздает гостям куски торта. Лекси следила за ним взглядом с тех пор, как он вошел в комнату, — впустил его кто-то другой, не она. Весь вечер Лекси избегала его: и когда открывали подарки, и во время игр, и когда Тео с другими детьми замороженно передавали друг другу сверток, и когда она подавала

взрослым чай, вино и маслины, а детям — лимонад и хрустящий картофель. И когда Феликс подарил Тео деревянный паровоз на веревочке. И когда пели «С днем рождения, Тео», а Лекси вынесла торт в форме звезды — она трудилась над ним до глубокой ночи, украшала шоколадными кругляшами. Тео на миг застыл, глядя на лучи звезды, на три зажженные свечи, что роняли алые восковые слезы, на шоколадные кругляши, которые плавилась от жара. «Задувай свечи, сынок», — шепнула Лекси ему в макушку, и Тео встрепенулся, пришел в себя и склонился над тортом. «Загадай желание», — добавила она, чуть опоздав.

И вот Феликс стоит перед ней, загородил дорогу.

— Ну, как дела, Александра? — спрашивает он игриво.

Но Лекси отшатывается:

— Не смей меня так называть.

— Прости, виноват. — Вид у него и впрямь виноватый. С минуту они стоят, уставившись каждый в свой бокал. Не виделись они уже давно. Когда Феликс заходит навестить Тео, Лекси просит миссис Галло побыть у них, а сама уходит наверх работать. — Прекрасно выглядишь, — говорит Феликс.

— Спасибо.

Лекси обводит взглядом комнату, протискивается вперед, спеша к гостям. Перехватив взгляд Лоренса из дальнего угла комнаты, она криво усмехается в ответ.

— Красивое у тебя платье. — Феликс подается ей навстречу, облокотившись на камин. — Где ты берешь такие вещи?

Лекси оглядывает себя. Платье — одно из ее любимых: длинное, алое, струится от глубокого декольте до щиколоток.

— От Осси, — поясняет она.

— Что за Осси?

— Осси. Осси Кларк.

— Не слыхал о ней.

— О нем. Что неудивительно.

— Правда? — Феликс отпивает глоток вина, и Лекси невольно смотрит, как его губы обхватывают край бокала, как ходит туда-сюда кадык. — Почему?

— Вряд ли он во вкусе Марго. Расскажи, как твоя семейная жизнь.

— Кромешный ад, — бодро отвечает Феликс, осушив бокал. — У моей жены не дом, а мавзолей, черт бы его драл, — достался нам от ее мамы. Она, кстати, живет на нижнем этаже. По официальной версии. По мне, слишком уж часто она выползает наверх. Вот я и сбегая в командировки

при всякой возможности, а на Мидлтон-сквер стараюсь пореже показываться. Вот моя, с позволения сказать, семейная жизнь.

Лекси поднимает бровь:

— Ясно. Только не говори, что я тебя не предупреждала.

— Спасибо. — Феликс приближается к ней почти вплотную. — Растрогала своим сочувствием.

— И сколько детей в мидлтонском мавзолее?

Феликс резко выпрямляется.

— А-а, — отвечает он другим, напряженным голосом. — Вообще-то, ни одного.

Лекси хмурится:

— Но...

— Наш сын, — Феликс кивком указывает на ковер, где Тео сосредоточенно выедает с глазури торта шоколадные кругляши, — мой единственный наследник. — Феликс, со вздохом отставив бокал, проводит рукой по волосам. — У нее... — он неопределенно машет рукой, — без конца выкидыши. — На последнем слове он понижает голос. — Один за другим. Не может выносить ребенка.

— Прости, — начинает Лекси, — зря я спросила. Я не...

— Да ну, — машет рукой Феликс, — нечего извиняться и сочувствовать. — Он собирается с духом. — Звучит, понимаю, чудовищно, но, возможно, это и к лучшему.

— Феликс...

Но Феликс не дает ей возразить.

— Потому что я не намерен с ней оставаться. Виделся на днях с адвокатом. Это строго между нами, конечно же.

— Конечно.

— И то, что у нас нет детей, упрощает дело.

— Понимаю.

— Хотя, — он вновь подбирается ближе к Лекси, рука скользит вдоль каминной полки, — у нас неплохо получилось, верно?

— Что получилось?

— Дети.

То ли Лекси просто чудится, то ли его рука и впрямь подбирается к ее талии, обдает жаром.

— Ты так думаешь?

Феликс улыбается.

— Есть у тебя сейчас кто-то, Лекс? — шепчет он все так же игриво, задушевно.

Лекси откашливается.

— Не твое дело.

— Может, пообедаем вместе?

— Не стоит.

— На будущей неделе.

— Не могу, я работаю. А еще Тео.

— Тогда поужинаем. На той неделе. Может, в выходные?

В выходные она будет в Лайм-Риджисе с Робертом, они не виделись восемь месяцев. Сегодня пришла телеграмма. При мысли, что сказал бы Феликс, узнай он о ее тайной связи с Робертом Лоу, Лекси сдерживает улыбку.

— Нет, — отвечает она.

— Поговорим о сыне. — Феликс дотрагивается до ее рукава.

— А что говорить о сыне?

— Да что угодно. В какую школу его отдать и все такое.

У Лекси вырывается смешок:

— Печешься об образовании Тео? С каких это пор?

— С недавних.

— Вот так сюрприз. — Лекси стряхивает его руку со своего плеча.

— Значит, договорились? Поужинаем на будущей неделе вместе?

Лекси ускользает, устремляется через всю комнату к Тео.

— Посмотрим, — бросает она через плечо и подбегает к сыну.

Те о хватает ее за платье, и Лекси берет его на руки, чувствуя знакомую, уютную тяжесть.

* * *

День не такой, о каком они мечтали. Когда выезжали из Лондона, небо было чистое, будто над городом растянули рулон голубой материи, и все вокруг блистало от солнца. Они неслись по улицам в машине с опущенными окнами и открытым люком. Но чем дальше к западу, тем сильнее хмурилось небо на горизонте, в машину задувал ветер. Сейчас сыплет тонкими иголочками дождь, ветер размазывает капли по стеклу.

Они едут на выходные в загородный дом родителей Симми; родители в отъезде, и дом, сказал Симми, в их полном распоряжении. Элина никогда еще не была — как Тед вчера это назвал? — в родовом гнезде. А слуги там есть? — спросила она у Теда, тот покачал головой. Там не настолько шикарно, объяснил он.

Иона спит в детском кресле, сжав перед собой кулачки, будто во сне идет по канату с шестом в руках. Тед и Симми сидят впереди и слушают

юмористическую программу, то и дело хихикая, но Элине трудно уследить за быстрой речью, за своеобразным английским юмором.

Элина чувствует себя как перед приступом головной боли — слегка немеют челюсти, затекла шея, плечи. Но это пустяки. Она рада, что вырвалась из Лондона, что за окном мелькают поля и деревья. Вспоминается дорога в Науво, к матери, вдоль цепи островов, мостики через проливы, потом — желтый паром, зелень равнин, красно-белые деревянные домики, и кажется, будто твой путь лежит к самому краю земли, покуда суша и камни не сменяются водой, плещущей, беспокойной водой, — и лишь тогда остановишься перед верандой, на площадке, усыпанной гравием, возле деревьев с серебристыми стволами.

Должно быть, она задремала. Ей снится, будто она в Науво и не может достать Иону из кресла — ремни не снимаются, пряжка не отстегивается. И вдруг чувствует, что голова прижата к стеклу, а когда открывает глаза, то видит, что едут они уже не по шоссе, а петляют по узкой улочке к морю.

— Приехали? — спрашивает Элина.

— Нет еще, — отвечает через плечо Симми. — Решили здесь остановиться, перекусить.

Улицы городка узкие и крутые, на тротуарах толпы людей. Машину оставляют на стоянке за общественным туалетом. Низкое небо нависает над ними. Элина несет Иону, слинг оттягивает шею. Симми и Тед бодро шагают по главной улице городка. Элина, прижимая к себе Иону, с трудом поспевает за ними. Осматривают одно кафе и бракуют; останавливаются в дверях другого, находят меню «убогим», идут дальше. В третьем хорошее меню, но нет свободных столиков; в четвертом меню неплохое, но им нужен столик на улице. Они слоняются туда-сюда, идут по проспекту через весь город. У входа в паб возле порта обсуждают достоинства свежепойманной рыбы. Иона просыпается в слинге, хочет вылезти, кричит и рвется на волю. Элина достает его из слинга и несет на плече, но он не унимается.

— Пирога бы со свининой, — мечтает Симми. — Разве я многого хочу?

Тед разглядывает очередное меню в окне ресторана, украшенном рыболовными сетями.

— Приморский курорт, — бормочет Тед, — а где же норвежские омары? Разве их здесь не ловят?

Элина перекладывает Иону на другое плечо, лиловый слинг сползает на землю, она опускается на колени, чтобы поднять его. Женщина с розовой коляской для близняшек смотрит на Элину непонимающе, брезгливо. Элина оглядывает себя. На ней обрезанные полосатые колготки,

стоптанные парусиновые туфли, платье, сшитое подругой, — с неровным подолом, асимметричными рукавами и косым воротом. Элина его очень любит.

— Я отойду, покормлю Иону, — говорит она своим спутникам. — Как решите, где нам обедать, приходите ко мне.

Элина идет к скамье, защищенной от ветра портовой стеной. Садится, одной рукой придерживая Иону. Малыш, голодный, сердитый, ждет, пока Элина расстегивает платье, освобождает грудь. Пока он жадно сосет, Элина смотрит на море. Длинная изогнутая портовая стена вдается глубоко в воду, прикрывает бухту, точно большая заботливая рука. Элина хмурится. Место кажется ей знакомым. Разве она здесь бывала? Да нет, вряд ли.

Иона сосет, сначала одну грудь, потом другую. Волны набегают на берег, разбиваются о стену. И когда Элина уже готова потерять сознание от голода, появляется Симми.

— Прости, что так долго. Все кафешки битком. Вот, принес бутерброды. — Он протягивает коричневый бумажный пакет: — С сыром и соленым огурцом, пойдет?

Элина кивает:

— Все равно с чем.

Свободной рукой она пробует развернуть их, но Симми забирает у нее пакет:

— Извини, не подумал.

Он достает бутерброды и кладет ей на колени, вежливо отводя взгляд от ее открытой груди. Элина начинает есть, ища глазами Теда. Ни на скамье, ни у портовой стены его нет. Элина оглядывается назад.

— Где Тед?

Симми пожимает плечами, кусая бутерброд.

— Наверное, в туалет пошел, — говорит он с набитым ртом.

— А-а.

Доев первый бутерброд, Элина застегивает платье, держит столбиком Иону, вытирает с платья каплю молока, выпивает воды.

— Дай-ка его мне, — просит Симми.

Элина протягивает ему Иону, и Симми сажает ребенка к себе на колени.

— Привет, — говорит Симми серьезным тоном. — Ну как обед? Опять молоко, никакого разнообразия?

Иона зачарованно смотрит на него.

Элина встает, потягивается, окидывает взглядом бухту. Теда нет. На

скамье лежит нетронутый пакет с бутербродами. Для Теда. Элина отходит от скамьи, смотрит на берег, что изгибается дугой. Никого. Куда он мог деться? Элина взбегает по узким, крутым ступеням на самый верх стены; при взгляде вниз, на море, кружится голова. Откинув с лица волосы, Элина оглядывается по сторонам.

— Видишь его? — спрашивает снизу Симми.

— Нет.

И вдруг она замечает Теда. Он идет вдоль серой каменной стены — должно быть, был на другой стороне. Идет он как-то странно: сжатые руки, поникшая голова, неровный шаг. Элина подходит к краю стены, машет рукой, но Тед смотрит в сторону, на море, что плещется у самых его ног, — решил окунуться? Но Теда в воду не заманишь, Элина даже не знает, умеет ли он плавать; по его словам, ему и думать об этом противно, зачем вообще люди лезут в воду? Тед отступает от воды и вдруг падает — то ли оступился, то ли потерял сознание.

Элина зовет его, но ветер уносит слова. Она срывается с места, но Тед далеко внизу, и она все не может найти спуск, наконец видит каменную лестницу с осыпавшимися ступенями, при одном взгляде на которую кружится голова, — и спускается осторожно, чтобы не споткнуться. Когда она подбегает к Теду, вокруг него уже толпятся люди. Симми тоже здесь, с Ионой на руках — Элина видит его спину в полосатой рубашке. Он опустился на колени рядом с Тедом, прижал ухо к его груди. Люди в толпе, должно быть заметив ее тревогу, расступаются перед ней, и Элина опускается на сырой камень рядом с Тедом, берет Теда за руку, гладит по волосам, обращается к нему по-фински, затем по-английски, а когда приезжает «скорая», она садится в машину с ним рядом, не выпуская его руки.

Затем — бесконечное ожидание, заполнение бланков, блуждание по больничным коридорам. Элине задают одни и те же вопросы, снова и снова. Сколько Теду лет? Где он живет? Полное имя? Принимает ли он лекарства? Наркотики? Страдал ли кто-то из его родственников заболеваниями сердца, сахарным диабетом, гипотонией? Нет, отвечает Элина, нет, ни лекарств, ни наркотиков, Рофф, Тед Рофф, Теодор Рофф. Ей приносят чашку чая, а чуть позже — сменные подгузники для Ионы. Спасибо, повторяет Элина, спасибо, спасибо.

Она и Симми ждут в коридоре. Иона возится, пищит, снова ест и обильно, невозмутимо срыгивает на соседнее кресло. Дергает Элину за волосы, сердито тянет их в рот, изучает пуговицы на пиджаке Симми. Он как будто недоволен, расстроен таким разворотом событий, не понимает,

почему его унесли с пляжа и держат в скучном бежевом коридоре. Элина качает его на коленях; Иона бьет ее пятками по ногам — завтра будут синяки.

И вдруг к ним спешат толпой врачи, практиканты, медсестры: хорошая новость! Хорошая! Симми вскакивает, на лице улыбка. Это был не сердечный приступ! Все бегут по коридору и галдят наперебой: «экэгэ» (Элина не знает, что это означает, но Симми кивает, улыбка не сходит с лица), «норма», «отрицательно». У входа в палату врач говорит: «Это был приступ паники», но Элина не слушает, а смотрит на Теда — он сидит на кровати одетый, на вид совершенно здоровый.

Элина бросается к нему, целует в щеку, и тут Иона больно дергает ее за волосы, и она выкрикивает: «Ох!» — едва ее губы касаются щеки Теда.

Тед меняется в лице.

— Что с тобой? — спрашивает он, отпрянув.

— Все хорошо. Прости.

— Что же ты охаешь?

— Иона дернул меня за волосы, пустяки. Как ты себя чувствуешь?

Тед не сводит с нее глаз, и Элина замечает, что он бледен, зрачки расширены. Он переводит взгляд на Иону, снова на нее. Элина оборачивается к Симми, тот пристально смотрит на Теда.

— Тебе уже лучше? Тед? — начинает Элина.

Тед, снова взглянув на сына, откидывается на подушки, изучает потолок, закрывает лицо руками.

— Лучше... — повторяет он сквозь пальцы, медленно-медленно. — Лучше...

Симми откашливается.

— Врач сказал, ты можешь идти, но если тебе кажется, что...

— Не знаю, — тянет Тед, — вот вам и ответ, не знаю.

Симми и Элина, стоя по разные стороны от Теда, переглядываются. Иона сопит Элине в шею, касается губами ее ключицы, пробует на вкус платье, выгибается дугой, чтобы рассмотреть потолок, колотит ее пятками в живот.

— Поищу туалет, — говорит Симми. — Сейчас приду.

И они остаются втроем — Элина, Тед и малыш. Трудно поверить, что Тед снова рядом, живой и невредимый, после того как он на ее глазах упал на пляже, после того как он лежал обмякший, весь скрюченный. Кажется чудом, что они, пережив подобное, очутились здесь, в тихой больничной палате с полосатыми простынями. Элина считает полосы, и ей чудится, будто от них исходит волшебство. Все кажется волшебным: и то, как

чередуются полосы — белая, синяя, белая, синяя, — и переплетение нитей, из которых соткана простыня. Простыня для Теда.

Элина садится на кровать, прижимается к нему.

— Как ты меня напугал, — шепчет она. Иона бьется у нее на руках, как рыбка, Элина крепко держит его. — Врач сказал, тебе надо сходить к терапевту, когда мы верне...

— Пстой, — перебивает Тед, по-прежнему глядя в потолок, — неувязка получается. Теперь я понял, что все мне ввали. Что вокруг меня ложь. Теперь понимаю. И я не знаю, куда бежать, к кому обратиться, потому что всюду обман и никому нельзя доверять. Понимаешь? — Он смотрит то ли на Элину, то ли мимо нее, то ли сквозь нее. — Понимаешь?

Иона вырывается, топчется у Элины на коленях. Элину бьет дрожь, руки трясутся. Что ответить на это, что делать? Позвать доктора — но что тогда? Что с ними творится?

— Тед, — говорит она срывающимся голосом, глотая слезы, — о чем ты...

— Вот и славно. — В палату заходит Симми, потирая руки. — Врачи говорят, можно ехать. Ну что, поедем?

— Сим... — возражает Элина, но Тед уже вскочил с койки.

— Идем. — Он хватает Элину за локоть и тянет к выходу: — Идем.

— Мне кажется, надо подождать и посмотре...

— Нам пора, — торопит Тед, протискиваясь вперед. — Нам нужно вернуться в Лондон.

* * *

Вот и вся история.

Для Лекси все закончилось во время купания в Дорсете на исходе августа. Они с Тео и Робертом в Лайм-Риджисе. Перекусили рыбой с жареной картошкой, вспомнили гостиницу, где останавливались в прошлый раз, поспорили о статье Лекси, что прочел недавно Роберт. Тео набрал ведерко гальки, нашел дохлого краба, потом Лекси разделась и поплыла. Роберт смотрел и ждал с полотенцем наготове. «Как муж селки», [33] — подумалось Лекси. Она смотрит на них из воды: Роберт сидит на крутом утесе, а рядом в коляске спит Тео с вязаным котенком в руках.

Когда Лекси выходит из воды, осторожно ступая по острым камням, Роберт укутывает ее в полотенце, и Лекси знает, что через несколько минут они должны оказаться в постели. Иначе нельзя, это глубинная потребность. Роберт растирает ее полотенцем — спину, руки, бедра.

— В гостиницу, — говорит Лекси резиновыми, чужими от холода

губами, — пойдём в гостиницу.

И Роберт коротко отвечает: «Да».

Лекси нравится в нём все: и это «да», и как он нагибается за сумками, перекидывает через руку её сброшенную одежду, и как он, наклонившись, расшнуровывает её туфли, скинутые в спешке, и помогает ей обуться, а сам несёт коляску со спящим Тео вверх по бетонным ступеням, ведущим с пляжа, по дорожке, по гостиничной лестнице, мимо потрясенного администратора, через четыре лестничных пролета, а Лекси бежит впереди в одном бикини и полотенце.

И как он поворачивает к стене коляску, срывает сначала покрывало с кровати, потом рубашку, затем полотенце с Лекси — именно в этом порядке. И жар его кожи на её коже, прохладной. И как он пытается распутать завязки мокрого купальника, ругаясь от нетерпения, и Лекси помогает ему. И как он выхватывает у неё из рук мокрый узел и швыряет в стену. На штукатурке так и останется след, похожий на медузу, и новые постояльцы будут удивляться, откуда такое странное пятно.

Лекси дорого в нём все: и его невероятное тело — крепкое, мускулистое под бархатной кожей, — и линия волос, бегущая вдоль живота (Лекси и забыла о ней). И его страстная сосредоточенность во время близости, и предельная серьезность на лице, и то, что она с ним, наконец-то, спустя долгие месяцы.

Потом он засыпает. Лекси не спится. Она потягивается, зевает, встает с постели. Натягивает платье, подходит к Тео — тот все еще спит в коляске, надув губки, веки подрагивают во сне. Лекси смотрит на него, гладит по волосам. Одна рука у него свесилась, и Лекси вглядывается в узор из тонких линий на его ладони.

Лекси подходит к раскрытому окну. Внизу, на набережной, гуляют люди, едят мороженое, стоят у перил, прохаживаются взад-вперед. После их возвращения с пляжа начался прилив: волны лижут пенными языками портовую стену. Старичок гуляет с собакой, та метит статую. Из магазина выбегает ребенок, в каждой руке по апельсину. Вот забавно, думает Лекси, люди заняты своими делами, а она, женщина в платье, тайком наблюдает за ними из окна.

Она думает, где бы им поужинать, скоро ли проснется Тео, не купить ли ему воздушного змея — она видела в магазине красного с желтым хвостом. Смотрит на огромный серый мол Кобб, похожий на спящую змею, высунувшуюся из моря.

Услышав шорох из коляски, Лекси оборачивается. Те о просыпается, вертит головой. Лекси садится подле коляски на корточки.

— Привет, — шепчет она.

Те о зевает и, не открывая глаз, четко произносит:

— Говорил же я, не хочу.

— Вот как?

— Да. — Тео хмурится, моргает, глядит по сторонам. — Здесь не дом.

— Верно, не дом. Мы в Лайм-Риджисе, вспомнил? В гостинице. Ты немножко вздремнул.

— Риджис, — повторяет Тео, и лицо у него напряженное, будто он что-то вспомнил. — Ведерко... с камешками.

— Здесь твое ведерко. Вот, смотри.

Тео потягивается и вылезает из коляски, взяв под мышку вязаного котенка.

— Альфи не любит Риджис, — заявляет он и идет к ведерку, которое Лекси оставила под дверью.

— Не любит?

Тео, наклонившись над ведерком, внимательно его разглядывает.

— Нет.

— Почему не любит?

Тео отвечает не сразу.

— Говорит, здесь очень сыро.

Лекси, сидя на краешке кровати, сдерживает улыбку.

— Что ж, он ведь кот. Кошки не любят, когда мокро.

— Нет, не мокро, а сыро.

— Мокро и сыро — одно и то же, сынок.

— Нет, не одно и то же!

— Ладно. — Лекси закусывает губу. — Хочешь пить?

Тео достает из ведерка камешки и выкладывает в ряд. Серые, замечает Лекси, он откладывает в сторону.

— Тео, — задает она тот же вопрос, — пить хочешь?

Тео кладет гладкий белый камешек рядом с рыжим.

— Да, — отвечает он сдержанно, но твердо. — Очень.

Чуть позже они снова выходят на прогулку. Лекси покупает красного змея с желтым хвостом, и они идут на пляж за городом, за молотом Кобб. Тео держит змея за веревку, а Лекси сжимает его ладонь. Роберт следит за ними с утеса, где ищет окаменелости.

— Вот так, — шепчет сыну Лекси. — Правильно.

Змей парит над самыми их головами, чуть косо, хвост полощется на ветру. Тео, задрав голову, смотрит как зачарованный, не веря, что стоит шевельнуть рукой — и это чудо в вышине танцует в ответ.

— Он как... — Тео с трудом подбирает слова, — как собака.

— Как собака?

— Как... полетучая собака.

— А, на поводке?

Синие глаза Те о сияют от счастья: его поняли.

— Да!

Лекси, смеясь, крепко обнимает его, а змей над ними вьется и покачивается.

Вскоре они догоняют Роберта и садятся вместе на валун. Роберт находит аммонит, окаменелую раковину-завиток. Кладет его Лекси в руку, и он согревается в ее ладони. Тео снова выкладывает камешки в ряд, от самого большого до самого маленького.

Лекси встает:

— Пойду окунусь еще разок. А потом поищем, где перекусить.

Роберт смотрит на небо, на море в белых барашках.

— Может, не надо? — сомневается он. — Уже холодает.

— Подумаешь! — Лекси прячет аммонит в карман платья.

— У нас и полотенца-то нет.

— Обсохну, — смеется Лекси. — Мне вода нипочем. Побегаяю и согреюсь. — Раздевшись до белья, она садится на корточки, целует Тео в макушку. — Я скоро, дружок. — И уносится прочь, по гальке, по песку, к воде.

Роберт смотрит, как она погружается в волны, — море сразу заявляет на нее права. Вот она зашла по щиколотку, по колена, по пояс. И, коротко вскрикнув, пустилась в плывь. Роберт смотрит, как она делает пару гребков кролем, как тянется за ней пенный след; вот она нырнула, вот показалась из воды чуть поодаль ее блестящая голова, и она плывет дальше брассом, ровными гребками.

Роберт оглядывается на Тео. Тот вставляет камешки в песок, один за другим, каждый раз приговаривая: «Вот так. Вот так».

Роберт не замечает, много ли прошло времени. Он помнит, что от нечего делать снова стал искать окаменелости. Помнит, как подобрал несколько камней и стал разбивать о скалы, раскалывать, словно яйца, проверяя, есть ли что внутри. Помнит, что раз-другой смотрел на море и видел за волнорезом ее голову. Помнит, как слушал бормотание Тео: «Вот так. Вот так... Побегает и согреется».

Расколов третий камень, он слышит от Тео другие слова. Роберт поднимает голову. Те о уже не играет с камешками, а стоит, широко расставив перепачканные в песке руки, растопырив пальцы, и глядит на

море.

— Что ты говоришь, Тео?

— Где мама? — звенит детский голосок.

Роберт взвешивает в руке четвертый камень — не прячется ли внутри аммонит, столь же совершенный, как тот, что он подарил Лекси?

— Ушла поплавать, — отвечает он. — Скоро вернется.

— Где мама? — повторяет Тео.

Роберт смотрит на море. Налево, в сторону мола Кобб, потом направо. Встает во весь рост, обводит взглядом угольно-черную линию горизонта. Пусто. Он заслоняется рукой от тусклого закатного света.

— Она... — начинает Роберт. И идет к воде. Волны вздымаются, бьются о песчаный берег. Роберт вглядывается в морскую даль.

Он возвращается к Тео, который так и стоит на пляже, будто пригвожденный к месту, руки в песке. Схватив его в охапку, Роберт устремляется вперед.

— Поднимемся на Кобб и посмотрим оттуда, давай? — предлагает он, но слова звучат не спокойно и твердо, как он надеялся, а отрывисто, испуганно. — Она, наверное, обогнула мол и вернется с той стороны.

Роберт карабкается по ступеням на высокий мол, несетя по каменным плитам, держа на руках Тео. И останавливается на полпути.

— Где мама? — снова спрашивает Тео.

— Она... — Роберт смотрит. Смотрит и смотрит. Смотрит, покуда не становится больно глазам. И не видит ничего, кроме моря, бескрайнего, вспененного моря. То и дело он что-то замечает и сердце подпрыгивает — но это оказывается буй или крутая волна. Ее нет. Нигде нет.

Роберт слезает со стены и бежит вниз, туда, где кончается Кобб. Глубина здесь большая, вода зловеще-зеленая, волны бушуют и бьются о стену. Тео заливается слезами.

— Мне здесь не нравится, — хнычет он. — Море слишком близко. Море. — И показывает рукой: вдруг Роберт не понял?

Роберт поворачивает назад, бежит вдоль скользкого Кобба, осторожно, чтобы не оступиться, туда, где пришвартованы рыбацкие лодки. В одной стоит человек со спутанными сетями в руках.

— Эй, — кричит ему Роберт, — помогите, прошу вас, помогите!

Роберт долго сидит на скамье с Тео на руках. Изредка их освещают огни траулеров, спасательных шлюпок, катеров береговой охраны. Мальчика Роберт укутал в свой плащ, только макушка видна. Тео мелко дрожит, словно живой моторчик. Роберт укачивает его, напевает глухим, надтреснутым голосом песенку, что пел когда-то своим детям. Кто-то —

Роберт не разглядел кто, наверное, один из полицейских — кладет к его ногам плетеную сумку. В первый миг Роберт ее не узнает. Из сумки торчит небрежно свернутый кусок материи. Да это же платье Лекси, ее сумка — кто-то принес с пляжа, где они сидели. Осторожно, чтобы не потревожить Тео, Роберт вынимает из сумки платье. Оно разворачивается в его руке, словно живое существо. Роберт едва не выпускает его из рук, потрясенный его тяжестью. Как может платье из тонкого хлопка быть таким тяжелым? Платье качается на холодном морском ветру, словно маятник. И тут Роберт вспоминает: аммонит. Она положила его в карман как раз перед тем как...

Роберт тут же прячет платье обратно в сумку. И среди бутылочек, запасных штанишек, ведерок, совков, рядом с зелеными грабельками, замечает любимую игрушку Тео, вязаного котенка. Достает его из сумки и просовывает удивленную кошачью мордочку в ворот плаща, откуда торчит золотистая макушка Тео. С минуту ничего не происходит. Потом появляется рука, хватая игрушку и тащит в норку.

И вот уже двое полицейских бегут вдоль мола к пристани. Другие полицейские, видя их, тоже приходят в движение. Роберт встает с Тео на руках. И слышит чей-то голос: «Нашли!»

И устремляется вперед. Из-за мола показывается, сверкая огнями, лодка, небольшой траулер; в лодке двое: один у руля, другой на корме, с канатом в руках. Роберт напрягает зрение и, не веря глазам, видит на дне лодки полуприкрытое брезентом тело, и хочется закричать, окликнуть Лекси, но путь ему преграждает полицейский, повторяя: отойдите, прошу вас, уведите ребенка, скорей.

Вот и все. Эти слова проносились в ее мозгу. Вот и все. Она предвидела исход. Несколько минут, далеко за Коббом, она била руками по воде, сражаясь с цепкой хваткой ледяных волн. И знала. Знала, что предстоит. Знала, что началась борьба и что силы неравны.

В эти минуты она не думала ни о себе, ни о родителях, ни о братьях и сестрах, ни об Иннесе, ни о жизни, что оставила позади, когда зашла в воду, ни о той минуте, когда еще могла все изменить, остаться на берегу, повернуться к морю спиной. Не вспоминала даже о Роберте, который сейчас караулил ее одежду и скоро будет звать ее по имени, стоя на ветру.

Когда волны подмяли ее под себя, она думала только о Тео.

Волны швыряли ее вверх и вниз, и то и дело ей удавалось подняться на поверхность, высунуть голову, глотнуть воздуха, но она знала, знала, что осталось недолго, и хотела взмолиться: не надо! Хотела сказать: нет, так нельзя, у меня ребенок, сын, мне нельзя умирать! Ведь никто не сможет

любить его так, как я, никто о нем не позаботится так, как я, и разлучить нас, отнять меня у него — невозможно, немислимо.

И все же она знала, что больше его не увидит. Не поможет ему за ужином управиться с ножом и вилкой. Не свернет бумажного змея, не развесит его мокрую одежду, не наберет ему перед сном ванну, не достанет из-под подушки его пижаму. Не поднимет среди ночи с пола вязаного котенка. Не будет ждать сына у ворот в первый школьный день. Не научит его писать имя, что дала ему. Не будет придерживать сзади седло, когда он станет учиться кататься на двухколесном велосипеде. Если он заболит ветрянкой или корью, не она будет за ним ухаживать, отмерять микстуру, стряхивать градусник. Не она будет учить его, как переходить дорогу — посмотреть сначала налево, потом направо, а потом снова налево; как завязывать шнурки, чистить зубы, застегивать молнию на куртке, раскладывать по парам носки после стирки, звонить по телефону, намазывать масло на хлеб, что делать, если потерялся в магазине, как наливать молоко в чашку, как доехать на автобусе до дома. Она не увидит, как он станет с нее ростом, а потом и выше. Ее не будет рядом, когда он в первый раз влюбится, когда он впервые сядет за руль, когда он выйдет в большой мир, определится, кем быть, как жить, где и с кем. Она не вытряхнет песок из его сандалий, когда он вернется с пляжа. Больше она его никогда не увидит.

Она боролась как одержимая. За то, чтобы выжить, вернуться. Больше всего на свете ей хотелось, чтобы он знал: она сделала все, что в ее силах. Хотелось сказать ему: Тео, я пыталась, я боролась, потому что не представляла, как можно тебя покинуть. Но проиграла.

Что бы отдала она за победу? Сказать невозможно.

* * *

До Лондона они добираются уже в темноте. Элина на заднем сиденье, руки зажаты между колен. Иона спит в автокресле. Тед всю дорогу просидел, уставившись в окно. На Вествэй он просит:

— Отвезите меня на Мидлтон-сквер.

Симми бегло смотрит на Теда, встречает взгляд Элины в зеркале заднего вида.

— Тед, — отвечает он, — не кажется ли тебе, что сначала надо бы...

— Отвези меня на Мидлтон-сквер, Сим, я серьезно.

Элина наклоняется к Теду:

— Зачем тебе?

— Затем, — огрызается Тед. — Поговорить с родителями, вот зачем.

— Уже поздно, — робко возражает Элина. — Они, наверное, уже спят. Может, подождем, пока...

— Или отвезите меня, — голос у Теда напряженный, — или высадите, и я поеду на метро.

— Ладно, — мягко отвечает Симми, — так и быть. Дело твое. Но сначала я лучше довезу Элину с Ионой до дома, а потом...

— Я поеду с Тедом, — вмешивается Элина. — Иона спит. Я поеду с тобой. — Она кладет руку Теду на плечо.

Симми останавливает машину на Мидлтон-сквер, и не успевают они с Элиной расстегнуть ремни, как Тед выпрыгивает из машины и бежит к дверям родительского дома. Элина отстегивает пряжку на автокресле и открывает дверцу.

— Зайдешь? — спрашивает она у Симми.

То т оборачивается, они переглядываются.

— А стоит? — спрашивает он вполголоса.

— Думаю, да, — поспешно отвечает Элина.

Симми забирает у нее автокресло, они идут к двери. Дверь открывается, полоска света ложится на тротуар, и выходит отец Теда с бокалом виски:

— Какими судьбами! Привет, старина! Не знал, что ты к нам пожалуешь.

— Нам нужно поговорить. — Тед протискивается мимо него.

На кухне Элина садится за стол с Симми и отцом Теда. Тед обходит кухню, шагает мимо задней двери, окна, стола, плиты.

— Что у вас случилось? — Отец Теда вопросительно смотрит на них.

Элина откашливается, думая, что сказать.

— Мы... — начинает она, — мы были в Ла...

— Скажи мне вот что, — кричит из глубины кухни Тед, и Элина оборачивается. В руках он держит бумажник и достает оттуда что-то — деньги? кредитную карту? Потом швыряет на стол перед отцом что-то белое — то ли бумажный листок, то ли карточку. — Кто это?

Следует долгое молчание. Отец Теда, взглянув на карточку, отводит глаза. Вынимает из кармана рубашки пачку сигарет. Выуживает сигарету и тянется в задний карман за зажигалкой. Элина замечает, что руки у него дрожат. Он кладет зажигалку на стол и подносит карточку к глазам. Элина, перегнувшись через стол, тоже смотрит. Это черно-белый снимок мужчины с женщиной на фоне стены. Сначала он кажется Элине незнакомым, потом — смутно знакомым, и наконец она узнает фотографию с выставки Джона Дикина. Снимок сильно помят — видимо, Тед долго носил его в бумажнике.

Отец Теда ставит фотографию на стол, бережно подперев солонкой, и лишь потом зажигает сигарету. Затяжка, облачко дыма, еще затяжка.

И он произносит удивительные слова:

— Это твоя мать.

— Моя мать?

— Твоя настоящая мать. Лекси Синклер, — он потирает лоб, — так ее звали.

Тед упирается кулаками в край стола, молитвенно склоняет голову, будто приобщаясь к тайне.

— Тогда скажи, — спрашивает он глухо, — кто же спит наверху?

Феликс глубоко затягивается.

— Та, что тебя растила. С трех лет.

— А ты? — спрашивает Тед. — Ты мой отец?

— Отец. И не сомневайся.

— И с ней что-то случилось. С моей матерью. В Лайм-Риджисе.

— Она утонула. — Рука с сигаретой описывает круг вокруг лица. — Несчастный случай, заплыла слишком далеко. Ты тоже там был. Тебе едва исполнилось три, это случилось спустя неделю после твоего дня рождения.

— Правда?.. И ты там был?

— Нет. С вами был ее... друг. В тот же вечер я за тобой приехал. Привез тебя сюда, и... Марго за тобой ухаживала.

Тед берет со стола фотографию. Смотрит на отца, у того мокрое лицо. Смотрит на Элину, точнее, скользит по ней взглядом и поворачивается к окну, что выходит в сад.

— Что ж, старина, — Феликс выходит из-за стола, — прости меня. Наверное, мы были не правы, что скрывали от тебя, но мы...

— Простить? — повторяет Тед, повернувшись к отцу. — Простить? За то, что вы ввалили мне всю мою жизнь? Выдавали чужого человека за мою мать? Делали вид, будто ничего не было? Это... это не по-человечески, — шепчет он хрипло. — Понимаешь? Одного не пойму, как вам это удалось? Прodelать такое с трехлетним ребенком? Как вам удалось?

— Мы... — Феликс весь поникает. — Дело в том, что ты... как бы это сказать... забыл.

— Забыл? — шипит Тед. — Что значит — забыл? Если твоя мать утонула у тебя на глазах, это невозможно забыть. Невозможно.

— Понимаю, звучит странно. Но ты вернулся к нам и...

— Что такое? — щебечет кто-то в дверях. — Все оборачиваются — на пороге стоит Марго, прическа смята, домашний халат туго стянут поясом, на лице смущенная улыбка. — Тед, я и не знала, что ты здесь. И Симми, и малыш Иона! Что вы все... — Голос ее срывается, она вглядывается в лица, и улыбка уступает место неуверенности, затем — тревоге. — В чем дело? Почему все?.. — Она робко входит в кухню. — Феликс?

Феликс, взяв у Теда фотокарточку, протягивает ее Марго:

— Он знает.

Феликс, попыхивая сигаретой, становится рядом с женой, точнее, чуть поодаль, как будто в очереди на автобусной остановке, словно они не супруги, а лишь случайные попутчики.

* * *

Феликс, Марго и Глория сидят за столом в кухне на Мидлтон-сквер. Напротив них — мальчик. Он застыл неподвижно, положив руки ладонями вверх на колени, чуть склонив голову. Под мышкой зажат потрепанный игрушечный кот. Мальчик не мигая смотрит в тарелку с сосисками, что поставили перед ним. Или разглядывает что-то на скатерти. Не ребенок, а восковая фигура, манекен. Скульптура «Мальчик за столом».

— Разве ты не проголодался? — бодро спрашивает Марго.

Он не отвечает.

— Надо хорошо кушать, — вторит дочери Глория. — Вырастешь большим и сильным.

Сосиски уже холодные, жир вокруг них застыл. Рядом на тарелке — вареная картошка, сухая, мучнистая на вид. Марго беспокойным движением взбивает волосы: мать вечно твердит, что с прилизанными волосами лицо ее кажется совсем худым.

— Вот что, старина, — говорит Феликс, — я пойду в сад и знаешь что буду делать? — Он замолкает, ожидая ответа. Не дождавшись, продолжает: — Разожгу костер. Поможешь мне? Большой-пребольшой костер, а?

Марго все утро не разговаривала с Феликсом. Не смогла простить ему, что прошлой ночью он уложил мальчика в детской. В ее бывшей детской, которую она два года назад отделала фризом с игрушками и лошадками-качалками, а на кровать постелила лимонно-желтое одеяльце, под цвет фриза.

— А где же еще ему спать? — возмутился Феликс в ответ на возражения Марго.

— Не знаю! — вспыхнула Марго. — В комнате для гостей!

— Для гостей?

Феликс глядел на нее как на чужую. Он стоял на лестнице, прислонившись спиной к стене, так и не сняв плаща и перчаток, в которых водил машину, и лицо его в полумраке казалось пепельно-серым, изможденным. Что-то подсказывало Марго: пора прекращать разговор, надо отвести его в гостиную, дать ему виски, забрать плащ. Но как, если он уложил мальчишку в ее детской, под ее лимонно-желтым одеялом?

— Это моя детская, — пыталась она объяснить, но ощутила дрожь в собственном голосе. Феликс подошел к ней вплотную. Сейчас ударит, показалось ей на миг.

— У мальчика, — начал он пугающе тихо, — только что умерла мать. Понимаешь? Мать утонула на его глазах. А ты думаешь только о себе. Ты... — Он умолк, подбирая слова, — так бывало, когда она видела его на экране, перед лицом бедствия — наводнения, голода, разрушения памятника архитектуры. — Ты мне противна.

Он развернулся и бросился вниз по лестнице. И Марго понимала: не надо подливать масла в огонь, надо молчать, — но, не в силах сдержаться, крикнула ему вслед:

— Госкуешь по ней, да? Не в силах вынести, что она умерла? Ты ее любишь. Любишь, а меня... а меня презираешь. Думаешь, я не вижу? Нет, вижу!

У подножия лестницы он обернулся, встретился с ней взглядом. При свете лампы стало вдруг видно, что глаза у него заплаканные.

— Ты права, — сказал он беззлобно. — Так и есть. — Он зашел к себе в кабинет и закрыл дверь.

На кухне Феликс встает, выпивает воды из-под крана и, оставив стакан возле раковины, подходит к сыну, кладет руку ему на голову:

— Пошли, старина?

Мальчик так и сидит без движения. Марго даже не понимает, заметил ли он Феликса. Она слышит вздох матери, сидящей рядом.

— Костер, — подсказывает Феликс. — Ну, что скажешь?

Те о молчит. Феликс стоит растерянный, не зная, что делать.

Марго откашливается.

— Сейчас папа пойдет и разожжет, — обращается она к ребенку тонким, напряженным голосом, каким говорит уже давно, с самого утра, —

а как будешь готов, поможешь папе. Ну что?

Мальчик чуть заметно щурится, и Марго с Феликсом тянутся к нему, готовые ловить каждое слово, каждый звук. Но Тео не отвечает.

— Ну что ж, — говорит Феликс фальшивым голосом, как Марго, — видимо, это заразно, — пойду сам разожгу. А ты смотри из окна.

У черного хода он надевает ботинки и идет по тропинке в сад. Глория бормочет, что ей нужно прилечь, и исчезает у себя в комнате.

И Марго остается наедине с мальчиком. Волосы его золотятся на солнце. Худенькие плечи, рубашка с заштопанным воротником. Марго замечает в нем сходство с матерью: тот же подбородок, тот же нос, верхняя губа чуть выдается вперед. Марго отводит взгляд, ерзает на стуле, снимает со свитера пушинку, снова взбивает прическу. Когда она оборачивается, мальчик смотрит на нее в упор, и под его взглядом ей так неуютно и тревожно, что она вздрагивает.

— Ох. — Марго с тихим смешком поднимается со стула. Спрятаться бы подальше от этого взгляда — он смотрит точь-в-точь как его чертова мамаша. Чтобы хоть как-то отгородиться, Марго тянется за тарелкой с сосисками. — Давай уберем. — Она уносит сосиски на кухню, выбрасывает в мусорное ведро, а тарелку оставляет в раковине — домработница вымоет. И тут ее осеняет.

Она подходит к столу, наклоняется к самому уху мальчика.

— Теодор, — начинает она, отгоняя от себя мысль, что теперь знает его полное имя, Теодор Иннес, — как эта мерзавка посмела? Чтоб ей в аду сгореть, думает Марго и, тут же устыдившись этой мысли, спрашивает: — Хочешь мороженого, а? У нас есть ванильное и...

— Я не Теодор, — говорит мальчик отчетливо, и Марго удивляется, услышав его голос, басовитый, с хрипотцой. Вместо «т» у него получается «ф»: Феодор.

— Не Теодор?

— Нет. — Он мотает головой.

— А кто же?

— Ножницы, острые-преострые.

Марго щурится, напряженно думает, но ответ не приходит на ум. Как он сказал, ножницы?

— Вот как, — в конце концов произносит она, — ни за что бы не подумала! — И усмехается. — Ну что, будешь мороженое?

— Не люблю мороженое.

— Не любишь? Быть такого не может! Все дети любят мороженое!

— А я — нет.

— А вот и любишь.

— А вот и нет.

Марго выпрямляется. Не умеет она ладить с детьми, плохо их понимает. Марго сжимает руки. Только бы не заплакать, не надо, не надо. Но ей невольно вспоминается то зловещее чувство — что-то горячее, скользкое, там, внизу, и яркая, рубиново-красная кровь, много-много крови, даже не верится, как в ней столько могло поместиться.

Она подходит к окну, вглядывается в глубину сада, где Феликс кидает охапки листьев в тускло тлеющий костер. «Ты права, — сказал он, — так и есть». Ты права. Горячие слезы катятся по щекам, стекают на шею, под ворот свитера.

Мимо проносится что-то маленькое, золотистое, и Марго вздрагивает. Мальчик. Как ни странно, она на миг забыла о нем. Он пристраивается с ней рядом у стеклянной двери. Марго быстро утирает слезы и с улыбкой смотрит на мальчика. Но его внимательный взгляд устремлен в сад.

— Смотри, — снова пытается завязать разговор Марго, — вон папа. Уже развел костер, видишь? Как обещал. — Слова звучат фальшиво. Никогда она не научится разговаривать с детьми. Может, потому-то и не дано ей стать матерью. Не дано, и все. Не умеет она ладить с детьми — нет дара, таланта, называй как хочешь. Она разговаривает, будто играет роль матери в спектакле.

— Там папа? — спрашивает мальчик.

— Да, конечно, милый, — громко смеясь, заверяет Марго и, смахнув еще слезинку, взбивает волосы возле правой щеки.

Мальчик хмурится, прижимает ладонь к стеклу.

— Это... — начинает он, но умолкает.

Марго ждет.

— Это мой сад? — спрашивает мальчик и, обернувшись, касается ее руки, и у Марго от неожиданности вырывается вздох.

— Да, Теодор, это твой сад. Играй здесь где хочешь и...

— Я не Теодор, — снова заявляет он. «Феодор».

— Поняла, — кивает Марго и садится на корточки, спиной к двери, лицо ее вровень с его лицом. — Очень уж трудное имя, правда? Был у меня знакомый Теодор, но все его звали Тед.

— Тед, — повторяет мальчик, по-прежнему глядя на сад. — А где качели?

— Хочешь качели? Повесим тебе качели.

— Оранжевые.

— Конечно, оранжевые. Какие хочешь.

И мальчик, не глядя на нее, спрашивает:

— Ты моя мама?

Слово это действует на Марго удивительным образом. Проникает в самое сердце, падает в душу, словно монета в щель автомата. Будто распарывает застарелый узел где-то внутри. Марго смотрит на стоящего рядом ребенка, потом — в глубь комнаты. Выпрямляется, облизывает сухие губы. В комнате кроме них двоих никого. В фарфоровой вазе стоят, будто сжав губки, нераскрытые розы. Часы на камине равнодушно отсчитывают секунды, на часах поблескивают лаком деревянные херувимы. Фарфоровые пастушки в нише над кроватью заботливо склонились друг к другу, крохотные ушки закупорены глазурью. В кухне что-то звякает — то ли тарелки в раковине, то ли что-то упало с полки. Марго вновь оглядывается на мальчика. Лицо его обращено к ней, взгляд беспокойный, вопрошающий, голову он держит чуть набок, будто прислушивается. Резкий ветер задувает из сада, колышет занавеску.

Марго, сглотнув, снова облизывает губы, берет мальчика за руку.

— Да, — спешит она ответить, — я твоя мама.

* * *

Элина сбегает по лестнице, открывает входную дверь. На крыльце стоит Симми под огромным красным зонтом.

— Привет! — говорит он. — Как дела?

— Очень рада, что ты пришел, — с трудом отвечает Элина, — вот такие дела.

Симми заходит в прихожую, стряхивает зонт. Брызги летят во все стороны, и Элина представляет пса, выскочившего из воды.

— Ну и погода. — Симми протягивает руки и стискивает ее в объятиях.

— Спасибо большое, что пришел, — бормочет Элина, держа его за локоть. — Не знаю... я не знала, как быть... то есть... не хочу его оставлять... понимаешь... одного. Мне из дома не выйти...

Симми кивает, дружески треплет ее по спине:

— Понял, понял. Рад помочь. Когда угодно. Честное слово.

Из гостиной доносится тоненький писк. Элина вытирает слезы.

— Мне нужно...

— Давай.

Иона в гостиной, на коврике, переворачивается туда-сюда. Дрыгает ножками, опускает их на пол, перекачивается на животик, снова на спинку. От усердия он пыхтит и всхрюкивает.

— Удивительно, — бормочет, наблюдая за ним, Симми. — Так старается!

— Еще бы, — кивает Элина. — Со вчерашнего дня только этим и занят. Еще чуть-чуть, — Элина показывает большим и указательным пальцами, — и поползет. Но пока не совсем получается.

— На него смотреть больно, — замечает Симми. — Так хочется ему помочь. — Он склоняет набок голову. — Похоже на ход конем, правда? Как в шахматах. Вбок-вперед, вбок-вперед. — Сцепив ладони, он смотрит на Элину. — Ну, расскажи, какие новости.

Элина снова вздыхает, садится, затем опускается на пол рядом с Ионой.

— Не встает с постели, — говорит она вполголоса. — Молчит, совсем не разговаривает. Ничего не ест. Иногда удается его напоить — глоток-другой, не больше. Спит почти весь день и всю ночь, иногда просыпается. Не знаю, что делать, Сим. — Не в силах поднять на него взгляд, Элина берет с пола игрушку Ионы, погремушку с бубенцом, и потряхивает. — То ли вызвать врача, то ли... то ли... но что я скажу?

— Гм... А Феликс и... Феликс хоть раз давал о себе знать?

— Заходил. Звонит каждый день, хотя бы раз, а то и два.

— И Тед с ним не разговаривает?

Элина качает головой.

— И она заходила, — шепчет она. — Когда Тед...

— Высадил стекло?

Элина, судорожно сглотнув, кивает:

— Это был ужас, Сим. Я думала, он хочет... он собирается...

Симми качает головой.

— Бедная Малышка Мю, — шепчет он.

— Да что я, — возражает Элина. — Бедный Тед.

— Бедные вы, бедные.

Элина берет на руки Иону.

— Поднимемся к нему, — предлагает она.

На лестнице Элина оборачивается.

— Я ненадолго, — шепчет она. — На часок, не больше. Даже не знаю, стоит ли мне. Но если это поможет... сам понимаешь.

— Еще бы, — кивает Симми. — Если есть хоть маленькая надежда, значит, оно того стоит. — Он достает что-то из кармана и протягивает Элине: — Вот, держи. Поезжай на моей машине.

Элина смотрит на ключи от машины.

— Не надо, Сим, я такси поймаю.

— Нет. Она стоит возле дома. — Симми вкладывает ключи ей в ладонь,

сжимает ее. — Бери.

Элина, кивнув, прячет ключи в карман.

— Спасибо.

— Ерунда.

На лестничной площадке они останавливаются.

— Тед? — окликает Элина. Она медлит у открытой двери спальни, не решаясь зайти. На ковре — треугольник света, посреди него, словно актер в лучах рамп, — одинокий синий носок. — Тед? — повторяет Элина.

Тед лежит под пуховым одеялом, лицом к стене.

— Тед, Симми пришел.

Фигура под одеялом неподвижна.

— Слышишь? — продолжает Элина. — Симми пришел тебя проведать. Тед? Как себя чувствуешь? — Она оглядывается на Симми, тот выходит вперед.

— Тед, это я. Слушай, Элине нужно отлучиться ненадолго, вот я и пришел составить тебе компанию. У меня с собой журналы, газеты, есть что перекусить, есть даже роман о тюремной жизни, на шестьсот страниц, так что скучать будет некогда. — Он тяжело плюхается в кресло. — С чего начнем, с тюряги? Или с легкого чтива о состоянии экономики? — И, не дожидаясь ответа, открывает роман и начинает читать зычным голосом, передразнивая австралийский акцент.

Элина, чуть выждав, наклоняется к Теду, целует его. Глаза его закрыты, щека небритая, колючая.

— Пока, — шепчет Элина. — Скоро вернусь.

Пол в прихожей дома на Мидлтон-сквер выложен сине-белыми восьмиугольными плитками. От коврика у дверей до лестницы и дальше — расчерченное пространство, словно игра света на воде, изображенная художником-кубистом.

Несколько плиток у подножия лестницы расколоты, через них пролегла извилистая трещина. Для Марго это вечная головная боль. Она собиралась их заменить, да руки так и не дошли. В конце шестидесятых, под присмотром Глории, трещину замазали клеем и лаком, но плитки с тех пор расшатались и трещат, если на них наступают.

На этих плитках — или на соседних — стоял Иннес, когда вернулся домой из немецкого плена и увидел на лестнице чужого мужчину в отцовском халате. «Вы кто такой?» — спросил тот, и Иннес, стоя на треснувших плитках, понял, что браку его конец и жизнь принимает новый, неожиданный оборот.

Кафель разбил Иннес, хотя никто из нынешних обитателей дома об этом не подозревает. Дождливый день в конце двадцатых семилетний Иннес стащил из кухни металлический поднос, взбежал с ним по лестнице на самый верх и скатился на подносе вниз, как на салазках, скользя по ковру, подпрыгивая на ступеньках, и с диким грохотом приземлился в прихожей. Викторианская плитка от удара треснула; Иннес кубарем покатился вперед и налетел на острый угол вешалки. На его крик прибежала из кухни Консуэла, а из гостиной — мать. На кафеле в тот день было много крови, красной на сине-белом. Иннесу наложили два шва, и на лбу у него на всю жизнь остался вертикальный шрам.

Восьмиугольные плитки тянутся мимо двери в «уборную», место недавних Элининых злключений с Ионой, до самой двери в нижний этаж. Туда ведет лестница, кривая, узкая, темная (одна из лампочек на прошлой неделе перегорела, а Феликс так и не заменил ее, да и вообще ничего не заметил, — что поделаешь, Феликс есть Феликс).

На кухне подтекает кран, капли падают в фарфоровую раковину с тихим звуком: «плим». «Плим», — раздается мерно, настойчиво, «плим». Сидеть рядом и слушать невыносимо.

Глория дремлет в кресле-каталке у дверей, на террасе. Каждое утро приходит сиделка, помогает ей встать с постели, кормит завтраком, потом вывозит ее во двор, «на солнышко». Глория сидит, свесив голову, разглядывая блестящие металлические подлокотники кресла-каталки. На том самом месте много лет назад стояли ее дочь и Тео, наблюдали, как Феликс разводит в глубине сада костер. С утра сиделка причесала Глорию, голова так и зудит от жесткой щетки, а вода все капает из крана, и звук не дает сосредоточиться, сбивает с мысли; ей вспоминается, как пришла телеграмма — в дверях стоит мальчишка и говорит: вам телеграмма, миссис... — плим! — вспоминается чайник, подарок матери, красивый, с золотой каемкой; позолота, конечно же, стерлась, потому что домработница каждый раз скребла его жесткой мочалкой, — плим! — вспоминается их поездка в Клактон, перед тем как он вернулся на фронт, — небо было низкое, как перед дождем, и он взял ее за руку и сказал... как же он сказал?... облака в контражуре, а потом она полезла в словарь, искала, что значит это слово...

Глория уже долго сидит здесь одна. Впрочем, она давно утратила представление о времени. Но где же остальные обитатели дома? В саду ни души. Раскачиваются взад-вперед пустые качели. В пруду посверкивает клочок неба. Деревья простерли неподвижные ветви, края у листьев сухие, закрученные.

Часы бьют полдень; секундой позже им вторят другие.

В гостиной, в кресле у окна, сидит Марго. Ей невдомек, что в этом кресле Фердинанда любила вышивать. Георгианское кресло для кормящей матери, без подлокотников, с низким сиденьем и изящными резными ножками. Глория сменила обивку на безвкусный, кричащий красный бархат. По чистой случайности стоит оно почти так же, как при Фердинанде, — у самого окна, обращено к свету.

Марго плакала все утро, в разных уголках дома. Вот и сейчас она сидит среди скомканных бумажных платков, подперев рукой подбородок, лицо опухло от слез. Она по-прежнему плачет, у нее вид человека, сраженного горем.

Высоко над ее головой — не в спальнях, а еще выше, на чердаке, — двигают тяжелые коробки, мебель. Кто-то обшаривает дом. Грохот, глухой удар, чья-то ругань, еще удар.

Марго всхлипывает, выуживает из коробки очередную салфетку, сморкается, снова всхлипывает. В дверях возникает Феликс. В руках у него старая пыльная пишущая машинка.

— Феликс, — голос Марго дрожит, — это мое.

— Нет, не твое.

— Это машинка отца. Мама сказала, и...

— Это машинка Лекси. Я точно знаю.

— Да, но, видишь ли...

— А где остальное? — спрашивает Феликс тихо, едва слышно, и Марго узнает этот голос. Спокойный, ледяной, убийственно вежливый — тем же голосом он во время интервью обращался к особо скользким политикам. Этот голос говорил им и всей стране: попались, голубчики, теперь вы у меня на крючке. Этот голос прославил его много лет назад.

А теперь он тем же голосом обращается к ней. Марго глотает слезы.

— Что — остальное? — спрашивает она, пытаясь овладеть собой.

— Ты меня прекрасно поняла, — отвечает Феликс прежним ледяным тоном. — Вещи Лекси. Где они?

— Какие вещи? — вспыхивает Марго, но знает, что Феликс видит ее насквозь.

— Одежда, книги, вещи из квартиры. Письма, которые Лоренс писал Теду незадолго до смерти, — перечисляет Феликс с бесконечным терпением. — Все, что я вывез из ее квартиры и отнес на чердак.

Марго пожимает плечами, качает головой, опять тянется за салфеткой.

Феликс, оставив пишущую машинку, подходит к Марго вплотную.

— Хочешь сказать, — шепчет он, — что их больше нет?

Марго прижимает салфетку к лицу.

— Не зна... не знаю.

— Не может быть, — продолжает Феликс уже громче. Марго успела забыть, как его голос набирает силу — становится резким, властным, разит наповал. — Уму непостижимо. Их нет. Ты и твоя стерва-мамаша избавились от них. Тайком от меня.

— Не кричи, — всхлипывает Марго, а между тем Феликс и не кричит, никогда не кричит, ему нет нужды повышать голос.

— Признайся, — Феликс нависает над ней, — ты их выбросила?

— Феликс, я не...

— Одно слово — да или нет. Выбросила?

— Не стой у меня над душой...

— Да или нет, Марго?

— Прошу, не надо.

— Говори. Хватило храбрости сделать это — имей мужество признаться. Скажи: «Да, выбросила. Все без остатка».

В комнате повисает тишина. Марго кусает ноготь, швыряет на пол салфетку.

Феликс отворачивается, отходит к окну.

— Ты понимаешь, — говорит он, уткнувшись в стекло, — что скоро придет Элина? Что я попросил ее прийти? Я ей сказал, что все вещи Лекси у нас на чердаке. Обещал передать их Теду, чтобы он их разобрал. Это же такая малость. Она придет за вещами, а ты, — он оборачивается к Марго, — все выкинула?

Марго всхлипывает.

— Прости, — скулит она, — я не хотела... я...

— Простить? Не хотела? — повторяет Феликс. — И что я скажу Теду? Прости, Марго не собиралась выбрасывать вещи твоей покойной матери, но все-таки выбросила? Боже, — шепчет он, — Элина будет с минуты на минуту. Придется тебе сознаться, что у нас ничего не осталось, кроме старой пишущей машинки да пыльных картин, и можешь сказать почему...

Марго приподнимается с кресла.

— Картины мои, Феликс, — начинает она. — При чем тут Лекси? Они всегда были моими. Я взяла то, что мне принадлежало...

— Вечно ты со своими мелкими, корыстными...

Звонок в дверь — и Феликс умолкает. Он идет открывать. На крыльце стоит Элина, как всегда, в диковинном наряде: длинный балахон с бахромой на подоле, малиновые колготки, на ногах — кроссовки, перепачканные краской. Иона кенгуренком висит в слинге. Он не спит,

глаза изумленно раскрыты, при виде Феликса он расплывается в довольной улыбке, чего не скажешь о его матери.

— Элина, — Феликс отступает, впуская ее в дом, — как там дела?

— Да так... — Элина пожимает плечами, избегая его взгляда. — Сами понимаете как.

— Спасибо, что пришла.

Элина вновь пожимает плечами.

— Времени у меня в обрез. Тороплюсь обратно.

Феликс вдруг вспомнил, что всегда встречал подругу Теда, мать своего внука, поцелуем в щеку. Но на сей раз с поцелуем он опоздал.

— Да, конечно. — Феликс сжимает и разжимает руки — по старой привычке, чтобы собраться с мыслями. — Ну, как он?

— Плохо.

— Так и лежит?

— Да.

Феликс, еле слышно ругнувшись, отвечает:

— Прости.

— Ничего.

— Сможешь... передать ему от меня кое-что?

— Конечно.

— Передай ему... — Феликс колеблется. Он остро чувствует, что совсем рядом, выше этажом, — Марго, а внизу — Глория. — Передай, пусть он меня простит, — продолжает он. — Мне очень стыдно. За все. Скажи... скажи ему, что не я это придумал. И что я с самого начала был против. — Он вздыхает. — Они все устроили между собой, а я... Знаю, жалкое оправдание. Я должен был настоять на своем, но уступил — признаю свою вину. Я совершил ошибку, ужасную ошибку. И... и скажи, что я хочу его видеть. Как только он будет готов. Передай ему, пусть позвонит мне. Пожалуйста.

Элина кивает:

— Хорошо.

Феликс все говорит и говорит, не может остановиться. Рассказывает о Лекси, об их первой встрече, о той ночи, когда он забирал Тео из Лайм-Риджиса, как в полицейском участке ввязался в спор с Робертом Лоу и как подошел полицейский и сказал: прошу вас, потише, подумайте о ребенке. Он сжимает руку Элины и говорит ей, что любил Лекси, больше всех на свете любил, что он, конечно, не без греха, но Лекси его самая большая любовь, — слышишь, понимаешь? Элина слушает с недоверчивым, напряженным вниманием, глядя в пол, выложенный плиткой, водит по

трещине носком кроссовки с пятном красной краски. И Феликс признается, что ничего из вещей не сохранилось. Что они выброшены. Что для Теда не осталось ничего. Ничего.

Элина, откинув со лба волосы, смотрит ему в лицо. И переспрашивает:
— Ничего?

И тут, как назло, Иона принимается кричать. Он брыкается в слинге, выгибает спину, краснеет от натуги. Элина пританцовывает, причмокивает, щелкает языком. Достает Иону из слинга и прижимает к себе.

— Только пишущая машинка. И картины.

Элина поглаживает Иону по спине, укачивает, отвернувшись от Феликса. Иона понемногу затихает. Он смотрит на Феликса через плечо матери с выражением смертельной обиды. «Простите меня, — так и хочет сказать Феликс, — простите». Его переполняет желание извиниться перед ними, перед каждым.

— Пойдем покажу, — произносит он вслух. — Там, наверху.

Феликс и Элина с Ионой поднимаются по лестнице на один пролет. На лестничной площадке стоит пишущая машинка. Она вся в пыли, лента высохла и кажется совсем тонкой, хрупкой. При взгляде на машинку Феликс едва не теряет сознание. Он как сейчас помнит ее звук. Стук металлических литер по бумаге, шорох ленты. Пулеметную дробь, если работа идет хорошо. Если дело не клеится — остановки, перерывы на вдох, на затяжку. Диннь! — при каждом возврате каретки. Шорох, когда вынимали страницу, мерный треск, когда вставляли новую.

Феликс отводит взгляд, откашливается.

— А вот картины. Кажется, я все нашел. Может, еще парочка где-то завалялась, но я всегда могу...

Элина вдруг протягивает ему ребенка.

Феликс от неожиданности охает и берет Иону под мышки. Малыш сучит ножками, будто крутит педали невидимого велосипеда. Он смотрит то вверх, на лоб Феликса, то на его ухо, то в пол, то, задрвав голову, глядит в потолок.

— Дюба-дюба-иии... — лопочет Иона.

— Верно, старина, — отвечает Феликс.

Элина вытирает руки о балахон и опускается на корточки возле картин, что стоят одна к одной у стены. Смотрит на первую — мешанину треугольников в мрачноватых тонах, Феликсу никогда она не нравилась; бережно отодвинув ее, разглядывает вторую, третью, четвертую. И все время хмурится, будто недовольна. «Не нужно ей в доме это пыльное старье, — думает Феликс, — но все-таки странно, ни капли интереса, она

же как-никак художница».

Вдруг, к его удивлению, Элина говорит:

— Я не могу их взять.

— Ты должна, — настаивает Феликс. — Они принадлежат Теду. Это картины Лекси. Они висели в квартире, где он жил, когда...

— Нет, — перебивает Элина. — Я хотела сказать, что я не могу их взять, я...

Феликс растерянно смотрит на нее. Какие все-таки у нее большие глаза — бездонные, на бледном, как у Пьеро, лице. В полумраке коридора они кажутся еще огромней.

— Не понимаю тебя, милая. Эти картины принадлежали Лекси. И теперь они принадлежат Теду. Наверняка он захочет их взять.

— Вы представляете... — Элина проводит рукой по лбу. — Феликс, эти картины — огромная ценность.

— Правда?

— Целое состояние. Я не представляю, сколько они могут стоить, но место им... даже не знаю... где-нибудь в музее... в галерее Тейт.

— Нет, — возражает Феликс. — Они должны быть у Теда. Это его картины.

Элина в задумчивости потирает лоб.

— Понимаю, — отвечает она. — Понимаю ваше желание. Но... дело в том, что... мы не можем... — Она вдруг переходит на незнакомый язык — видимо, финский, — бормочет что-то под нос, глядя на картины, и отворачивается от них. — Во всяком случае, сейчас я не могу их забрать.

— Но...

— Феликс, не могу я их засунуть к Симми в багажник. Прошу, поймите. Ведь это же... Для них нужна специальная упаковка, страховка. Нужен профессиональный перевозчик предметов искусства.

— Вот как?

— Да. Если хотите, дам телефон. Я просто не знаю... — она забирает у Феликса ребенка, — не знаю, что скажет на это Тед. — Она смотрит на малыша, поправляет ему шапочку. — Мне пора.

Феликс идет за ней следом по лестнице, провожает до дверей, на залитую светом улицу. Пока Элина сажает малыша в кресло, Феликс пристраивает на пассажирском сиденье пишущую машинку.

Феликс и Элина стоят на тротуаре лицом друг к другу.

— Передай ему, — просит Феликс, — передай...

Элина кивает:

— Хорошо.

— И дашь телефон перевозчика?

Элина снова кивает.

Феликс целует ее в обе щеки:

— Спасибо.

Элина неожиданно крепко обнимает его. Феликс ошарашен, он едва сдерживает слезы. Он опирается на хрупкое плечо подруги сына, стоя под сентябрьским солнцем, шурясь от света.

Феликс чувствует тепло ее рук даже после того, как Элина села в машину и машина скрылась за углом. Он стоит на тротуаре и глядит в одну точку, будто ждет ее возвращения, будто боится разрушить волшебство.

Элина стоит в пробке на Пентонвилл-роуд. Впереди, словно ледник, тянется цепочка машин, сверкая стеклом и хромом. На перекрестках тоже ждут автомобили, чтобы влиться в поток. Элина оглядывается на Иону — малыш спит, посасывая большой палец. Элина включает радио, но слышны лишь помехи, унылые, как завывание вьюги. Элина жмет на кнопки, крутит рычаги; изредка сквозь вой пробивается чей-то голос, но слов не разобрать. Элина выключает радио, смотрит на пишущую машинку на соседнем сиденье. Держась одной рукой за руль, другой она проводит по металлическому корпусу, трогает валик, литеры, клавиши, будто ждущие, что кто-то нажмет на них. Смотрит на дорогу, где бесцельно мигают огни светофора: красный, желтый, зеленый, снова красный. И опять глядит на пишущую машинку, на Иону, смотрит, как колышутся на ветру ветви платана, роняя листья на крыши машин. Один листок прилип к ветровому стеклу; Элина разглядывает его восковую зелень, прожилки, жесткий черенок, и тут ее осеняет.

Она бросает взгляд на часы, достает из сумочки мобильник, звонит Симми.

— Как он? — спрашивает она. — Ничего, если я задержусь? — И, мигнув поворотником, сворачивает в пустой переулок.

Проходит несколько часов. Элина так увлеклась, что превысила время стоянки, и ей выписали штраф; штрафной талон она прячет в сумочку. Когда она возвращается, в доме тишина. Кажется, будто после ее ухода прошли не часы, а дни, недели. С сумочкой через плечо и Ионой в слинге Элина поднимается по лестнице.

— Привет! — кричит она. — Я вернулась!

Симми ждет наверху.

— Как дела? — шепчет Элина.

— Ничего. Он спал, но сейчас, наверное, проснулся. Я как раз хотел

спуститься, вскипятить чаю. Заходи.

Элина заходит в спальню. Тед лежит в постели, под пуховым одеялом, точь-в-точь как перед ее уходом — сжавшись, лицом к стене.

— Тед? Прости, я задержалась. Как себя чувствуешь? Погода чудесная.

Элина садится на кровать, Иону опускает на пол, дав ему любимую деревянную погремушку.

— Тед, — повторяет она. По дыханию видно, что он не спит. Но он не двигается.

Элина устраивается поудобнее, сумочку ставит рядом.

— Знаешь что? — продолжает она, слегка обняв Теда. — Я узнала, что Тед — не настоящее твое имя. Она называла тебя по-другому.

Элина ждет. Тед не отвечает, но, по всему видно, слушает. Элина роется в сумочке, достает кипу бумаг.

— Я была в газетном архиве. Мне там здорово помогли! Я столько всего нашла. — Она раскладывает бумаги на кровати, перебирает. — Лекси была художественным критиком. Писала статьи о Пикассо, Хоппере,^[34] Джаспере Джонсе,^[35] Джакометти. Она была знакома с Фрэнсисом Бэконом и Люсьеном Фрейдом. И с Джоном Дикином — со всем их кругом. Брала интервью у Ива Кляйна, Юджина Фитцджеральда и Сальвадора Дали. Ужинала с Энди Уорхолом^[36] в Нью-Йорке. Слышишь? С самим Энди Уорхолом. А еще... — Элина роется в бумагах, — ее даже послали во Вьетнам. Представляешь? Где-то здесь есть статья о жизни в Сайгоне во время войны. Где-то здесь. Никак не найду. Может, там она и встретилась с твоим отцом. Спроси у него. В общем, она написала сотни статей, сотни. И часть я принесла. Тед! Хочешь посмотреть? Вот.

Элина берет стопку и, перегнувшись через лежащего Теда, подносит к самому его лицу. Глаза Теда закрыты. Губы сухие, в трещинах, как от жажды. Слышно, как внизу Симми ходит по кухне, открывает кран, наливает воды в чайник.

— Тед! — Голос ее срывается, будто Элина вот-вот заплачет. — Вот ее фотография, на балконе. Видишь? Во Флоренции. Взгляни. Здесь она старше, чем на том, другом снимке. Тед, взгляни, прошу. — Элина прижимается щекой к его руке. — Пожалуйста.

Элина выпрямляется, вновь листает бумаги.

— И знаешь что еще? — Слезы капают, оставляя на фотокопиях темные прозрачные круги. Элина смахивает слезы, трет рукавом щеки. — Она писала о тебе.

Элина отыскивает нужные страницы — она вспомнила, что в архиве

скрепила их.

— Она вела колонку «Материнство: вести с передовой». — Элина глубоко вздыхает. — Это о тебе. Почитать?

Заметив, что рука Теда дрогнула, Элина следит за ним затаив дыхание. Шевельнется ли? Заговорит ли? Рука поднимается, скребет в затылке, но Тед по-прежнему молчит.

— Вот первая, — объясняет Элина. — Я их разложила по порядку. Слушай. «Я пишу, а в той же комнате спит мой сын. Он прожил на свете двести пятнадцать дней. Живем мы в одной комнате, он и я. У него три зуба и два имени. Теодор — так его называет патронажная медсестра, и Тео — так зову его я». Слышишь? — Элина кладет бумаги на кровать, берет Теда за руку. — Она называла тебя Тео.

Тед шевельнулся под одеялом, повернул голову. Элина видит, что глаза его открыты. Чувствует, как его пальцы сжали ее руку, и слышит от него первые за всю неделю слова:

— Читай дальше, Эл. Дальше.

И Элина продолжает.

Благодарности

Я не написала бы эту книгу без помощи и поддержки многих людей. От души благодарю

Уильяма Сатклиффа

Викторию Хоббс

Мэри-Энн Харрингтон

Дженну Джонсон

Франсуазу Триффо

Сьюзен О'Фаррелл

Дэйзи Донован

Бриджит О'Фаррелл

Рут Метцштейн

Кроме того, мне очень помогли книги: Джонатан Фрайер, «Сохо в пятидесятых-шестидесятых годах» (National Portrait Gallery publications, 1998); Доминик Сэндбрук, «Славные времена: история Великобритании от Суэца до „Битлз“» (Abacus, 2005).



THE HAND THAT FIRST HELD MINE

Maggie O'Farrell

THE HAND THAT FIRST HELD MINE by Maggie O'Farrell Copyright

© 2010 by Maggie O'Farrell

© Марина Извекова, перевод, 2013

© «Фантом Пресс», оформление, 2013

© «Фантом Пресс», «ЭКСМО», издание, 2013

Примечания

1

Джон Донн. Священные сонеты. Сонет X. Перевод Д. В. Щедровицкого.

2

Пьеро делла Франческа (ок. 1420–1492) — итальянский художник и теоретик, представитель раннего Возрождения. Андреа дель Сарто (1486/87 — 1531) — итальянский живописец флорентийской школы. — *Здесь и далее примеч. перев.*

3

Марсель Дюшан (1887–1968) — французский и американский художник, теоретик искусства, стоявший у истоков дадаизма и сюрреализма.

4

Привет (*фин.*).

5

Колетт (Сидони-Габриэль Колетт, 1873–1954) — французская писательница, одна из звезд «прекрасной эпохи» рубежа XIX и XX столетий.

6

Барбара Хепворт (1903–1975) — английский скульптор-абстракционист.

7

Лид (*журн.*) — первый абзац публикации.

8

Кикер (*журн.*) — короткая строка над заголовком, набранная мелким кеглем.

9

Джон Минтон (1917–1957) — английский художник, иллюстратор, театральный декоратор и преподаватель. Бен Николсон (1894–1982) — английский художник и скульптор-абстракционист. Виллем де Кунинг (1904–1997) — американский художник и скульптор голландского происхождения, один из лидеров абстрактного экспрессионизма. Ив Кляйн (1928–1962) — французский художник-новатор. Фрэнсис Бэкон (1909–1992) — английский художник-экспрессионист. Люсьен Фрейд (1922–2011) — британский художник немецко-еврейского происхождения, специализировавшийся на портретной живописи и обнаженной натуре, мастер психологического портрета.

10

Джордж Баркер (1913–1991) — английский поэт, прозаик и драматург.

11

Панини — итальянские закрытые бутерброды.

12

Хумус — паста из турецкого гороха.

13

Оливер Берnard (р. 1925) — английский поэт и переводчик Артюра Рембо.

14

Аптека (*ит.*).

15

Пекарня (*ит.*).

16

Скобяные товары (*ит.*).

17

Англичане? (*ит.*)

18

С телевидения? (*ит.*)

19

Где (*ит.*).

20

Мама (*фин.*).

21

Дэвид Хокни (р. 1937) — английский художник, график и фотограф, который значительную часть жизни провел в США. Заметный представитель поп-арта в 1960-х, считается одним из влиятельнейших художников XX в.

22

Уильям Хогарт (1697–1746) — английский художник, основатель и крупный представитель национальной школы живописи, иллюстратор, автор сатирических гравюр, открыватель новых жанров в живописи и графике.

23

Энтони Каро (р. 1924) — британский скульптор.

24

Ангелочек (*ит.*).

25

Альберто Джакометти (1901–1966) — швейцарский скульптор, живописец и график, один из крупнейших мастеров XX в.

26

Итель Кохун (1906–1988) — британская художница-сюрреалист.

27

Ой (*фин.*).

28

Проклятье (*фин.*).

29

Дора Маар (настоящее имя Генриетта Теодора Маркович, 1907–1997) — французская художница и фотограф, подруга и модель Пикассо.

30

Совет по искусствам Великобритании — создан в 1946-м, содействует развитию театра, музыки, литературы, живописи и скульптуры, оказывает

финансовую помощь театрам, творческим объединениям и т. п.

31

«Случайная смерть анархиста» — пьеса итальянского драматурга Дарио Фо (р. 1926).

32

Луиза Буржуа (1911–2010) — американский скульптор, живописец и график французского происхождения, в ее творчестве нашли отражение основные направления искусства XX в. — кубизм, футуризм, сюрреализм, конструктивизм и абстракционизм.

33

Селки — в фольклоре Великобритании морские существа. Плавают в обличье тюленей, а выйдя на сушу, сбрасывают шкуру.

34

Эдвард Хоппер (1882–1967) — американский художник, видный представитель американской жанровой живописи.

35

Джаспер Джонс (р. 1930) — современный американский художник.

36

Энди Уорхол (1928–1987) — американский художник, продюсер,

дизайнер, писатель, издатель журналов, кинорежиссер.